

ЗАРУБЕЖНАЯ КЛАССИКА.  
XX ВЕК

# ДЖОН АПДАЙК

*Контрабас*



Джон АПДАЙК.

## КЕНТАВР

Небо не стихия человека, стихия его земля. Сам он – существо, стоящее на грани меж землею и небом. Карл Барт

Но все же кто-то должен был жизнью своей искупить древний грех – похищение огня. И случилось так: Хирон, благороднейший из кентавров (а кентавры – это полукони-полулюди), бродил по свету, невыносимо страдая от раны, полученной по нелепой случайности. Ибо однажды на свадьбе у одного из фессалийских лапифов некий буйный кентавр вздумал похитить невесту. Завязалась яростная борьба, и в общей свалке Хирон, ни в чем не повинный, был ранен отравленной стрелой. Терзаемый неотступной болью, без надежды на исцеление, бессмертный кентавр жаждал умереть и молил богов поразить его вместо Прометея. Боги вняли этой мольбе и избавили его от страданий и от бессмертия. Он окончил свои дни как простой смертный, уставший от жизни, и Зевс вознес его на небо сияющим Стрельцом меж созвездий. «Мифы Древней Греции в пересказе Джозефины Престон Пибоди», 1897 г.

1

Колдуэлл отвернулся, и в тот же миг лодыжку ему пронзила стрела. Класс разразился смехом. Боль взметнулась по тонкой сердцевине голени, просверлила извилину колена и, разрастаясь, бушует, хлынула в живот. Он вперил глаза в доску, на которой только что написал мелом 5.000.000.000 предполагаемый возраст Вселенной в годах. Смех класса, сперва раскатившийся удивленным визгливым лаем, перешел в дружное улюлюканье и обложил его со всех сторон, сокрушая желанное уединение, а он так жаждал остаться с болью наедине, измерить ее силу, прислушаться, как она будет замирать, тщательно препарировать ее. Боль запустила щупальце в череп, расправив влажные крылья в груди, и ему, внезапно ослепленному кровавым туманом, почудилось, будто сам он – огромная птица, встрепенувшаяся ото сна. Доска, вымытая с вечера, вся в беловатых подтеках, как пленка, обволокла сознание. Боль мохнатыми лапами теснила сердце и легкие; вот она подобралась к горлу, и ему теперь казалось, будто мозг его – это кусок мяса, который он поднял высоко на тарелке, спасая от хищных зубов. Несколько мальчишек в ярких рубашках всех цветов радуги, вскочив в грязных башмаках на откидные сиденья парт, со сверкающими глазами продолжали травить своего учителя. Невозможно было вынести этот содом. Колдуэлл заковылял к двери и закрыл ее за собой под звериный торжествующий рев.

Он брел по коридору, и оперенный хвост стрелы при каждом его шаге скреб по полу. Металлический скрежет и жесткое шуршание сливались в противном шарканье. В животе перекачивалась тошнота. Длинные тускло-желтые стены коридора качались перед глазами; двери с квадратными матовыми стеклами и с номерами классов казались пластинами какой-то опытной установки, погруженными в радиоактивную жидкость и излучавшими детские голоса, которые мелодично выговаривали французские слова, пели религиозные гимны, разбирали вопросы из учебника социологии. Avez-vous une maison jolie? Oui, j'ai une maison tres jolie &lt;У вас красивый дом? Да, у меня очень красивый дом (франц.)&gt;; за золото хлебов в полях, за горы в солнечных лучах, за зелень щедрую равнин в ходе нашей истории, дети (это голос Фола), авторитет федерального правительства, его власть и влияние возросли, но мы не должны забывать, дети, что наша страна была создана как союз суверенных республик, Соединенные, господь благослови мой край и братства свет благой, над праведной землей... – Красивое песнопение продолжало неотвязно звучать в ушах Колдуэлла. – Над морем воссияй. Слышал он этот вздор, и не раз. Впервые еще в Пассейике. Как поразительно он переменялся с тех пор! Ему казалось, что верхняя его половина уходит в звездную твердь и плывет среди вечных сущностей, среди поющих юных голосов, а нижняя все глубже увязает в трясине, которая в конце концов его поглотит. Стрела, задевая об пол, всякий раз бередила рану. Он старался не наступать на большую ногу, но неровное цоканье остальных трех его копыт было таким громким, что он боялся, вдруг какая-нибудь из дверей распахнется, выйдет учитель и остановит его. В эту отчаянную минуту другие учителя казались ему пастырями ужаса, они грозили снова загнать его в класс, к ученикам. Живот сводила медленная судорога; и возле стеклянного шкафа со спортивными призами, смотревшего на него сотней серебряных глаз, на блестящем натертом полу он, не замедлив шага, оставил темную парную расползающуюся кучу. Его широкие пегие бока дрогнули от отвращения, но голова и грудь, как носовая фигура тонущего судна, были упорно устремлены вперед.

Его влекло бледное, водянистое пятно над боковой дверью. Там, в дальнем конце коридора, сквозь окна, зарешеченные снаружи для защиты от дикарей, в школу просачивался дневной свет и, увязая в плотном маслянистом сумраке, вздувался пузырем, как вода в резервуаре с нефтью. К этому голубоватому пузырю света и толкал инстинкт мотылька высокое, красивое, двуединое тело Колдуэлла. Внутренности его корчились от боли; шероховатые щупальца шарили по небу. Но он уже предвкушал первый глоток свежего воздуха. Стало светлей. Он толчком распахнул двойные застекленные двери, грязное стекло которых было забрано металлической сеткой. Когда он сбегал вниз по короткой лестнице на бетонную площадку, стрела, взвихривая боль, билась о стальные стойки перил. Кто-то из учеников мимоходом нацарапал карандашом на поблескивавшей в полумраке глянцевиной стене ругательство. Колдуэлл, решительно сжав зубы и в страхе зажмурившись, схватился за латунную ручку двери и протиснулся наружу.

Из ноздрей у него вырвались две пушистые струи пара. Стоял январь. Ясное, синее небо сияло над головой, неотвратимое и все же таинственное. Огромная, ровно подстриженная лужайка за школой, обсаженная по углам соснами, зеленела в разгар зимы. Но зелень была мерзлая, жухлая, отжившая, ненастоящая. За школьной оградой, погромыхая на рельсах, полз в Эли трамвай. Почти пустой – было одиннадцать утра, и все ехали в другую сторону, в Олтон, за покупками, – он слегка раскачивался, и плетеные соломенные сиденья рассыпались сквозь окна золотые искры. Здесь, среди беспредельного и величественного простора, боль присмирела. Съездившись, она уползла теперь в лодыжку, угрюмая, злобная, уязвленная. Причудливая фигура Колдуэлла исполнилась достоинства: его плечи – узковатые для такого большого существа – расправились, и он шел пусть не величественным шагом, но со сдержанной стоической грацией, отчего хромота словно вливалась в его поступь. Он свернул на мощеную дорожку меж заиндевевшей лужайкой и смежной с ней автомобильной стоянкой. У его брюха, сверкая под белым зимним солнцем, скалились радиаторы автомобилей; царапины на хромированном металле переливались, как бриллианты. От холода у него

перехватывало дыхание. Позади, в оранжево-красном кирпичном здании школы, зазвенел звонок, распуская учеников, которых он бросил. Школьники с ленивым утробным гулом переходили из класса в класс.

Гараж Гаммела примыкал к территории олинджерской школы, отделенный от нее лишь узким, неровным асфальтовым ручейком. И это было не просто случайное соседство. Прежде Гаммел много лет подряд был членом школьного совета, а его молодая рыжеволосая жена Вера и теперь преподавала физкультуру девочкам. Многие ученики и учителя были клиентами гаража. Старшеклассники ставили сюда на ремонт свои потрепанные машины, а младшие ребяташки бесплатно накачивали баскетбольные мячи. Сразу же за дверью, в большой комнате, где у Гаммела хранились счета и кучами громоздились закопченные каталоги запасных частей, а на двух деревянных столах, сдвинутых вплотную, в беспорядке были разбросаны старые потрепанные газеты, бумаги и пухлые пачки розовых квитанций на ржавых наколках, стоял ящик из тусклого стекла с зигзагообразной трещиной на крышке, заклеенной пластырем для шин, полный сластей в хрустящих обертках, и дождался монеток из детских карманов. Здесь, на нескольких замасленных складных стульях, расставленных в ряд возле цементной ямы глубиной в пять футов, куда машина могла въехать прямо с улицы, учителя порой – правда, в последнее время все реже – сживали в полдень, покуривали, жевали карамели, орехи в шоколаде, сосали драже от кашля с фабрики Эссика и, поставив туго зашнурованные, начищенные до блеска ботинки на загородку вокруг ямы, давали отдых своим истерзанным нервам, пока внизу, в трехстенной яме, темнолицые помощники Гаммела заботливо обмывали автомобиль, как огромного металлического ребенка.

К главному и самому большому помещению гаража вела покатаая асфальтированная дорога, асфальт был разбитый, растресканный, весь в колдобинах и пятнах, вспученный, как застывший поток лавы. В широких зеленых воротах, куда въезжали автомобили, была дверь в человеческий рост, а на ней, под щеколдой вкривь и вкось было наляпано синей краской: «ЗАКРЫВАЙТЕ ДВЕРЬ». Колдуэлл поднял щеколду и вошел. Пришлось повернуться, чтобы закрыть дверь, и раненую ногу ожгло болью.

В теплой глубокой темноте вспыхивали искры. Пол мрачной пещеры был скользкий и черный от машинного масла. В конце длинного инструментального стола две бесформенные фигуры в защитных очках осторожно направляли куда-то вниз веерообразный огненный каскад, рассыпавший сухие брызги. Третья проползла на спине, сверкая круглыми белками глаз на черном лице, и исчезла под автомобилем. Когда глаза Колдуэлла освоились с темнотой, он увидел вокруг себя сваленные в кучи автомобильные части, которые казались хрупкими и призрачными: крылья, словно панцири мертвых черепах, ощерившиеся моторы, будто вырванные сердца. Шипение и сердитый стук порхали в сизом воздухе. Неподалеку от Колдуэлла старая пузатая печка сверкала сквозь разошедшиеся швы ослепительно-красным жаром. Ему не хотелось удаляться от ее тепла, хотя стрела, засевшая в ноге, начала отогреваться и по животу прошла беспокойная дрожь.

В дверях появился сам Гаммел. Когда они шли друг другу навстречу, у Колдуэлла мелькнуло забавное чувство, будто он идет к зеркалу, потому что Гаммел тоже прихрамывал. В детстве он упал и сломал ногу, она теперь была короче другой. Он был сутулый, бледный, измотанный; трудные времена сломали искусного механика. Филиалы «Эссо» и «Мобилгэс» открыли у въезда в город, в нескольких кварталах от его гаража, свои станции технического обслуживания, и к тому же после войны, когда всякий мог купить новый автомобиль на деньги, нажитые в военное время, заказы на ремонт почти иссякли.

– Джордж! У вас что, уже перерыв на завтрак?

Голос Гаммела, негромкий, но высокий, привычно перекрывал шум мастерской.

Колдуэлл ответил, но особенно резкие и частые удары по металлу заглушили его слова; он

сам не слышал своего тонкого, напряженного голоса.

– Да нет же, у меня как раз сейчас урок.

– Так в чем же дело?

На сером, мягком лице Гаммела, усеянном белыми точками седой щетины, появилось тревожное ожидание, как будто всякая неожиданность непременно должна была причинить ему боль. Колдуэлл знал, что к этому его приучила жена.

– Вот, – сказал Колдуэлл, – полюбуйтесь, что сделал со мной один из этих чертовых мальчишек.

Он поставил раненую ногу на валявшееся рядом крыло и поднял штанину.

Механик наклонился к стреле и осторожно коснулся ее хвоста. В пальцы его глубоко въелась грязь, прикосновение их было мягким от машинного масла.

– Стальная, – сказал он. – Ваше счастье, что насквозь прошла.

Он подал знак, и небольшой треножник на колесиках сам собой с дребезжанием подкатился к ним по неровному черному полу. Гаммел взял резак с локтевым упором, чтобы рычаг был побольше. От страха Колдуэлл почувствовал необычайную легкость, вся тяжесть его тела улетучилась, как улетает воздушный шарик из рук зазевавшегося ребенка. Из своей ошеломляющей невесомости Колдуэлл попытался представить себе диаграмму сил для этих ножниц: выигрыш в силе равен приложенному усилию минус сила трения, помноженная на отношение плеча рычага АО (где О – ось ножниц) к плечу ОБ (Б – точка соприкосновения сверкающих изогнутых лезвий со стрелой), помноженная на выигрыш в силе от вспомогательного рычага в механике ножниц и на выигрыш в силе от нажима уверенной черной руки Гаммела, складывающийся из усилки пружинистых мышц и пяти крепких пальцев:  $Vc \times Vc \times 5Vc = \text{мощь титана}$ . Гаммел нагнулся, и Колдуэлл мог бы теперь опереться на его плечо. Но, не зная, как на это посмотрит механик, он не решился и стоял прямо, подняв глаза кверху. Сырые доски потолка были бархатистые от дыма и паутины. Коленом Колдуэлл почувствовал, как согнутая спина Гаммела дрожит вместе с инструментом; сквозь носок он ощутил прикосновение металла. Шаткое крыло качнулось. Плечи Гаммела напряглись, и Колдуэлл стиснул зубы, удерживая крик, – ему показалось, что резак вонзился не в металл, а в торчащий из его тела нерв. Серповидные челюсти заскрежетали; боль пронзила Колдуэлла, коротким броском взметнулась вверх по его телу, блеснула молнией; и тут плечи Гаммела расслабились.

– Не выйдет, – сказал механик. – Я думал, она полая, да не тут-то было. Джордж, делать нечего, пойдете к инструментальному столу.

Колдуэлл, едва волоча дрожащие ноги, которые подгибались и казались тонкими, как велосипедные спицы, пошел за Гаммелом и послушно поставил ногу на ящик из-под кока-колы, который механик вытащил из кучи всякого хлама под длинным столом. Стараясь не видеть стрелы, которая мешала ему смотреть вниз, как бельмо на глазу, Колдуэлл стал пристально рассматривать большую корзину, полную испорченных бензонасосов. Гаммел подтянул к себе за цепочку электрическую лампу без колпачка. Оконные стекла были окрашены снаружи; на стенах между окнами висели подобранные по размерам гаечные ключи, круглоголовые молотки с обрешиненными рукоятками, электрические дрели, отвертки в ярд длиной, какие-то сложные зубчатые, коленчатые инструменты, названия и назначения которых ему никогда не понять, аккуратные мотки старой проволоки, калибромеры, плоскогубцы и всюду, наклеенные где только можно, заткнутые краями во все щели рекламные плакаты, пожелтевшие, истрепанные, давнишние. На одном была изображена кошка с поднятой лапой, на другом – великан, тщетно силящийся разорвать патентованный

приводной ремень. Один плакат гласил: «БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО», другой, наклеенный на оконное стекло, предупреждал: «БЕРЕГИ ГЛАЗА – ЗАПАСНЫХ НЕ ВСТАВИШЬ».

Грубой хвалой, возносимой грубому творению, на столе громоздились резиновые шланги, медные трубки, графитовые стержни, железные колена с резьбой, масленки, деревянные планки, тряпки, всевозможные пыльные осколки и обломки. Этот хаос материалов вперемешку с инструментами озаряли ослепительные вспышки света с дальнего конца стола, где возились двое механиков. Они прилаживали что-то, похожее на узорный бронзовый пояс для женщины с тонкой талией и широкими бедрами. Гаммел надел на левую руку асбестовую перчатку и вытащил из груды хлама широкую полосу жести. Надрезав ее, он ловким движением согнул ее наподобие щита и надел на стрелу, торчавшую из ноги Колдуэлла.

– Чтобы вас не обжечь, – объяснил он и щелкнул пальцами свободной руки. – Арчи, дай-ка на минуту горелку.

Один из его помощников, осторожно ступая, чтобы не споткнуться о волоочащийся шланг, подал ацетиленовую горелку. Маленький черный кувшин изрыгал белое, зеленоватое по краям пламя. У самого носика была прозрачная пустота. Колдуэлл, стиснув зубы, подавил в себе страх. Стрела уже давно казалась ему живым нервом. Он весь подобрался, готовясь к неизбежной боли.

Но боли не было. Произошло чудо – его словно окружил огромный непроницаемый ореол. От пламени на столе и на стенах родились резкие треугольные тени. Придерживая рукой в перчатке жестяной щиток, Гаммел прищурился и без защитных очков поглядел на раскаленную шипящим пламенем сердцевину лодыжки Колдуэлла. Его мертвенно-бледное лицо решительно сморщилось, одержимо сверкали колючие глаза. Колдуэлл посмотрел вниз и увидел, как тонкая прядка седых волос упала Гаммелу на лоб, поредела и исчезла, словно растаяла в струе дыма. Механики молча смотрели. Казалось, этому не будет конца. Теперь Колдуэлл почувствовал, что ему горячо: раскаленная жесть жгла ногу. Но, закрыв глаза, он представил себе мысленно, как стрела сгибается, плавится, ее молекулы расплзаются. Что-то маленькое, металлическое звякнуло об пол. Тиски, сжимавшие ногу, ослабли. Он открыл глаза и увидел, что горелка погасла. Желтый электрический свет казался коричневым.

– Ронни, намочи, пожалуйста, тряпку, – сказал Гаммел и объяснил Колдуэллу:

– Остудим эту штуку и тогда вытащим.

– У вас золотые руки, – сказал Колдуэлл. Голос его прозвучал неожиданно слабо, и похвала вышла какая-то бескровная.

Он видел, как Ронни, одноглазый плечистый малый, взял промасленную тряпку и окунул ее в ведро с черной водой, стоявшее поодаль, под второй лампой. Блики света заматались и запрыгали в возмущенной воде, словно рвались на волю. Ронни подал тряпку Гаммелу, тот присел на корточки и приложил ее к стержню стрелы. Холодные струйки потекли в ботинок, раздалось шипение, и ноздри защекотал слабый приятный запах.

– Ну вот, теперь обождем минутку, – сказал Гаммел и остался сидеть на корточках, бережно придерживая штанину Колдуэлла над раной. Колдуэлл посмотрел на троих его помощников – третий вылез из-под автомобиля – и жалко улыбнулся. Теперь, когда страдать осталось недолго, он снова способен был чувствовать смущение. В ответ на его улыбку они нахмурились. Для них это было все равно, как если бы автомобиль вдруг попытался заговорить. Колдуэлл отвел глаза и стал думать о далеком: о зеленых полях, о Харикло, некогда стройной и юной, о Питере, – когда мальчик был совсем еще маленьким, он сажал его в стульчик на колесиках, к которому был приделан руль, и, подталкивая раздвоенной

палкой, катал по улицам под каштанами. Они были бедны и не могли купить коляску; сынишка научился рулить, не рано ли? Он беспокоился о сынишке, когда не был слишком занят.

– Ну, Джордж, теперь держитесь, – сказал Гаммел. Стрела подалась назад и выскользнула из раны, полоснув по ноге болью. Гаммел выпрямился, красный не то от жара горелки, не то от удовлетворения. Трое его тупоголовых помощников сгрудились вокруг и смотрели на серебристый стержень с окровавленным кончиком. Лодыжка Колдуэлла, наконец-то освобожденная, сразу обмякла, расслабла: ботинок как будто медленно наполнялся теплой жидкостью. Боль окрасилась в другой цвет, ее спектр сулил исцеление. Его тело это понимало. Боль, ритмично пульсируя, подступала к сердцу – дыхание природы.

Гаммел нагнулся и поднял что-то с полу. Поднес к носу, понюхал. Потом протянул Колдуэллу. Это был еще не остывший наконечник стрелы. Трехгранный, отточенный до того, что ребра изгибались плавными дугами, он казался слишком изящным, чтобы нанести такую рану. Колдуэлл заметил, что ладони Гаммела в пятнах от напряжения и усилий; лоб тонкой пленкой покрыла испарина. Он спросил:

– Зачем вы ее нюхали?

– Думал, вдруг она отравленная.

– Ну и как?

– Не знаю, от нынешних детей всего ждать можно, – ответил Гаммел и добавил:

– Ничем не пахнет.

– Вряд ли они это сделали, – убежденно сказал Колдуэлл, вспоминая лица Ахилла и Геракла, Ясона и Асклепия, благоговейно ловивших каждое его слово.

– И откуда только у детей деньги, хотел бы я знать, – сказал Гаммел, словно стараясь отвлечь Колдуэлла от мрачных раздумий. Он поднял стальной стержень и обтер кровь перчаткой. – Хорошая сталь, – сказал он. – Такая штука стоит недешево.

– Отцы дают деньги паршивцам, – сказал Колдуэлл. Теперь он чувствовал себя крепче, мысли прояснились. Надо идти в школу, на урок.

– Слишком много завелось у людей денег, – сказал старый механик с усталой злобой. – Вся дрянь, какую в Детройте делают, нарасхват.

Его лицо снова стало серым от ацетиленового загара; морщинистое и дряблое, как смятый листок фольги, оно казалось почти женственным в тихой печали, и Колдуэлл забеспокоился.

– Эл, сколько с меня? Я должен идти. Зиммерман с меня голову снимет.

– Ничего не надо, Джордж. Бросьте. Я рад был вам помочь. – Он засмеялся. – Не каждый день приходится перерезать стрелу в ноге.

– Но мне, право, совестно. Я вас попросил как мастера, как специалиста...

И он сунул руку в карман, будто полез за бумажником.

– Бросьте, Джордж. Все дело заняло не больше минуты. Будьте великодушны, примите это одолжение. Вера говорит, что вы один из немногих, кто не отравляет ей жизнь.

Колдуэлл почувствовал, что лицо у него словно каменеет; интересно, много ли Гаммел знает о том, что отравляет Вере жизнь... Надо идти.

– Эл, я вам от души благодарен, поверьте.

Вот так всегда, не умеет он поблагодарить человека по-настоящему. Всю жизнь прожил в этом городе, привязался к здешним людям, а сказать не осмеливается.

– Пойдите, – окликнул его Гаммел. – Может, возьмете? – И он протянул блестящую стрелу. Наконечник Колдуэлл еще раньше машинально сунул в карман.

– Ну ее к дьяволу. Оставьте себе.

– Да на что она мне? В мастерской и так полно хлама. А вы ее Зиммерману покажите. Нельзя, чтобы в наших школах так измывались над учителем.

– Ладно, Эл, будь по-вашему. Спасибо. Большое спасибо.

Серебристый прут был длинный, он торчал из бокового кармана, как автомобильная антенна.

– Учителя надо защищать от таких учеников. Пожалуйте Зиммерману.

– Сами пожалуйте. Может, вас он послушает.

– Что ж, может, и послушает. Я серьезно. Вполне может послушать.

– А я и не думал шутить.

– Вы же знаете, я был в школьном совете, когда его взяли на работу.

– Знаю, Эл.

– Я потом часто жалел об этом.

– И напрасно.

– Разве?

– Он человек неглупый.

– Да... конечно... но чего-то ему не хватает.

– Зиммерман умеет пользоваться властью, но дисциплину он не наладил.

Боль снова захлестнула ногу. Колдуэллу казалось, что он теперь видит Зиммермана насквозь и никогда не судил о нем так здраво, но Гаммел с досадным упорством только повторил:

– Чего-то ему не хватает.

Колдуэлл чувствовал, что опаздывает, и от беспокойства у него засосало под ложечкой.

– Мне пора, – сказал он.

– Ну, счастливо. Передайте Хэсси, что мы в городе скучаем без нее.

– Господи, да ей там хорошо, она веселая, как жаворонок. Всю жизнь только об этом и мечтала.

– А папаша Крамер как?

– Здоров как бык. До ста лет доживет.



– И вам не надоело ездить каждый день туда и обратно?

– Нет, честно сказать, я даже рад. Хоть с сынишкой могу поговорить. Когда мы жили в городе, я его почти не сидел.

– Вера говорит, у него светлая голова.

– Это от матери. Дай только бог, чтобы он не унаследовал мою уродливую внешность.

– Джордж, можно мне сказать вам одну вещь?

– Выкладывайте, Эл. Мы ведь друзья.

– Знаете, в чем ваша беда?

– Я глуп и упрям.

– Нет, правда.

«Моя беда в том, – подумал Колдуэлл, – что нога у меня болит, спасенья нет».

– В чем же?

– Вы слишком скромны.

– Эл, вы попали в самую точку, – сказал Колдуэлл и повернулся, чтобы уйти.

Но Гаммел его не отпускал.

– А как машина, в порядке?

Колдуэллы, пока не переехали на ферму в десяти милях от города, обходились без автомобиля. В Олинджоре куда угодно можно было добраться пешком, а до Олтона ходил трамвай. Но когда они снова откупили дом папаши Крамера, автомобиль стал необходим. Гаммел подыскал им «бьюик» тридцать шестого года всего за триста семьдесят пять долларов.

– Замечательно. Превосходная машина. Простить себе не могу, что разбил решетку.

– Ее невозможно сварить, Джордж. Но мотор работает хорошо?

– Лучше некуда. Вы не думайте, Эл, я вам очень благодарен.

– Мотор должен быть в порядке: прежний хозяин никогда не ездил со скоростью больше сорока миль. У него похоронное бюро было.

Гаммел повторял это уже в тысячный раз. Видно, мысль эта ему нравилась.

– Меня это не смущает, – сказал Колдуэлл, догадываясь, что в воображении Гаммела машина полна призраков. А ведь это был обыкновенный легковой автомобиль с четырьмя дверцами; покойника туда и не втиснуть. Правда, он был такой черный, каких Колдуэлл больше нигде не видал. Да, на старые «бьюики» шеллака не жалели.

Разговаривая с Гаммелом, Колдуэлл нервничал. В ушах у него тикали часы; школа властно требовала его. Осунувшееся лицо Гаммела плясало в диком вихре звуков. Разрозненные автомобильные детали, зигзаги сорванной резьбы, угольные пласты, куски искореженного металла проступали на этом лице сквозь давно знакомые черты. Неужели мы разваливаемся на части? А в мозгу все стучало: «Шеллак на „бьюики“, шеллак, шеллак».

– Эл, – сказал он. – Мне пора. Значит, вы не возьмете денег?

– Джордж, хватит об этом.

Эти олинджерские аристократы всегда так. Денег ни за что не примут, зато любят принимать высокомерный тон. Навяжут одолжение и чувствуют себя богами.

Он двинулся к двери, и Гаммел, прихрамывая, пошел за ним. Три циклопа так загоготали, что они обернулись. Арчи, изрыгая пронзительное кудахтанье, словно поднятое сотней недорезанных кур, указывал на пол. На грязном цементе остались мокрые следы. Колдуэлл посмотрел на раненую ногу: ботинок был пропитан кровью. Черная в тусклом скупом свете, она сочилась над пяткой.

– Джордж, идите-ка лучше к доктору, – сказал Гаммел.

– Схожу во время перерыва. Пускай пока кровоточит. – Мысль о яде не оставляла его. – Рана очистится.

Он открыл дверь, и сразу же их обволокло холодным воздухом. Выходя, Колдуэлл слишком резко наступил на раненую ногу и подпрыгнул от неожиданной боли.

– Скажите Зиммерману, – настаивал Гаммел.

– Скажу.

– Нет, правда, Джордж, скажите ему.

– Все равно он ничего не может поделать, Эл. Дети теперь не те, что раньше; да он и сам рад, когда они нас живьем едят.

Гаммел вздохнул. Серый комбинезон висел на нем, как пустой мешок; из его волос брызнули металлические опилки.

– Скверные времена, Джордж.

Длинное, осунувшееся лицо Колдуэлла сморщилось: редкий случай – ему вздумалось пошутить. Чувство юмора в общепринятом смысле не было ему свойственно.

– Да уж что и говорить, не Золотой век.

Жаль Гаммела, подумал Колдуэлл уходя. Одиноким, бедняга, не с кем словом перекинуться, вот и продержал его столько времени. Такие механики теперь никому не нужны; всюду массовое производство. Вещь свое отслужила покупай новую. Р-раз – и готово! А рухлядь – па слом. Только одноглазые болваны и соглашаются у него работать, жена спит чуть не с каждым мужчиной в городе, «Мобилгэс» все прибирает к рукам, да и «Тексейко», говорят, не отстает, а Гаммелу хоть в петлю. И наконецник понюхал, всерьез испугался, не отравленный ли, бр-р-р.

Но пока Колдуэлл ковылял к школе и холод пробирал его сквозь потертый коричневый костюм, сердце его забило в ином ритме. В гараже было тепло. Этот человек хорошо относился к нему. С давних пор. Гаммел приходился племянником жене папаши Крамера. Это он замолвил за Колдуэлла словечко в школьном совете и устроил его на работу в разгар депрессии, когда все оливковые деревья засохли и Деметра бродила по земле, оплакивая свою похищенную дочь. Там, где падала ее слеза, трава никогда уж не зеленела. Ее веноч источал отраву, и ядовитый плющ вырос у каждого жилища. До тех пор все в природе было благосклонно к человеку. Всякая ягода будила нежную чувственность, и, спускаясь галопом с Пелиона, он увидел юную Харикло, собиравшую нежную зелень.

Огромная оранжевая стена приближалась. Звуки из классов осыпали его, словно снежные хлопья. По хрупкому оконному стеклу забарабанили чем-то металлическим. В окне показался Фол с палкой, которой задергивают шторы, и в недоумении посмотрел на своего коллегу. Его большие старомодные очки удивленно блестели под волосами, аккуратно расчесанными на прямой пробор. Фол когда-то был профессиональным игроком в бейсбол, и над ушами у него все еще сохранился след от шлема, хотя он уже не молод и широкий лоб избороздили морщины. Колдуэлл выразительно махнул приятелю и нарочно захромал еще сильнее, показывая, почему он не в классе. Он прыгал, как десятицентовая заводная игрушка, но притворяться почти не приходилось: после горячей помощи Гаммела нога обиженно ныла. С каждым шагом она словно все глубже проваливалась в раскаленную землю. Колдуэлл добрался до боковой двери и сжал латунную ручку. Прежде чем войти, он набрал полную грудь свежего воздуха и запрокинул голову, словно услышал зов сверху. Над стеной в несокрушимом синем небе неумолчно звучало односложное "я".

За дверью на резиновом половике он остановился перевести дух. С желтой глянцевитой стены на него по-прежнему смотрело ругательство. Боясь, как бы директор не услышал его шаги, Колдуэлл не пошел через первый этаж, мимо кабинета Зиммермана, а избрал путь через подземный ход. Он спустился вниз и прошел мимо раздевалки для мальчиков. Дверь была открыта; одежда валялась где попало, в воздухе еще не рассеялись облачка дыма. Колдуэлл толкнул стеклянную дверь с проволочной сеткой и вошел в зал для самостоятельных занятий. Здесь царила необычная тишина, ряды учеников замерли. Медуза, поддерживавшая такую идеальную дисциплину, сидела на учительском месте. Она подняла голову. Желтые карандаши торчали из ее спутанных волос. Колдуэлл избегал ее взгляда. Подняв голову, глядя прямо перед собой, строго и решительно сжав губы, он прошел вдоль правой стены. Из мастерской, где обучали ручному труду, в дальнем конце этой стены, вдруг раздался визг терзаемого дерева: «Д-з-з! У-и-и-и!» Слева от него ученики зашуршали, как галька под набегающей на берег волной. Он не смотрел по сторонам, пока не добрался благополучно до дальней двери. Здесь он обернулся – взглянуть, не осталось ли на полу следов. Так и есть: цепочка красных полумесяцев, отпечатанных каблуком, тянулась за ним. Он смущенно поджал губы: придется объяснить все уборщикам и извиниться.

В школьном кафетерии суетились женщины в зеленых халатах – расставляли восьмицентовые стаканчики с молочным шоколадом, разносили подносы с бутербродами, завернутыми в целлофан, помешивали суп в котлах. Суп сегодня томатный. Тошнотворно острый запах плавал меж кафельных стен. Мать местного зубного врача, толстая тетушка Шройер, в фартуке, засаленном оттого, что она целые дни возилась у печей, махнула ему деревянным половником. Обрадовавшись, как ребенок, Колдуэлл с улыбкой помахал в ответ. Он всегда чувствовал себя легко и уверенно среди обслуживающего персонала школы, среди истопников, уборщиков и поварих. Они напоминали ему реальных людей, людей его детства в Пассейике, штат Нью-Джерси, где его отец был бедным священником в бедном приходе. На их улице профессию каждого можно было назвать простым словом – молочник, слесарь, печатник, каменщик, и каждый дом, с его неповторимыми трещинами, занавесками и цветочными горшками, Колдуэлл знал в лицо. Скромный от природы, он чувствовал себя лучше всего в школьном подвале. Здесь было тепло, трубы отопления пели; разговоры были бесхитростные и понятные.

Большое здание было симметрично. Он вышел из кафетерия, поднялся на несколько ступенек и очутился около женской раздевалки. Запретное место; но по беспорядку в мальчишеской раздевалке он знал, что урок физкультуры сейчас у мальчиков, и он не рискует совершить кощунство. Храм пуст. Массивная зеленая дверь была приоткрыта, сквозь щель виднелась полоса цементного пола, край коричневой скамьи, ряд высоких закрытых шкафов и над ними матовые окна.

Стой!

Да, это было здесь. Забыв обо всем от усталости, он поднимался в свой класс, и глаза у него болели, потому что, греясь в котельной, он проверил целую кучу контрольных работ, а в школе сгущались сумерки, ученики разошлись, часы дружно тикали в темных классах, и ноги его словно приросли к шероховатому цементу, когда вот здесь, на этом самом месте, он застиг врасплох Веру Гаммел: эти самые зеленые двери были приоткрыты, и она стояла на виду, в клубах пара, – голубое полотенце не скрывало ее ослепительной наготы, золотистый треугольник волос побелел от росы.

– Почему брат мой Хирон глазеет на меня, как сатир? Ведь боги не чужие ему.

– Госпожа моя Венера. – Он склонил свою прекрасную голову. – Твоя красота так восхитила меня, что я забыл о нашем родстве.

Она засмеялась и, отжав над плечом золотистые волосы, лениво провела по ним полотенцем.

– Скажи лучше, ты стыдишься этого родства из гордости. Ведь тебя отец Крон в конском обличье зачал с Филירוю в расцвете сил, а я родилась, когда он, как мусор, швырнул Уранову плоть в морскую пену.

Повернув голову, она еще туже скрутила волосы небрежным жгутом. Быстрая струйка воды скользнула по ее ключице. Ее шея казалась прозрачной на фоне сырого красноватого облака, волосы разметались гривой. Опустив глаза, она повернулась к нему в профиль. У Хирона перехватило дух; каждая жилка в нем зазвенела, как струна арфы. И хотя она явно притворялась, будто огорчена дикой нелепостью своего появления на свет, он все же попытался ее утешить.

– Но ведь моя мать сама была дочерью Океана, – сказал он и сразу же понял, что даже тень серьезности в ответ на ее легкомысленное самоуничижение прозвучала непростительно дерзко.

Ее карие глаза так сверкнули, что он забыл о красоте ее тела; эта сияющая фигура была теперь лишь сосудом божественного гнева.

– Верно, – сказала она, – и Филера испытывала такое отвращение к чудовищу, которое родила на свет, что умолила богов превратить ее в липу, лишь бы не кормить тебя грудью.

Он сразу замкнулся в себе: своим ограниченным женским умом она нащупала самое больное его место. Но, напомнив о женщине, которую он не мог простить, Венера укрепила его в презрении к самой себе. Раздумывая над легендой о том, как на островке, совсем крошечном, едва видимом сквозь зыбкие толщи воды, дрожал мохнатый и скользкий комок, покинутый, раздираемый страхом, и этим комком был он в младенчестве, – размышляя над этой историей, так похожей на многие другие, с той лишь разницей, что здесь кто-то неизвестный носил его имя, взрослый Хирон, умудренный знанием жизни и истории, жалел Филiru, дочь Океана и Тефии, прекрасную, но недалекую, которой овладел неистовый Крон, а когда его захватила врасплох бдительная Рея, преобразился в коня и ускакал, а в лоне непорочной дочери Океана осталось изверженное до срока семя, из которого вырос уродливый плод. Бедная Филера! Его мать. Мудрый Хирон почти видел ее лицо, огромное, залитое слезами, обращенное к небу, чей первоизданный облик теперь бесследно исчез, в мольбе избавить ее от предначертания, которое древнее даже Сторуких и восходит к тем временам, когда сознание было лишь пылью, рассеянной во мраке, предначертания, повелевающего женщине зачинать и рожать детей, молила жестокое небо не гневаться на нее за уродливый плод насилия, смутно предчувствуемый и стыдливо желанный; именно в тот миг, перед самым ее превращением, Хирон всего яснее представлял себе свою мать; и юношей, когда он, в печальной задумчивости, пришел взглянуть на липы, сильный и мудрый, с едва отросшей гривой волос и лоснящейся шкурой, уже тогда вооруженный сознательным

достоинством, под которым он прятал свою боль, и кроткой решимостью, сделавшей его потом покровителем стольких сирот, не знавших материнской любви, Хирон, стоя в легкой тени раскидистого дерева, поверил, что в несмелом прикосновении поникших веток, в трепетании сердцевидных листьев был какой-то ропот, надежда на возвращение человеческого облика и даже радость видеть сына совсем взрослым; и это вместе с кропотливыми, точными исследованиями состава нектара в цветах липы придало образу его матери вкус, запах и бесконечную трогательную нежность, промелькнувшую в те короткие, исступленные мгновения, когда дерево подарило ему свою ласку, которая, сохрани Филира человеческий облик, исходила бы от его матери и претворилась в незначащие слова, робкую заботу и любовь. Прижавшись липом к стволу, он прошептал ее имя. Но как ни старался он примириться с нею, все же, вспоминая легенду о своем рождении, Хирон не раз чувствовал, что детская обида снова оживает в его теперь уже зрелых раздумьях о прошлом; он был незаслуженно отравлен жгучей жаждой с первых дней своей жизни; и крохотный островок, не больше сотни шагов в длину, где он, первый из племени, которое природа укрыла в пещерах, лежал под открытым небом, был для него воплощением всего женского естества, столь зыбкого, столь неверного и эгоистичного. Да, именно эгоистичного. Слишком легко их совратить, слишком легко отвергнуть, их волю опутывает паутина чувств, и они, потворствуя собственной слабости, оставляют своего отпрыска гнить на берегу только потому, что он обрастает конским волосом. И теперь сквозь одну грань призмы, в которую претворилась для него легенда, тонколикая богиня, насмеявшаяся над ним, представлялась ему достойной жалости, а сквозь другую – ненавистной. Но так или иначе, он торжествовал над ней. Он сказал сдержанно:

– У липы немало целебных свойств.

Почтительный упрек, если она соблаговолит его принять, а если нет всего только безобидный и неоспоримый медицинский факт. За свою долгую жизнь он научился придворной учтивости.

Она смотрела на него, обтираясь полотенцем; кожу ее усеивали прозрачные капли. Плечи были тронуты веснушками.

– Ты, я вижу, не любишь женщин, – сказала она.

Казалось, это открытие ее нисколько не опечалило.

Он не ответил.

Она засмеялась; сияние ее глаз, из которых щедро струился неземной мир, сменил тусклый звериный блеск, и она, небрежно придерживая полотенце закинута за спину рукой, вышла на берег и пальцем свободной руки коснулась его груди. Позади нее по возмущенной воде побежали, расходясь, широкие круги. Вода лизала низкий берег, покрытый тростниками, нарциссами и напряженной плотью нераспустившихся ирисов; земля под ее узкими, в голубых прожилках, ступнями стелилась ковром, сотканным из мхов и нежных трав, в узор которого вплетались фиалки и бледные лесные анемоны, выросшие там, где на землю упали капли крови Адониса.

– На ее месте, – сказала она голосом, пронизавшим каждую извилину его мозга, и кончиками пальцев легонько закрутила бронзовое руно на его груди, – я была бы счастлива вскормить существо, в котором благородство и ум человека сочетаются с... – Она потупила глаза, золотистые ресницы коснулись щек; при этом она едва уловимо повернула голову, и он поймал взгляд, скользнувший по его крупу:

– ...с могучей силой коня.

Нижняя его половина, не покорная воле, приосанилась, задние копыта выбили еще два полумесяца на топком травянистом берегу.

– В сочетании, госпожа моя, составные части нередко теряют самое ценное.

На ее лице появилась глупая улыбка, и она стала похожа на обыкновенную молодую кокетку.

– Это было бы справедливо, брат, будь у тебя голова и плечи коня, а туловище и ноги мужчины.

Хирон, один из немногих кентавров, часто общавшийся с просвещенными людьми, не раз слышал это; но ее близость так неотразимо действовала на него, что это опять показалось ему смешным. Его смех взвился пронзительным ржанием, отнюдь не подобавшим сдержанному тону, который он усвоил с этой девчонкой по праву старшинства и родственных уз.

– Боги не допустили бы такой нелепости, – заявил он.

Богиня задумалась.

– Твоя вера в нас поистине трогательна. Чем заслужили мы такое поклонение?

– Мы чтим богов не за их дела, – сказал он, – а просто потому, что они боги.

И сам себе удивляясь, украдкой выпятил грудь, чтобы рука богини плотнее прильнула к ней. С внезапной досадой она ущипнула его.

– О Хирон, – сказала она, – если б ты знал их, как я! Расскажи мне про богов. Я так забывчива. Назови их. Эти имена так величественно звучат в твоих устах.

Покорный ее красоте, охваченный надеждой, что вот сейчас она сбросит полотенце, Хирон произнес нараспев:

– Зевс, владыка небес, тучегонитель и громовержец.

– Грязный развратник.

– Его супруга Гера, покровительница священного брака.

– В последний раз, когда я ее видела, она с досады, что Зевс уже целый год не восходит к ней на ложе, била свою прислужницу. А знаешь, как он в первый раз овладел ею? Обернувшись кукушкой.

– Удодом, – поправил Хирон.

– Нет, глупой кукушкой, какие выскакивают из часов. Ну, назови еще богов. Они такие смешные.

– Посейдон, властитель белогривого моря.

– Старый полоумный матрос. Он красит волосы в синий цвет. От его бороды воняет тухлой рыбой. У него целый сундук африканских порнографических картинок. Мать его была негритянка – белки глаз его выдают. Ну, дальше.

Хирон чувствовал, что пора остановиться, но злословие втайне доставляло ему удовольствие, в нем самом было что-то от шута.

– Пресветлый Аполлон, – возгласил он, – всевидящий властитель солнца, чьи дельфийские прорицания направляют нашу политическую жизнь, а всепроникающий дух приобщает нас к искусствам и законам.

– А, этот хвастун. Сладкоголосый хвастун, который вечно болтает только о себе; меня тошнит от его тщеславия. Ведь он неграмотный.

– Ну нет, это уж ты слишком.

– Верь моему слову. Возьмет свиток и сидит, уставившись без толку в одно место.

– А его близнец Артемида, прекрасная охотница, которую обожают даже звери, умирающие от ее руки?

– Ха! Она никогда не попадает в цель, вот в чем секрет. Хихикает в лесу со сворой вассаровских &lt;"Вассар" – известный в Америке женский колледж&gt; девиц, чью хваленую девственность ни один лекарь в Аркадии...

– Тсс, дитя!

Кентавр протянул руку, словно хотел зажать ей рот, и в страхе действительно едва не коснулся ее губ. Он услышал у себя за спиной приглушенный громовой раскат.

Она отступила, удивленная его дерзостью. Потом взглянула в небо поверх его плеча и, поняв, в чем дело, рассмеялась; это был невеселый смех, нестерпимо накаленный и вызывающе протяжный; ее совершенные черты, обезображенные смехом, заострились, от женственности не осталось и следа. Щеки, лоб, шея побагровели, и она закричала прямо в небо:

– Да, брат, да, я богохульствую! Вот они, твои боги, слушай: синий чулок, болтливая сорока, грязная карга, от которой воняет самогонкой, разбойник с большой дороги, пьяный псих и презренный, жалкий, вонючий, седой, хромоногий, чумазый рогоносец...

– Но ведь он твой муж! – возразил Хирон, надеясь умиловить небо. Его положение было не из легких. Он знал, что снисходительный Зевс никогда не причинит зла его юной тетке. Но в гневе он мог поразить громом неповинного слушателя, чье положение на Олимпе шатко и двусмысленно. Хирон знал, что Зевс завидует его близости к людям, потому что сам он является смертным, лишь чтобы совершить насилие, да и то в птичьих перьях или звериной шкуре. И действительно ходил слух, что Зевс считает кентавров опасным племенем, из-за которого боги могут стать никому не нужными. Но небо хоть и потемнело, все же безмолвствовало. Хирон, преисполненный благодарности, решил продолжить и сказал Венере:

– Ты не ценишь мужа. Гефест знает свое дело, и он добрый. Ведь каждая наковальня, каждый гончарный круг – его алтарь, а он всегда скромн. После злополучного падения на Лемнос сердце его очистилось от всякой гордыни, и хотя плечи его сутулы, душа у него благородная.

Она вздохнула.

– Знаю. Но как могу я любить этого слюнтяя? По мне, уж лучше грубая душа. Ты думаешь, – сказала она недоверчиво и слегка снисходительно, как ученица, которую не часто удается заинтересовать, – меня тянет к грубым мужчинам, потому что во мне говорит комплекс вины из-за отцовского увечья? Думаешь, я чувствую себя виноватой и сама ищу наказания?

Хирон улыбнулся: он не был поклонником этих новомодных теорий. Тучи над ними рассеялись. Чувствуя себя в безопасности, он осмелился на дерзость и заметил:

– Есть одно божество, о котором ты умолчала.

Он намекал на Арея, самого злобного из всех.

Она тряхнула головой, и ее рыжие волосы взметнулись.

– Я знаю, что ты хочешь сказать. Что я не лучше других. Как же ты назовешь меня, благородный Хирон? Подсознательной нимфоманкой? Или попросту шлюхой?

– Нет, нет, ты меня не поняла. Я говорил не про тебя.

Но она, не слушая его, воскликнула:

– Ведь это несправедливо! – Она порывисто стянула на себе полотенце. – Почему мы должны отказываться от единственного наслаждения, которое судьба забыла у нас отнять? У смертных есть счастье борьбы, радость сострадания, удовлетворение мужества, но боги совершенны.

Хирон кивнул: старый царедворец знал, как часто эти аристократы на все лады превозносят тех, кого только что хулили. Понимала ли она, что, пустив в ход свой маленький арсенал насмешек над богами, она была близка к ужасной истине? Но приходилось смиряться; он всегда будет ниже их.

Она поправилась:

– Мы совершенны лишь в своем бессмертии. Меня безжалостно лишили отца. Зевс обращается со мной, как с любимой кошкой. Родственные чувства он бережет для Артемиды и Афины, своих дочерей. К ним он благоволит; им не приходится снова и снова выдерживать наскоки гиганта, эту жалкую замену страсти. Что такое Приап, как не воплощение Его силы без отцовской любви? Приап – самый безобразный из моих детей, достойный своего зачатия. Дионис обошелся со мной так, будто я – очередной юноша.

Она снова коснулась груди кентавра, как будто хотела убедиться, что он не превратился в камень.

– Ты знал своего отца. Как я завидую тебе! Если б я могла видеть лицо Урана, слышать его голос; не будь я жалким последышем, ничтожной тенью его оскверненного трупа, я была бы чиста, как Гестия, моя тетка, единственная на Олимпе, кто действительно меня любит. Да и ее теперь низвели с Олимпа, превратили в жалкое домашнее божество.

Беспокойная мысль юной богини метнулась по новому руслу:

– Ты знаешь людей. Скажи, почему они оскорбляют меня? Почему мое имя вызывает смех, почему меня рисуют на стенах в уборных? Кто служит им лучше меня? Кто из богов дает им разом такое же могущество и безмятежность? В чем моя вина?

– Все это, госпожа моя, ты выдумала сама.

Поток ее искренности иссяк, она принялась холодно дразнить его.

– Ты так благоразумен. Так мудр. Добрый Хирон. Наш ученый, наш агитатор. Ты такой чуткий. А думал ты когда-нибудь, племянник, о том, чье у тебя сердце – человека или коня?

Уязвленный, он сказал:

– Говорят, выше пояса я целиком человек.

– Прости меня. Ты добр, и я воздам тебе по-божески. – Она наклонилась и сорвала анемон. – Бедняга Адонис, – сказала она, лениво трогая пальцем звездчатый лепесток. – Какая бледная была у него кровь, не ярче нашей сукровицы.



От воспоминаний, как от ветра, заволновались ее волосы – пушистая, уже почти высохшая корона. Она отвернулась, словно стесняясь, поднесла цветок к губам, и чуть влажные еще пряди ее волос заструились красивыми зигзагами по телу, белому и гладкому, как легендарный покров Олимпа – снег. Ягодицы у нее были розовые и слегка шероховатые; ноги сзади словно осыпаны золотистой пылью. Она поцеловала цветок, бросила его и повернула к кентавру преображенное лицо – трепетное, покрасневшее, затуманенное и робкое.

– Хирон, – повелела она, – возьми меня.

Его большое сердце заколотилось о ребра; он взмахнул дрожащей рукой.

– Но, госпожа моя, ниже пояса я конь.

Она беспечно шагнула вперед, попирая фиалки. Полотенце упало.

– Боишься? – прошептала она. – Как ты делаешь это с Харикло?

Он сказал, с трудом шевеля пересохшими губами:

– Но ведь это кровосмешение.

– Так бывает всегда; все мы возникли из Хаоса.

– Но сейчас день.

– Тем лучше; значит, боги спят. Разве любовь так отвратительна, что должна таиться в темноте? Или ты презираешь меня за распутство? Но ведь ты ученый, ты должен знать, что после каждого омовения я вновь обретаю девственность.

Не сила, а слабость – так в отчаянье хватают на руки горящего в лихорадке ребенка – толкнула его к трепещущей женщине; тело ее, слабое и податливое, готово было слиться воедино с его телом. Он чувствовал под руками пушистый изгиб ее спины. Брюхо его дрогнуло от нетерпения, из ноздрей вырвалось ржание. Ее руки сжимали его шею, а ноги, свободно повиснув в воздухе, касались его коленей.

– Конь, – прошептала она. – Оседлав, меня. Вспаши меня.

От ее тела шел резкий, дурманящий запах цветов, пестрых, растерзанных и, как в землю, втоптаных в его собственный конский запах. Зажмурившись, он поплыл над теплой призрачной равниной, меж красноватых деревьев.

Но он был скован. Он помнил про гром. Зиммерман мог все еще быть здесь: он дневал и ночевал в своем кабинете. Кентавр прислушался, не загромыхает ли наверху, и в тот же миг все переменялось. Руки, обнимавшие его шею, разжались. Не оглядываясь, Венера исчезла в кустах. Сотни зеленых лепестков сомкнулись позади нее. У любви своя мораль, она не прощает робости. И тогда, как вот теперь, Колдуэлл стоял один здесь, на цементном полу, в смущении, и теперь, как тогда, он стал подниматься по лестнице с глухим, мучительным чувством, что он неисповедимым образом прогневил бога, неусыпно следившего за ним.

Он поднимался по лестнице на второй этаж, в свой класс. Ноги плохо повиновались ему, одолевая крутые ступени; собственная неловкость была мучительна. При каждой волне боли он подолгу смотрел прямо перед собой и видел кусок стены, где кто-то шариковой ручкой начертил зигзаг, блестящий столбик перил, с которого была сорвана плоская шляпка, черную, затвердевшую горку пыли и песка в уголке площадки, окно, покрытое мутной пленкой и забранное ржавой решеткой, и снова мертвую желтую стену. Дверь класса была закрыта. Он ожидал неистовых криков, но за дверью царил зловещая тишина. По спине у него

пробежали мурашки. Неужели Зиммерман услышал шум и сам пришел в класс?

Страх оказался не напрасным. Колдуэлл открыл дверь и увидел перед собой, в каких-нибудь двух шагах, кривое лицо Зиммермана, которое, казалось, висело в воздухе, как гигантская эмблема власти, и от страха учитель не видел ничего, кроме этого лица. Зловеще колыхнувшись, оно, казалось, стало еще огромней. Разящая молния, вылетев из середины директорского лба над стеклами очков, за которыми глаза казались чудовищно большими, пронизала воздух и поразила оцепеневшую жертву. Тишина, в которой они смотрели друг на друга, была оглушительней грома.

Зиммерман повернулся к классу; перед ним были ровные ряды присмиривших, испуганных учеников.

– Мистер Колдуэлл соблаговолил вернуться к нам.

Класс подобострастно захихикал.

– Мне кажется, такая верность долгу заслуживает небольшой овации.

И он подал пример: сложив ладони лодочкой, изящно ударил одной о другую. Руки и ноги у Зиммермана были нелепо короткие для массивного туловища и головы. На нем был спортивный пиджак с плечами, подбитыми ватой, широкий, в крупную клетку, который еще больше подчеркивал эту несоразмерность. Взглянув на иронически аплодирующих учеников, Колдуэлл поймал несколько ухмылок. Осрамленный учитель облизал спекшиеся губы.

– Благодарю вас, дети, – сказал Зиммерман. – Достаточно.

Негромкие аплодисменты сразу смолкли. Директор снова повернулся к Колдуэллу; его асимметричное лицо было похоже на грозовую тучу, гордо плывшую высоко в небе. Колдуэлл издал нечленораздельный звук, который должен был выразить его восхищение и преданность.

– Мы поговорим потом, Джордж. Дети ждут не дождутся, когда же вы наконец начнете урок.

Но Колдуэлл, жаждавший объясниться, получить отпущение, наклонился и приподнял штанину – его неожиданный и неприличный жест вызвал у класса бурный восторг. И в душе Колдуэлл сам хотел этого.

Зиммерман это понял. Он понял все. Хотя Колдуэлл сразу же опустил штанину и вытянул руки по швам, Зиммерман продолжал смотреть вниз, на его лодыжку, словно она была бесконечно далеко, но взор его проникал сквозь бесконечность.

– У вас, кажется, носки не совсем одинаковые, – сказал он. – Вы об этом?

Ученики снова покатались со смеху. Зиммерман выждал ровно столько, сколько нужно было, чтобы голос его покрыл последние смешки.

– Но, Джордж, Джордж, нельзя же, чтобы ваша похвальная забота о своей внешности вступала в противоречие с другим неотъемлемым качеством учителя – точностью.

Колдуэлл всегда был одет так плохо, ходил в таком донельзя поношенном костюме, что и эта фраза вызвала смех; но многие ученики не оценили тонкий юмор Зиммермана.

Директор брезгливо ткнул пальцем в сторону учителя.

– А это что у вас там, громоотвод? Весьма предусмотрительно в безоблачный зимний день.

Колдуэлл нащупал холодную гладкую стрелу, торчавшую у него из кармана. Он вынул стрелу и протянул ее Зиммерману, мучительно подыскивая слова, чтобы все объяснить; тогда Зиммерман бросится к нему на шею и поцелует его за героически перенесенные муки, слезы сострадания увлажнят это властное, надутое лицо.

– Вот, – сказал Колдуэлл. – Я не знаю, кто из мальчишек...

Зиммерман не соизволил коснуться стрелы; протестуя выставив вперед ладони, словно блестящий стержень таил в себе опасность, он быстро попятился, ловко перебирая короткими ногами, до сих пор сохранившими спортивную упругость. Зиммерман прославился еще в школьные годы: он был чемпионом по легкой атлетике. Крепкие мускулы, гибкие руки и ноги приносили ему победу во всех состязаниях, где требовались быстрота и сила, – в метании диска, в беге на короткие и длинные дистанции.

– Джордж, я же вам сказал – потом, – повторил он. – Прошу вас, начинайте урок. А я, поскольку моя утренняя программа все равно нарушена, сяду за последнюю парту, ведь так или иначе, раз в месяц я должен побывать у вас на уроке. Дети, пожалуйста, не обращайтесь на меня внимания.

Колдуэлл всегда страшился этих ежемесячных директорских посещений. Короткие машинописные отзывы, которые за ними следовали, состоявшие из путаной смеси едких замечаний и педагогических штампов, надолго выводили его из равновесия – если отзыв бывал хорошим, он чувствовал себя именинником, если же плохим (как случалось почти всегда, он ощущал двусмысленность некоторых слов, и это всякий раз было как ложка дегтя) целыми неделями ходил сам не свой. И вот Зиммерман остался в классе именно теперь, когда он так истерзан болью, несправедливо унижен и совсем не подготовлен к уроку.

Мягким кошачьим шагом директор прошел вдоль доски. Делая вид, будто хочет стать как можно незаметнее, он сгорбил широкую клетчатую спину. Он сел за последнюю парту, позади прыщавого и лопухого Марка Янгермана. Но едва усевшись, заметил, что через проход, в третьем ряду на последней парте, сидит Ирис Остуд, полная красавица, медлительная и тяжеловесная, как телка. Зиммерман, пододвинувшись, шепотом и жестами попросил у нее листок из тетради. Пухлая девушка поспешно вырвала листок, и директор, беря его, без стеснения заглянул за вырез ее свободной шелковой блузки.

Колдуэлл смотрел на это с благоговейным изумлением. Он видел, как цветные пятна заколебались над партами; присутствие Зиммермана наэлектризовало класс. Надо начинать. Но Колдуэлл забыл, кто он, зачем он здесь, чему должен учить. Он подошел к учительскому столу, положил стрелу и, увидев вырезку из журнала, вспомнил: «ХРОНОЛОГИЯ ТВОРЕНИЯ, СОСТАВЛЕННАЯ КЛИВЛЕНДСКИМ УЧЕНЫМ». Огромное лицо Зиммермана маячило в конце класса.

– На доске, у меня за спиной, – начал Колдуэлл, – написана цифра пять с девятью нулями. Пять – чего?

Робкий тоненький голосок нарушил тишину:

– Триллионов.

Это, конечно, Джудит Ленджел. И, как всегда, пальцем в небо. Ее отец, этот выскочка, торговец недвижимостью, думает, его дочка непременно должна быть «королевой весны», первой ученицей и любимицей класса только потому, что он, старик Ленджел, получая пять процентов комиссионных, сколотил капиталец. Бедняжка Джуди, ее просто бог умом обидел.

– Миллиардов, – сказал Колдуэлл. – Пять миллиардов лет. Таков, как считает современная наука, возраст Вселенной. Возможно, он даже больше, но почти наверняка не меньше. А

теперь, кто скажет мне, что такое миллиард?

– Тысяча тысяч? – проговорила Джуди дрожащим голосом. Бедная дурочка, почему никто ее не выручит? Почему не ответит кто-нибудь посообразительней, хотя бы Кеджерайэ? Кеджерайз сидел, вытянув ноги через проход, и, бессмысленно уставившись в свою тетрадку, чему-то улыбался. Колдуэлл искал взглядом Питера, но вспомнил, что сынишка не в этом классе. Он будет на седьмом уроке. Зиммерман что-то записал и подмигнул девчонке Осгуд, которая по дурости не понимала, к чему он клонит. Ох и глупа! Как пробка.

– Тысячу раз тысяча тысяч, – объяснил Колдуэлл. – Тысяча миллионов. Вот что такое миллиард. На земле сейчас живет больше двух миллиардов человек, а появились люди около миллиона лет назад, когда глупая обезьяна слезла с дерева на землю и огляделась вокруг, не понимая, зачем ее сюда занесло.

Класс засмеялся, а Дейфендорф – один из тех мальчишек, что приезжали в школу с фермы на автобусе, – принялся чесать у себя в голове и под мышками и лопотать по-обезьяньи.

Колдуэлл сделал вид, будто не заметил этого, потому что мальчик был лучшим пловцом в его команде.

– А еще нам приходится иметь дело с миллиардами, когда речь идет о нашем национальном доходе, – сказал Колдуэлл. – В настоящее время мы должны самим себе около двухсот шестидесяти миллиардов долларов. Примерно триста пятьдесят миллиардов нам стоила война с Гитлером. И еще на миллиарды считают звезды. Около ста миллиардов звезд насчитывается в нашей галактике, которая называется – как?

– Солнечная система? – подсказала Джуди.

– Млечный Путь, – поправил ее Колдуэлл. – В солнечной системе только одна звезда – какая же?

Он пристально смотрел на задние парты, но краем глаза увидел, что Джуди сейчас снова вылезет.

– Венера?

Мальчики засмеялись: Венера, венерологический, венерические болезни. Кто-то хлопнул в ладоши.

– Венера – самая яркая из планет, – объяснил ей Колдуэлл. – Ее иногда называют звездой, потому что она так ярко светит. Но, разумеется, единственная настоящая звезда, близкая к нам, это...

– Солнце, – сказал кто-то, но Колдуэлл не видел кто, потому что он впери́л глаза в тупое, напряженное лицо Джуди Ленджел, мысленно внушая ей, что она не должна поддаваться отцу. Не лезь вон из кожи, девочка, выходи-ка лучше замуж. Я как-нибудь сам уж, а тебе лучше замуж. (Неплохой вышел бы стишок на Валентинов день. Иногда Колдуэлла осеняло вдохновение.)

– Правильно, – сказал он. – Солнце. А теперь я напишу вот такое число.

Он написал на доске: 6.000.000.000.000.000.000.000.

– Как это прочесть? – И сам ответил:

– Шесть, – а потом, отчеркивая по три нуля:

– тысяч, миллионов, миллиардов, триллионов, квадрильонов, квинтильонов, секстильонов. Шестистильонов. Что оно выражает? Безмолвные лица смотрели на него недоуменно и насмешливо. И снова он ответил сам:

– Массу Земли в тоннах. А Солнце, – добавил он, – разумеется, весит гораздо больше. – Он написал 333.000 и сказал, обращаясь не то к классу, не то к доске:

– Три, три, три, ноль, ноль, ноль. Помножим, и получится... – Кр-кр, – мел раскрошился, когда он писал итог. – Один, девять, девять, восемь и двадцать четыре колечка.

Он отступил назад и посмотрел на доску; от напряжения его тошнило.

1 998 000 000 000 000 000 000 000 000

Пули смотрели на него, каждый как рана, из которой так и сочилось слово «яд».

– Такова масса Солнца, – сказал Колдуэлл. – Но не все ли нам равно?

Вокруг захохотал смех. Господи, куда он попал?

– Есть звезды больше Солнца, – сказал он, еле ворочая языком, – а есть и меньше. Самая близкая к нам звезда после Солнца, альфа Кентавра, находится на расстоянии четырех световых лет. Свет проходит один, восемь, шесть, ноль, ноль, ноль миль в секунду. – Он написал это число. Места на доске почти не осталось. – Это равно шести миллиардам миль в год. Пальцами он стер 5 в числе, обозначавшем возраст Вселенной, и написал 6. Альфа Кентавра от нас в двадцати четырех триллионах миль. – Тяжесть в его животе растеклась урчанием, и он подавил отрыжку. – Некогда люди думали, что по Млечному Пути души умерших попадают на небо, но весь Млечный Путь это лишь обман зрения, достичь его невозможно. Как туман, он все время будет редеть вокруг вас. Это звездный туман, мы видим его таким, потому что смотрим через огромную галактику. Галактика – это вращающийся диск шириной в сто тысяч световых лет. Я не знаю, кто метнул этот диск. Его центр находится в районе созвездия Стрельца, а стрелец – это тот, кто стреляет из лука, на прошлом уроке у меня тут был один такой милый ученичок. За нашей галактикой есть другие, ученые насчитывают их во Вселенной не менее ста миллиардов, и в каждой по сто миллиардов звезд. Говорят вам что-нибудь эти цифры?

Дейфендорф сказал:

– Нет.

Колдуэлл отпарировал дерзкий выпад, сразу согласившись с учеником. У него был достаточный опыт, чтобы при случае обвести этих паршивцев вокруг пальца.

– Мне тоже. Они только напоминают о смерти. Возможности человеческого мозга ограничены. Ну и чер... – Он спохватился, вспомнив о Зиммермане. Массивное лицо директора сразу поднялось над партией. – Ну и шут с ними. Попробуем представить себе пять миллиардов лет в наших масштабах. Предположим, Вселенная существует всего три дня. Сегодня у нас четверг, сейчас, – он посмотрел на часы, – без двадцати двенадцать. – Остается всего двадцать минут, надо успеть. – Так вот. В понедельник в двенадцать часов произошел величайший взрыв, какой видел свет. Нам дали такого пинка, что мы до сих пор мчимся вперед, никак остановиться не можем. Когда мы смотрим на другие галактики, они разбегаются от нас. Чем они дальше, тем больше их скорость. Расчеты показывают, что все они должны были возникнуть в одном месте примерно пять миллиардов лет назад.

Миллиарды, триллионы, квадрильоны и так далее – их без конца можно возводить в квадрат – тонн материи, существующей во Вселенной, были сжаты в шар максимально возможной плотности, какую только допускают размеры атомных ядер. Один кубический сантиметр этого первобытного яйца весил двести пятьдесят тонн.

Колдуэллу казалось, будто такой кубический сантиметр застрял у него в животе. Астрономия пронизывала его насквозь по ночам; когда он, измученный, лежал в постели, ему иногда казалось, что его ноющее тело фантастически огромно и заключает в своей темной глубине миллиарды звезд.

Зиммерман, наклонившись, что-то нашептывал красотке Осгуд; глазами он ласкал сквозь блузку плавную округлость ее груди. От него буквально разило развратом; возбуждение передалось ученикам; Бекки Дэвис ежилась – должно быть, Дейфендорф, сидевший позади нее, щекотал ей шею резинкой на конце карандаша. Бекки, грязная бродяжка, жила где-то под Олинджером. Ее маленькое белое треугольное личико обрамляли пепельные кудряшки. Дура, и к тому же грязнуля.

Сделав над собой усилие, Колдуэлл продолжал:

– Сжатие было так сильно, что это вещество оказалось нестойким: оно взорвалось в одну секунду – не в секунду нашего с вами воображаемого времени, а в подлинную секунду подлинного времени. И вот – слушайте внимательно – в нашем масштабе трех дней весь понедельник после полудня пространство было накалено и сверкало, насыщенное энергией, а к вечеру материя настолько рассеялась, что наступила темнота. Вселенная погрузилась в полнейший мрак. И до сих пор космическая пыль, планеты, метеоры, осколки, камни, всякий хлам – словом, вся темная материя значительно преобладает над светящейся. В эту первую ночь поток вещества разделился на гигантские газовые облака, протогалактики, и в них под действием силы притяжения образовались газовые шары, которые снова уплотнялись, вспыхивали. И вот примерно к утру вторника засияли звезды. Вы меня слушаете? Эти звезды были окружены вихрями материи, которые в свою очередь уплотнялись. Один из таких вихрей и был нашей Землей. Она была холодной, дети, такой холодной, что замерзали не только пары воды, но и азот, окислы углерода, аммиак, метан. Эти замерзшие газы кристаллизовались хлопьями вокруг частиц твердой материи, хлопья притягивались друг к другу, сначала медленно, потом все быстрее и быстрее. Вскоре они уже падали на растущую Землю со скоростью, достаточной, чтобы вызвать значительный нагрев. Космический снег таял и снова испарялся в пространство, оставляя после себя расплавленные скопления элементов, которых вообще-то во Вселенной совсем немного, менее одного процента. Итак, один день прошел, остается еще два. К полудню второго дня образовалась земная кора. Возможно, она была базальтовая, и ее сплошь покрывал первобытный океан. Потом в ней появились трещины, из которых извергался расплавленный гранит, образуя первые континенты. Тем временем раскаленное железо, которое было тяжелее лавы, опускалось к центру, где возникало расплавленное ядро. Кому-нибудь из вас случалось разрезать мячик для гольфа?

Он чувствовал, как внимание класса осыпается с него, словно окалина с медленно остывающего железа. Услышав про мячик, ученики несколько оживились, но не слишком. Рука с часами, передававшая записку, повисла в проходе; Дейфендорф перестал щекотать Бекки Дэвис; Кеджерайз оторвался от своей тетрадки; и даже Зиммерман поднял голову. То ли Колдуэллу померещилось, то ли этот старый бык действительно гладил молочно-белую руку Ирис Осгуд. Больше всего его раздражала идиотская улыбка на грязном лице Бекки Дэвис, похотливая, вкрадчивая; он посмотрел на нее так пристально, что она, как бы обороняясь, проговорила покрашенными губами:

– Он синий.

– Да, – сказал Колдуэлл медленно, – внутри мяча, под резиновой оболочкой, есть маленький мешочек с синей жидкостью.

Он потерял нить. Посмотрел на часы – оставалось двенадцать минут. Боль в животе не отпускала. Он старался не переносить тяжесть на больную ногу; рана, подсыхая, пронзала лодыжку колющей болью.

– Весь день, – продолжал он, – от полудня вторника до полудня среды, Земля остается бесплодной. На ней нет жизни. Только уродливые скалы, болота, вулканы, изрыгающие лаву, – все течет и оплывает, а иногда леденеет, потому что Солнце, как грязная испорченная лампа, то загорается, то гаснет на небе. Но вчера в полдень появились первые признаки жизни. Ничего примечательного – просто крошечные кусочки слизи. Вчера, от полудня до вечера, и почти всю ночь жизнь оставалась микроскопической.

Он повернулся и написал на доске:

Corycium enigmaticum

Leptothrix

Volvox

Едва он написал первую строчку, мел у него в руке превратился в большого теплого и скользкого головастика. Он отшвырнул его с отвращением, и класс засмеялся. Колдуэлл прочитал:

– Корициум энигматикум. Окаменелые останки этого простейшего морского организма найдены в горах Финляндии, их предполагаемый возраст – полтора миллиарда лет. «Энигматикум» означает «загадочный», и действительно, эта простейшая форма жизни остается для нас загадкой, но считается, что это были сине-зеленые водоросли, родственные тем, которые и поныне окрашивают огромные площади океана.

Бумажный самолетик взлетел в воздух и, вихляя, упал; ударившись об пол в среднем проходе, он распустился белым цветком и до самого конца урока плакал как ребенок. Бледная жидкость капала с его раненых лепестков, и Колдуэлл мысленно извинился перед уборщиками.

– Лептотрикс, – сказал он, – это микроскопический живой комок, название которого по-гречески означает «тонкий волос». Эта бактерия обладала способностью выделять из железных солей крупницы чистого железа и, хотя это может показаться невероятным, расплодилось в таком несметном количестве, что создала многие железорудные отложения, которые человечество теперь разрабатывает. Хребет Месаби в Миннесоте был изначально создан теми обитателями Америки, многие тысячи которых не составили бы и булавочной головки. Чтобы победить во второй мировой войне, мы добыли оттуда все военные суда, танки, джипы и паровозы, а потом бросили бедный хребет Месаби, как обглоданный шакалами труп. По-моему, это ужасно. Когда я был маленьким и жил в Пассейике, все говорили о хребте Месаби так, будто это прекрасная медноволосая женщина, отдыхающая у Великих озер.

Дейфендорф, которому мало было щекотать девчонку карандашом, положил ей руки на плечи и большими пальцами стал ласкать шею под подбородком. Лицо ее все сильнее сморщивалось от удовольствия.

– Вольвокс, – громко сказал Колдуэлл, захлебываясь в волнах глухого шума, – третий из ранних обитателей царства жизни, интересуется нас потому, что это он изобрел смерть. Нет внутренней причины, которая могла бы положить конец существованию плазмы. Амебы никогда не умирают. И мужские половые клетки, достигающие цели, кладут начало новой жизни, в которой отец продолжает существовать. Но вольвокс, этот подвижный, перекатывающийся шар водорослей, состоящий из вегетативных и репродуктивных клеток, нечто среднее между растением и животным – под микроскопом он кружится, как танцоры на рождественском балу, – впервые осуществив идею сотрудничества, ввел жизнь в царство неизбежной – в отличие от случайной – смерти. Потому что – потерпите, дети, страдать осталось всего семь минут – хотя потенциально каждая клетка в отдельности бессмертна, но, добровольно приняв на себя дифференцированную функцию внутри организованного содружества клеток, она попадает в неблагоприятную среду. В конце концов она изнашивается и гибнет. Она жертвует собой ради блага всего организма. Эти клетки, которым наскучило вечно сидеть в сине-зеленой пене и они сказали: «Объединимся и образуем вольвокс», были первыми альтруистами. Они первыми проявили самоотречение. Будь у меня на голове шляпа, я снял бы ее перед ними.

Он сделал вид, будто снимает шляпу, и весь класс заверещал. Марк Янгерман вскочил, и от его пылающих прыщей занялась стена; краска задымилась, медленно вздуваясь пузырями сбоку над доской. Кулаки, пальцы, локти в пестрой сумятице замелькали над блестящими, изрезанными крышками парт; среди бешеной свалки неподвижными остались лишь Зиммерман и Ирис Осгуд. Зиммерман, улучив минуту, скользнул через проход и подсел к девушке. Он обнял ее за плечи и сиял, исполненный гордости. Ирис не шевелилась в его объятиях, безвольная, потупившая глаза, только матовые ее щеки слегка порозовели.

Колдуэлл посмотрел на часы. Оставалось пять минут, а главное было еще впереди.

– Сегодня около половины четвертого утра, – сказал он, – когда вы еще спали в своих постелях, появились в развитой форме все биологические типы, кроме хордовых. Как свидетельствуют окаменелости, это заняло вот сколько. – И он щелкнул пальцами. – До рассвета важнейшим животным в мире, которое заполнило дно всего океана, был уродец, называемый трилобитом.

Должно быть, мальчик, сидевший у окна, тайком пронес в класс бумажный пакет, и теперь, как только сосед подтолкнул его локтем, он вывалил на пол содержимое – клубок живых трилобитов. Почти все они были не больше одного-двух дюймов в длину, но некоторые доходили до фута. Они были похожи на огромных мокриц, только красноватых. У самых крупных на красных головных щитках были наросты, похожие на резиновые маскарадные шляпы. Рассыпавшись меж гнутых железных ножек парт, они своими безмозглыми головами ударяли девочек по ногам, и те с визгом задирали ноги так высоко, что видны были белые ляжки и серые штанишки. В страхе некоторые трилобиты свернулись в членистые клубки. Забавляясь, мальчики начали бросать в этих первобытных членистоногих тяжелыми учебниками; одна девочка, похожая на большого малинового попугая в грязном оперении, нырнула под парту и схватила маленького трилобита. Его тонкие раздвоенные лапки отчаянно дергались. Она с хрустом раскусила его накрашенным клювом и принялась мерно жевать.

Колдуэлл видел, что дело зашло слишком далеко, надо прорываться сквозь этот ад до звонка.

– Сегодня к семи часам утра, – сказал он, и ему показалось, что какие-то расплывающиеся пятнами лица все-таки слушают его, – в океане появились первые рыбы. Земная кора поднялась. Океан в ордовикский период отступил. – Фэтс Фраймойер пригнулся и столкнул маленького Билли Шуппа с парты; мальчик, хилый диабетик, с грохотом упал на пол. Когда он попытался встать, чья-то рука легла ему на голову и снова швырнула его на пол. – В



половине восьмого на суше появились первые растения. Из болот вылезли двоякодышащие рыбы, которые научились ползать по илу. К восьми часам уже существовали земноводные. На Земле было тепло. Антарктиду покрывали болота. Пышные заросли гигантских папоротников возникали и гибли, откладывая угольные пласты нашего штата, которые дали название геологической системе. Так что, когда вы говорите «пенсильванский», это может относиться не только к какому-нибудь тупоголовому немцу, но и к отделу палеозойской эры.

Бетти Джейн Шиллинг жевала резинку, выдувая пузыри. И вот – чудо из чудес – огромный пузырь, величиной с шарик для пинг-понга, вздулся у нее на губах. Изнемогая, она косила на него глаза, вылезавшие из орбит от усердия. Но чудесный пузырь лопнул, окропив ей подбородок розовой пеной.

– Появились и размножились насекомые. У стрекоз некоторых видов крылья были длиной до тридцати дюймов. На Земле опять стало холодно. Часть земноводных вернулась в море; другие научились откладывать яйца на суше. От них произошли рептилии, которые в течение двух часов, с девяти до одиннадцати, когда на Земле снова потеплело, господствовали в мире. Пятидесятифутовые плезиозавры пенили моря, птерозавры порхали в воздухе, трепыхаясь, как сломанные зонтики. Безмозглые гиганты сотрясали сушу. – По условному сигналу все мальчики в классе начали гудеть. Рты были сжаты; глаза невинно бегали по сторонам; но весь класс наполнял наглый ликующий гул. Колдуэллу оставалось только плыть по течению. – Туша бронтозавра весила тридцать тонн, а мозг – всего две унции. У анатозавра было две тысячи зубов, у трицератопса – рогатый костяной шлем длиной в семь футов. Королевского тиранозавра, у которого были крошечные передние лапы и зубы, как шестидюймовые клинки, выбрали президентом. Он ел все – падаль, живых тварей, истлевшие кости...

Прозвенел первый звонок. Дежурные бросились вон из класса, один из них наступил на анемон в проходе, и цветок жалобно пискнул. Двое мальчишек столкнулись в дверях и принялись колотить друг друга карандашами. Зубы у них скрипели; из носов текло. Зиммерман ухитрился расстегнуть на Ирис Осгуд блузку и лифчик, ее пышные груди круглились над партой двумя недвижимыми лакомыми спаренными лунами.

– Осталось две минуты! – крикнул Колдуэлл. Его голос становился все визгливей, как будто в голове у него вертелся шкив. – Сидеть на местах! Вымерших млекопитающих и ледниковый период мы рассмотрим на следующем уроке. Короче говоря, час назад, вслед за цветковыми растениями и травами, наши верные друзья млекопитающие овладели Землей, и минуту назад, минуту назад...

Дейфендорф выволок Бекки Дэвис в проход, и она, хихикая, вырывалась из его длинных волосатых рук.

– ...минуту назад, – повторил Колдуэлл в третий раз, и тут в лицо ему полетела пригоршня шариковых подшипников. Он заморгал, прикрылся правой рукой и поблагодарил бога, что шарики не попали в глаза. Запасных глаз не вставишь. Живот сводило болью, которая мгновенно отдавалась в ноге.

– ...из глупой обезьяны, у которой в силу особых условий жизни появилось бинокулярное зрение, противопоставленные большие пальцы на руках и высокоразвитый мозг, из глупой обезьяны, останки которой потом нашли на Яве...

Скомканная юбка девушки была задрана. Бекки изогнулась, прижатая лицом к парте, а Дейфендорф неистово бил копытами в узком проходе. По лицу его блуждала шалаая, вкрадчивая улыбочка: видно, он взял свое. В классе запахло конюшней. Колдуэлл рассвирепел. Он схватил со стола блестящую стрелу, сорвался с места под раздражающее хлопанье закрываемых учебников и раз, два – хлестнул, хлестнул этого вонючего скота по

голой спине. Это ты мне решетку сломал. Два белых рубца вздулись у Дейфендорфа на плечах. Колдуэлл помертвел, глядя, как эти белые полосы медленно заалели. Будут шрамы. Парочка распалась, как сломанный цветок. Дейфендорф поднял на учителя маленькие карие глаза, полные слез; девушка с нарочитым равнодушием поправляла волосы. Колдуэлл видел, как Зиммерман что-то лихорадочно чиркает на своем листке.

Учитель, подавленный, вернулся к доске. Господи, он не хотел ударить мальчишку так сильно. Он положил стальной прут в желобок для мела. Снова повернулся к классу, зажмурил глаза, и боль сразу распустила свои влажные крылья в багровой тьме. Он открыл рот; всем своим существом он ненавидел то, что ему предстояло сказать:

– Минуту назад, с отточенным кремнем, с тлеющим трупом, с предвидением смерти появилось новое животное с трагической судьбой, животное... Зазвенел звонок, по коридорам огромного здания прокатился грохот; дурнота захлестнула Колдуэлла, но он совладал с собой, потому что поклялся кончить:

– ...имя которому человек.

2

Мои родители о чем-то разговаривали. Теперь я часто просыпаюсь в тишине, рядом с тобой, и весь дрожу от страха, потому что меня душат кошмары, оставляя во мне горькую накипь неверия (вчера мне приснилось, будто Гитлера, седого полоумного старика с высунутым языком, поймали в Аргентине). Но в то время меня всегда будили голоса родителей, звучавшие, даже когда в доме был мир, возбужденно и приподнято. Мне снилось дерево, и эти голоса снова превратили меня из стройного ствола в мальчика, лежащего в постели. Тогда, в сорок седьмом году, мне было пятнадцать лет. В то утро разговор у них шел о чем-то необычном; я не мог понять, о чем именно, но испытывал такое чувство, как будто во сне я проглотил что-то живое, и теперь оно шевельнулось во мне тревожным комком страха.

– Ничего, Хэсси, ты не огорчайся, – говорил отец. Его голос звучал робко, и он, наверное, повернулся к маме спиной. – Мне и то повезло, что я столько прожил.

– Джордж, если ты просто пугаешь меня, это не остроумно, – сказала мама. Она так часто выражала мои мысли, что, бывало, когда я о чем-нибудь думал, ее голос звучал у меня в ушах; и сейчас, став старше, я иной раз говорю, а чаще восклицаю, что-нибудь ее голосом.

Кажется, теперь я понял, о чем у них речь – отец думает, что он болен.

– Хэсси, – сказал он, – ты не бойся. Не надо бояться. Я не боюсь.

Он твердил это, и голос его падал.

– Нет, ты боишься, – сказала она. – Теперь я знаю, почему ты ночью то и дело вставал с постели.

Ее голос тоже упал.

– Я чувствую эту дрянь, – сказал он. – Она как ядовитый комок. Не могу его вытолкнуть.

Такая подробность, должно быть, показалась ей не правдоподобной.

– Этого нельзя чувствовать, – сказала она неожиданно тихо, как маленькая девочка, получившая нагоняй.

А он повысил голос:

– Будто ядовитая змея свернулась у меня в кишках. Бр-р-р!

Лежа в постели, я представил себе, как отец издает этот звук – голова трясется, так что щеки дрожат, губы вибрируют, сливаясь в дрожащее пятно. До того живо представил, что даже улыбнулся. Они словно почувствовали, что я не сплю, и заговорили о другом; голоса стали ровнее. Бледный, трогательный, крошечный, как снежинка, клочок их совместной жизни, который на миг приоткрылся мне, все еще чувствовавшему себя наполовину деревом, снова исчез под привычной оболочкой нелепых пререканий. Я повернул голову и, стряхнув сон, посмотрел в окно. Морозные узоры стлались низом по краям верхних стекол. Утреннее солнце расцветило красноватыми бликами стерню большого поля за немощеной дорогой. Дорога была розовая. Обнаженные деревья с солнечной стороны отсвечивали белым; ветви их отливали удивительным красноватым тоном. Все кругом сковал мороз; сдвоенные нити телефонных проводов словно вмерзли в льдистую синеву неба. Был январь. Понедельник. Я начал понимать. В начале каждой недели отцу приходилось собираться с духом перед возвращением в школу. А за рождественские каникулы он совсем развинулся и теперь яростно закручивал гайки. «Большой перегон» – так он называл время от рождества до пасхи. К тому же на прошлой неделе, первой неделе нового года, произошел случай, который его напугал. Он ударил ученика в присутствии Зиммермана; больше он нам ничего не рассказал.

– Не разыгрывай трагедию, Джордж, – сказала мама. – Объясни толком, что с тобой?

– Я знаю, где оно сидит. – Казалось, он не просто говорит с мамой, а играет на сцене, как будто передним невидимая публика. – А все из-за этих проклятых детей. Мерзавцы меня ненавидят, их ненависть, как паук, засела у меня в кишках.

– Это не ненависть, Джордж, – сказала она. – Это любовь.

– Ненависть, Хэсси. Я ее каждый день на себе испытываю.

– Нет, любовь, – настаивала она. – Они хотят любить друг друга, ты им мешаешь. Тебя нельзя ненавидеть. Ты идеальный человек.

– Они меня ненавидят всеми печенками. Рады в гроб вогнать, и вгоняют. Р-раз – и готово. Моя песенка спета. Кому нужна старая развалина?

– Джордж, если ты это всерьез, – сказала мама, – тогда надо скорей посоветоваться с доком Апплтоном.

Когда отцу удавалось добиться сочувствия, он начинал упрямиться и капризничать.

– Не пойду я к этому проходимцу. Он, чего доброго, мне правду скажет.

Мама, должно быть, отвернулась, и в разговор вмешался дед.

– Бог правду лю-у-бит, – сказал он. – А ложью только дьявол тешится.

Его голос по сравнению с голосами родителей был внушительным, но слабым, словно великан вещал откуда-то издалека.

– Нет, Папаша, не только дьявол, – сказал отец. – Я тоже. Я только и делаю, что лгу. За это

мне деньги платят.

На кухне по голым доскам кухонного пола застучали шаги. Это мама прошла внизу к лестнице, наискось от того угла дома, где стояла моя кровать.

– Питер! – крикнула она. – Ты встаешь?

Я закрыл глаза и погрузился в уютную теплынь. Согретые одеяла, как мягкие цепи, приковывали меня к кровати; рот наполнял сладостный, густой нектар, от которого снова клонило в сон. Лимонно-желтые обои с маленькими темными кружочками, похожими на злые кошачьи морды, красным негативом отпечатались у меня в зажмуренных глазах. И снова вернулся тот же сон. Мы с Пенни стояли под деревом. Ворот ее блузки был расстегнут, расстегнуты перламутровые пуговицы, как тогда, еще до рождественских каникул, когда мы сидели в темном «бьюике» возле школы и у наших ног жужжала электрическая печька. Но теперь мы в лесу, меж стройных деревьев, среди бела дня. В воздухе, недвижно, как колибри, висит сойка с яркими цветными перышками, только крылья сложены и не шевелятся, а глаз, похожий на черную бусину, настороженно блестит. А когда она полетела, то показалась мне птичьим чучелом, которое кто-то потянул за веревочку; но, конечно, она была живая.

– Питер, пора встава-а-ать!

Она касалась рукой моего колена, а я гладил ее руку. Гладил долго, и терпение мое иссякало. Шелковый рукав закинулся, обнажив кожу с голубыми прожилками. Казалось, весь наш класс собрался там, в лесу, и все глядели на нас, но лиц различить было нельзя. Она наклонилась вперед, моя Пенни, моя маленькая, глупая, испуганная Пенни. Любовь нахлынула на меня, сладкая, густая. Чудесный мед скопился в паху. Ее зеленые, искристые глаза стали совсем круглыми от страха; дрожащая нижняя губа, оттопырившись, влажно поблескивала; я чувствовал то же, что месяц назад в темном автомобиле. Моя рука очутилась на ее теплых, плотно сжатых коленях; казалось, она не сразу это почувствовала, потому что только через минуту тихо сказала: «Не надо», а когда я убрал руку, посмотрела на меня так же, как тогда. Но в тот раз мы были в темноте, а теперь нас заливал свет. Ясно были видны все поры у нее на носу. Она была странно неподвижна; с ней творилось что-то неладное.

– Хэсси, скажи мальчику, что уже семнадцать минут восьмого. А мне еще нужно проверить кучу контрольных работ, я должен быть в школе не позже восьми. Иначе Зиммерман с меня голову снимет.

Да, вот оно: во сне это даже не казалось странным. Она превратилась в дерево. Я прижался лицом к стволу, зная, что это она. Последнее, что я увидел во сне, была кора дерева – корявая, с черными трещинами, и в них крошечные зеленые точки лишайника. Она. Господи, это она, помоги мне. Верни мне ее.

– Питер! Ты что, издеваешься над отцом?

– Да я же встаю, понимаешь – встаю!

– Так вставай. Живо. Я не шучу, молодой человек. Ну!

Я потянулся, и мое тело коснулось холодных краев кровати. Сладкий сок, наполнявший тело, отхлынул. Самое трогательное в этом сне было то, что она знала о происходящем, чувствовала, как ее пальцы превращаются в листья, и хотела сказать мне (глаза у нее были такие круглые), но не сказала, пощадила меня, превратилась в дерево без единого слова. Едва ли я сознавал, что Пенни способна на это, и только во сне мне открылась самоотверженность ее любви: хотя она так юна, хотя мы так недавно коснулись друг друга, хотя я ничего ей не дал, все же она готова на самопожертвование. И я радовался всем существом, сам не зная чему. Слово мазок яркой краски был брошен на полотно моей

жизни.

– Вставай, солнышко, вставай, радость моя!

Мамин голос снова стал ласковым. Блестящий серый подоконник был, конечно, холодный как лед – я знал это, как будто уже коснулся его. Солнце поднялось чуть выше. Дорога расстелилась сверкающей розовой, как семга, лентой; а лужайка перед нашим домом была похожа на кусок старой наждачной бумаги, которым счищали зеленую краску. В ту зиму снег еще не выпадал. Я подумал – может, зима так и будет бесснежная? Интересно, бывало ли это когда-нибудь?

– Питер!

Теперь в мамином голосе звучало нешуточное раздражение, и я кубарем скатился с кровати. Оберегая свою кожу от прикосновения ко всему твердому, я кончиками пальцев вытаскивал ящики тумбочки за стеклянные шишки, похожие на граненые кристаллы замерзшего аммиака, и стал одеваться. Мы жили в обычном фермерском доме, только чуть более благоустроенном. Верхний этаж не отапливался. Я стянул пижаму и постоял немного, чувствуя себя мучеником; это был как бы горький упрек в том, что мы переехали в такую дыру. А все из-за мамы. Она любила природу. Я стоял голый, как будто хотел выставить ее глупость напоказ перед всем миром.

Если бы мир смотрел на меня, он подивился бы, почему живот у меня словно исклеван большой птицей, весь в красных кружках величиной с мелкую монету. Псориаз. Само название этой аллергии, какое-то чуждое, нелепое, язык сломаешь, делало ее еще унижительней. «Унижение», «аллергия» – я никогда не знал, как это назвать, ведь это была даже не болезнь, а часть меня самого. Из-за нее мне почти все было вредно: шоколад, жареная картошка, крахмал, сахар, сало, нервное возбуждение, сухость, темнота, высокое давление, духота, холод – честное слово, сама жизнь была аллергенной. Мама, от которой я это унаследовал, иногда называла это «недостатком». Меня корбило. В конце концов виновата она, ведь только женщины передают это детям. Будь моей матерью отец, чье крупное оплывающее тело сияло безупречной белизной, моя кожа была бы чиста. Недостаток означает потерю чего-то, а тут мне навязали что-то лишнее, ненужное. В то время у меня было на редкость наивное понятие о страдании: я верил, что оно необходимо человеку. Все вокруг страдали, а я нет, и в этом исключении мне чудилось что-то зловещее. Я никогда не ломал костей, был способным, родители души во мне не чаяли. Вот я и возомнил себя счастливецем, а это казалось опасным. Поэтому я решил, что мой псориаз – это проклятье. Чтобы сделать меня мужчиной, бог благословил меня периодическим проклятьем по своему календарю. Летнее солнце растапливало струпья; к сентябрю грудь и ноги у меня были чисты, не считая едва видных зернышек, бледных, почти незаметных, которые под холодным, суровым дыханием осени и зимы снова давали всходы. К весне они бывали в пышном цветении, но солнце, пригревая, уже сулило избавление. А в январе надеяться было не на что. Локти и колени, где кожа больше всего раздражалась, покрывались коростой; на лодыжках, где носки, обтягивая ноги, тоже вызывали раздражение, остервеневшая сыпь сбилась в плотную розовую корку. Руки были в пятнах, и я не мог щегольски закатывать рукава рубашки, как другие мальчики. Но одетый я выглядел вполне нормальным. На лице, бог миловал, не было ничего, только краснота у самых корней волос, которую я прикрывал челкой. На кистях рук – тоже, кроме нескольких незаметных точек на ногтях. А вот у мамы ногти на некоторых пальцах были сплошь усеяны желтой сыпью.

Меня всего обжигало холодом; скромный признак моего пола съезжился в тугую гроздь. Все, что было во мне от здорового зверя, прибавляло мне уверенности; мне нравились появившиеся наконец волосы. Темно-рыжие, упругие, как пружинки, слишком редкие, чтобы образовать кустик, они курчавились в лимонно-желтом холоде. Пока их не было, меня грызла досада: я чувствовал себя беззащитным в раздевалке, когда, спеша скрыть свою сыпь,

видел, что мои одноклассники уже надели мохнатые доспехи.

Руки у меня покрылись гусиной кожей; я крепко растер их, а потом любовно, как скупец, перебирающий свои богатства, провел ладонями по животу. Потому что самая сокровенная моя тайна, последняя глубина моего стыда была в том, что чувствовать на ощупь приметы псориаза – нежные выпуклые островки, разделенные гладкими серебристыми промежутками, шершавые созвездия, разбросанные по моему телу в живом ритме движения и покоя, – в душе было приятно. Понять и простить меня может лишь тот, кто сам испытал это удовольствие – поддеть ногтем целый пласт и отковырнуть его.

На меня смотрели только темные кружочки с обоев. Я подошел к шкафу и отыскал пару трусов, в которых резинка еще подавала признаки жизни. Фуфайку я надел задом наперед.

– Вы еще меня переживете, Папаша, – раздался внизу громкий голос отца. – У меня в животе смерть сидит.

От этих слов внутри меня зашевелилось что-то противное и скользкое.

– Питер не спит, Джордж, – сказала мама. – Ты бы прекратил этот спектакль.

Ее голос прозвучал уже далеко от лестницы.

– А? Ты думаешь, мальчик расстроится?

Отцу под самое рождество исполнилось пятьдесят, а он всегда говорил, что не доживет до пятидесяти. И теперь, взяв этот барьер, он дал волю языку, словно считал, что, раз уж в цифровом выражении он мертв, ему можно говорить что угодно. Иногда эта жуткая воля, которую он давал языку, не на шутку меня пугала.

Я стоял перед шкафом в нерешимости. Как будто знал, что мне теперь не скоро придется переодеться. Как будто потому медлил, что уже ощущал тяжесть предстоящего испытания. Из-за этой медлительности в носу у меня свербило, хотелось чихать. Внизу живота сладко ныло. Я снял с вешалки серые фланелевые брюки, хотя они были плохо отутюжены. Брюк у меня было три пары: коричневые отданы в чистку, а синие я стеснялся носить из-за светлого пятна внизу, у клапана. Я не мог понять, откуда оно взялось, и проглатывал незаслуженную обиду, когда эти брюки возвращались из чистки с оскорбительным печатным ярлыком: «За невыводимые пятна мастерская не отвечает».

Рубашку я выбрал красную. Вообще-то я ее носил редко, потому что на ярко-красных плечах были особенно заметны белые хлопья, сыпавшиеся у меня из головы, как перхоть. И мне хотелось сказать всем, что это не перхоть, как будто это могло меня оправдать. Но ничего, надо только помнить, что нельзя чесать голову, и благородный порыв взял верх. В этот суровый день я принесу своим товарищам алый дар, огромную искру, украшенную двумя карманами, эмблему тепла. Шерстяные рукава благодарно скользнули по моим рукам. Рубашка стоила восемь долларов, и мама не понимала, почему я ее не ношу. Она редко вспоминала про мой «недостаток», но уж если вспоминала, то не скрывала беспокойства, как будто это касалось ее самой. А у нее-то, кроме следов на ногтях и на голове, можно сказать, ничего и не было, не то что у меня. Но я не завидовал: ей и без того приходилось несладко.

Отец говорил:

– Нет, Хэсси, Папаша непременно переживет меня, непременно. Он всегда жил как праведник. Папаша Крамер заслужил бессмертие.

Я не стал прислушиваться, и так знал: она это примет как упрек, что ее отец зажился и сидит столько лет у него на шее. Она думала, что мой отец нарочно старался свести старика в

могилу. Так ли это? Хотя многое подтверждало ее правоту, я никогда этому не верил. Слишком уж все выходило просто и страшно.

По шуму внизу, у раковины, я понял, что она промолчала и отвернулась. Я живо представил ее себе – шея от негодования пошла красными пятнами, ноздри побелели, щеки дрожат. Волны чувств, бушевавшие подо мной, словно подбрасывали меня. Когда я присел на край кровати и стал надевать носки, старый деревянный пол вздымался у меня под ногами.

Дедушка сказал:

– Нам не дано знать, когда бог призовет нас к себе. Здесь, на земле, ни один человек не знает, кто нужен на небе.

– Ну, я-то наверняка знаю, что я там не нужен, – сказал отец. – Очень интересно богу смотреть на мою уродливую рожу.

– Он знает, как ты нужен нам, Джордж.

– И вовсе я вам не нужен, Хэсси. Для вас было бы лучше, если б меня вышвырнули на свалку. Мой отец умер в сорок девять лет, и это было самое лучшее, что он мог для нас сделать.

– Твой отец отчаялся, – сказала мама. – А тебе из-за чего отчаиваться? У тебя замечательный сын, прекрасная ферма, любящая жена...

– Когда мой старик отдал богу душу, – продолжал отец, – мать наконец вздохнула свободно. Это были самые счастливые годы в ее жизни. Знаете, Папаша, она была необыкновенная женщина.

– Какая жалость, что мужчинам нельзя жениться на своих матерях, сказала мама.

– Ты не так меня поняла, Хэсси. Мать превратила жизнь отца в ад на земле. Она его поедом ела.

Один носок был рваный, и я заправил его поглубже в ботинок. Был понедельник, и у меня в ящике остались только разрозненные носки да толстая пара из английской шерсти, которую тетя Альма прислала мне к рождеству из Трои, штат Нью-Йорк. Она там работала в универмаге, в отделе детской одежды. Я понимал, что носки дорогие, но они были ужасно толстые, и, когда я их надел, мне показалось, что ногти у меня на ногах врезаются в мясо, и я не стал их носить. Ботинки я всегда покупал тесные, размер 10, 5 вместо 11, который был бы впору. Мне не нравились большие ноги; я хотел, чтобы у меня были легкие и изящные копытца плясуна.

Пританцовывая, я вышел из своей комнаты и прошел через спальню родителей. Белье у них на постели было сбито в кучу, открывая матрас с двумя вмятинами. На покоробившемся комодике валялась целая груда пластмассовых гребешков всех цветов и размеров, которые отец принес из школьного стола находок. Он всегда тащил домой всякий хлам, словно пародировал свою роль кормильца семьи.

Лестница, зажата между оштукатуренной наружной стеной и тонкой деревянной перегородкой, была узкая и крутая. Нижние ступени спускались тонкими, шаткими клиньями; там должны бы быть перила. Отец всегда говорил, что подслеповатый дедушка когда-нибудь упадет с этой лестницы, и все время клялся поставить перила. Он даже купил как-то перила за доллар в Олтоне на складе утиля. Но они, позабытые, валялись в сарае. Такова была судьба всех отцовских планов, связанных с фермой. Virtuозно отбивая чечетку, как Фред Астер, я спустился вниз, мимоходом поглаживая штукатурку справа от себя. Гладкая стена

была чуть выпуклой, словно бок огромного смиренного животного, и холод пробирался сквозь нее со двора. Стены дома были сложены из толстых плит песчаника какими-то сказочными силачами каменщиками лет сто назад.

– Закрывай дверь на лестницу! – сказала мама.

Мы берегли тепло в нижнем этаже.

Как сейчас все это вижу. Нижний этаж состоял из двух длинных комнат, кухни и столовой. Обе двери были рядом. Пол в кухне был из широких старых сосновых досок, недавно наново оструганных и навощенных. В полу возле лестницы – отдушина отопления, и мне на ноги пахло теплом. Олтонская газета «Сан», валявшаяся на полу, все время трепыхалась под током теплого воздуха, словно просила, чтобы ее прочли. У нас в доме было полным-полно газет и журналов; они загромождали подоконники и валились с дивана. Отец приносил их домой кипами; бойскауты собирали их вместе со всякой макулатурой, но они, как видно, никогда не попадали по назначению. Вместо этого они валялись у нас, дожидаясь, пока их прочтут, и в те вечера, когда отец сидел дома, не зная, куда деваться, он с тоски перепахивал всю кучу. Читал он поразительно быстро и уверял, что никогда ничего не понимает и не помнит.

– Жаль было тебя будить, Питер, – сказал он мне. – Мальчику в твоём возрасте важнее всего выспаться.

Мне его не было видно: он сидел в столовой. Через первую дверь я мельком заметил, что в камине горят три вишневого полена, хотя новый котел в подвале хорошо топился. На кухне, в узком простенке между двумя дверями, висел мой рисунок, изображавший задний двор нашего дома в Олинджере. Мамино плечо заслоняло его. Здесь, на ферме, она стала носить толстый мужской свитер, хотя в молодости, да и потом, в Олинджере, когда была стройнее и моложе, такой, какой я впервые ее узнал и запомнил, она, как говорили у нас в округе, «модничала». Она поставила возле моей тарелки стакан апельсинового сока, и звяканье стекла прозвучало молчаливым упреком. Она стояла в узком промежутке между столом и стеной, не давая мне пройти. Я топнул ногой. Она посторонилась. Я прошел мимо нее и мимо второй двери, через которую увидел деда, привалившегося к спинке дивана подле кипы журналов, – он склонил голову на грудь, будто спал или молился. Его морщинистые руки с чуткими пальцами были красиво сложены на животе поверх мягкого серого свитера. Я прошел мимо высокого камина, где двое часов показывали 7:30 и 7:23. Те, которые ушли вперед, были электрические, из красной пластмассы, отец купил их со скидкой. А другие были темные, резного дерева, они заводились ключом и достались нам в наследство от прадеда, который умер задолго до моего рождения. Старинные часы стояли на камине; электрические висели ниже на гвозде. Пройдя мимо белой глыбы нового холодильника, я вышел во двор. За первой дверью была вторая, которую закрывали в непогоду, а между ними – широкий каменный порог. Притворяя за собой первую дверь, я услышал, как отец сказал:

– Ей-богу, Папаша, в детстве мне ни разу не удалось выспаться. Оттого я теперь и мучаюсь.

У цементного крылечка стоял насос. Хотя электричество у нас было, воду в дом еще не провели. Земля вокруг насоса, летом никогда не просыхавшая, теперь замерзла; под наледью, покрывавшей траву, была пустота, и лед с треском ломался у меня под ногами. Иней, словно застывший туман, кругами выбелил высокую траву по склону холма, на котором был разбит сад. Я зашел за куст у самого дома. Мама часто сетовала на вонь – деревня была для нее воплощением чистоты, но я не принимал это всерьез. По моему разумению, вся земля состояла из гнили и отбросов.

У меня возникло нелепое видение – будто моя струйка замерзла на лету и повисла. В действительности она обрызгала прелые листья под спутанными нижними юбками



оголенного куста, и от них шел пар. Леди вылезла из своей конуры, разбрасывая солому, просунула черный нос сквозь проволочную загородку и глядела на меня.

– Доброе утро, – вежливо поздоровался я с ней. Она высоко подпрыгнула, когда я подошел к загородке, и я, просунув руку сквозь холодную проволоку, погладил ее, а она вся извивалась и норовила подпрыгнуть снова. Ее шкура была пушистая от мороза, кое-где к ней пристали клочья соломы. Шея взъерошилась, а голова была гладкая, как воск. Под шкурой прощупывались теплые, упругие мышцы и кости. Она так рьяно вертела мордой, ловя каждое мое прикосновение, что я боялся, как бы не попасть ей пальцами в глаза, они казались такими беззащитными – две темные студенистые капли.

– Ну, как дела? – спросил я. – Хорошо ли спала? Видела во сне кроликов? Слышишь – кроликов!

Было так приятно, когда, заслышав мой голос, она стала вертеться, юлить, вилять хвостом и визжать.

Пока я сидел на корточках, холод заполз под рубашку и пробежал по спине. Когда я встал, проволочные квадраты в тех местах, где я прикасался к ним, были черные, мое тепло растопило морозную патину. Леди взвилась вверх, как отпущенная пружина. Опустившись на землю, она угодила лапой в свою миску, и я думал, что вода прольется. Но в миске был лед. На миг, пока я не сообразил, в чем дело, мне показалось, будто я вижу чудо.

Недвижный, безветренный воздух теперь обжигал меня, и я заторопился. Моя зубная щетка смерзлась и словно приросла к алюминиевой полочке, которая была привинчена к столбу у крыльца. Я оторвал щетку. Потом четыре раза качнул насос, но воды не было. На пятый раз вода, поднявшись из глуби скованной морозом земли и клубясь паром, потекла по бороздкам бурого ледника, выросшего в желобе. Ржавая струя смыла со щетки твердую одежду, но все равно, когда я сунул ее в рот, она была как безвкусный прямоугольный леденец на палочке. Коренные зубы заныли под пломбами. Паста, оставшаяся в щетине, растаяла, и во рту разлился мятный привкус. Леди смотрела на эту сцену с бурным восторгом, извиваясь и дрожа всем телом, и, когда я сплевывал, она лаяла, как будто аплодировала, выпуская клубы пара. Я положил щетку на место, поклонился и с удовольствием услышал, что аплодисменты не смолкли, когда я скрылся за двойным занавесом наших дверей.

На часах теперь было 7:35 и 7:28. По кухне, меж стенами медового цвета, гуляли волны тепла, и от этого я двигался лениво, хотя часы подгоняли меня.

– Что это собака лает? – спросила мама.

– Замерзла до смерти, вот и лает, – сказал я. – На дворе холодина. Почему вы ее в дом не пускаете?

– Нет ничего вреднее для собаки, Питер, – сказал отец из-за стены. Привыкнет быть в тепле, а потом схватит воспаление легких и сдохнет, как та, что была у нас до нее. Нельзя отрывать животное от природы. Послушай, Хэсси, который час?

– На каких часах?

– На моих.

– Чуть побольше половины восьмого. А на других еще и половины нет.

– Нам пора, сынок. Надо ехать.

Мама сказала мне:

– Ешь, Питер. – И ему:

– Эти часы, которые ты купил по дешевке, Джордж, все время спешат. А по дедушкиным часам у вас еще пять минут в запасе.

– Неважно, что по дешевке. В магазине, Хэсси, такие часы стоят тринадцать долларов. Фирма «Дженерал электрик». Когда на них без двадцати, значит, я опоздал. Живо пей кофе, мальчик. Время не ждет.

– Хоть у тебя и паук в животе, но ты удивительно бодр, – заметила она. И повернулась ко мне:

– Питер, ты слышал, что сказал папа?

Я любовался узкой лиловой тенью под орешником на своем рисунке, изображавшем наш старый двор. Этот орешник я любил: во времена моего детства там на суку висели качели, а на рисунке сук вышел едва заметным и почти черным. Глядя на тонкую черную полосу, я снова пережил мазок кисти и то мгновение своей жизни, которое мне поразительным образом удалось остановить. Вероятно, именно эта возможность остановить, удержать улетающие мгновения и привлекла меня еще пятилетним малышом к живописи. Ведь как раз в этом возрасте мы впервые осознаем, что все живое, пока оно живо, неизбежно меняется, движется, отдаляется, ускользает и, как солнечные блики на мощенной кирпичом дорожке возле зеленой беседки в ветреный июньский день, трепещет, непрерывно преобразуется.

– Питер!

По маминому голосу ясно было, что терпение ее лопнуло.

Я в два глотка выпил апельсиновый сок и сказал, чтобы разжалобить ее:

– Бедная собака и напиться не может, лижет лед в миске.

Дедушка пошевелился за перегородкой и сказал:

– Помню, как говорил Джейк Бим, тот, что был начальником станции Берта Фэрнес, теперь-то там пассажирские поезда не останавливаются. Время и Олтонская железная дорога, говаривал он важным таким голосом, никого не ждут.

– Скажите, Папаша, – спросил отец, – вам никогда не приходило в голову: а кто-нибудь ждет время?

Дед ничего не ответил на этот нелепый вопрос, а мама, неся кастрюльку с кипятком мне для кофе, поспешила к нему на выручку.

– Джордж, – сказала она, – чем доносить всех своими глупостями, шел бы ты лучше машину заводить.

– А? – сказал он. – Неужели я обидел Папашу? Папаша, я не хотел вас обидеть. Я просто сказал, что думал. Вся жизнь слышу – время не ждет, и не могу понять смысла. С какой стати оно должно кого-то ждать? Спросите любого, ни один дьявол вам не объяснит толком. Но и по совести никто не признается. Не скажет честно, что не знает.

– Да ведь это значит... – начала мама и замолчала, растерянная, видимо почувствовав то же, что и я: неугомное любопытство отца лишило присловье его простого смысла. – Это значит, что нельзя достичь невозможного.

– Нет, погоди, – сказал отец, все так же возбужденно, по своему обыкновению цепляясь за

каждое слово. – Я сын священника, меня учили верить, и я по сю пору верю, что бог создал человека как венец творения. А если так, что это еще за время такое, почему оно превыше нас?

Мама вернулась на кухню и, наклонившись, налила кипятку мне в чашку. Я хихикнул с заговорщическим видом: мы часто втихомолку посмеивались над отцом. Но она на меня не смотрела и, держа кастрюлю пестрой рукавичкой, аккуратно налила кипятков в чашку, не пролив ни капли. Коричневый порошок растворимого кофе Максвелла всплыл крошечным островком на поверхность кипятка, а потом растаял, и вода потемнела. Мама помешала в чашке ложечкой, взвихрив спиралью коричневатую пену.

– Ешь кукурузные хлопья, Питер.

– Не буду, – сказал я. – Неохота. И живот болит.

Я мстил ей за то, что она не захотела вместе со мной посмеяться над отцом. Мне стало досадно, что мой отец, этот нелепый и печальный человек, которого я давно считал лишним в наших с ней отношениях, в то утро завладел ее мыслями.

А он тем временем говорил:

– Ей-богу, Папаша, я не хотел вас обидеть. Просто эти дурацкие выражения меня до того раздражают, что я, как услышу их, взвиваюсь до потолка. Звучит черт знает до чего самоуверенно, просто злость берет. Пусть бы те крестьяне, или какие там еще дураки, которые в старину это выдумали, попробовали мне объяснить, хотел бы я их послушать.

– Джордж, да ведь ты же сам первый это вспомнил, – сказала мама.

Он оборвал разговор:

– Слушай, а который час?

Молоко было слишком холодное, а кофе – слишком горячий. С первого же глотка я обжегся; после этого холодное крошево из кукурузных хлопьев показалось мне тошнотворным. И живот у меня в самом деле разболелся, как будто в подтверждение моей лжи; от бега минут его сводило судорогой.

– Я готов! – крикнул я. – Готов, готов!

Теперь я, как отец, тоже играл перед невидимой публикой, только его зрители были далеко, так что ему приходилось повышать голос до крика, а мои рядом, у самой рампы. Мальчик, забавно держась за живот, проходит через сцену слева. Я пошел в столовую взять куртку и книги. Моя верная жесткая куртка висела за дверью. Отец сидел в качалке, спиной к камину, где гудел и плясал огонь. Он был в старом, потертом клетчатом пальто с разноцветными пуговицами, которое он притащил с благотворительной распродажи, хотя оно было ему мало и едва доходило до колен. На голове у него была безобразная синяя вязаная шапочка, которую он нашел в школе, в ящике "для утиля. Когда он натягивал ее по самые уши, то смахивал на простака с журнальной карикатуры. Эту шапочку он начал носить недавно, и я не мог взять в толк, на что она ему сдалась. Волосы у него были еще густые, едва тронутые сединой. Ты пойми, для меня ведь он никогда не менялся. Да и в самом деле он выглядел моложе своих лет. Когда он повернулся ко мне, лицо у него было как у плутоватого уличного сорванца, повзрослевшего прежде времени. Он вырос в глухом городишке Пассейике. Его лицо – все эти выпуклости, неглубокие, бесцветные складки – казалось мне нежным и вместе с тем суровым, мудрым и простодушным; я до сих пор смотрел на него снизу вверх, а раньше в моем представлении он был ростом чуть не до неба. Когда я стоял у его ног, на дорожке, мощенной кирпичом, во дворе нашего олинджерского дома, у зеленой беседки, мне казалось,

что голова его вровень с верхушкой каштана, и я был уверен, что пока он рядом, мне ничто не страшно.

– Твои учебники на подоконнике, – сказал он. – Ты поел?

Я огрызнулся:

– Ты же сам меня все погоняешь – скорей, скорей.

Я собрал учебники. Латынь в синем, потертом, еле державшемся переплете. Нарядная красная алгебра, совсем новехонькая; когда я переворачивал страницу, от бумаги исходил свежий девственный запах. И потрепанное пухлое естествоведение в серой обложке – этот предмет вел у нас отец. На обложке треугольником были оттиснуты динозавр, атом, похожий на звезду, и микроскоп. На корешке и по обрезам большими синими буквами было выведено: ФИДО. Эта крупная чернильная надпись выглядела трогательной и жалкой, как позабытый древний идол. В то время Фидо Хорнбекер был знаменитым футболистом. Я так и не узнал, которая из девушек, чьи фамилии были написаны на внутренней стороне обложки над моей, была в него влюблена. За пять лет этот учебник в первый раз достался мальчику. Кроме моего имени и фамилии, там стояло еще четыре:

Мэри Хеффнер

Ивлин Мэйз, Крошка

Реа Фурстейблер

Филлис Л.Герхарт.

И все они слились в моем представлении в одну нимфу с неустановившимся почерком. Может, они все были влюблены в Фидо?

– Ешь больше – проживешь дольше, – сказал дед.

– Мальчик весь в меня, Папаша, – сказал отец. – У меня тоже вечно не хватало времени поесть. Я только и слышал: «Ну-ка, живо убирайся из-за стола!» Бедность ужасная штука.

Дед нервно сжимал и разжимал кулаки, ноги его в высоких башмаках на кнопках взволнованно притоптывали. Он был прямой противоположностью отцу и воображал, как все старики, что, если только его выслушают, он ответит на все вопросы и разрешит все трудности.

– По-моему, надо пойти к доку Апплону, – сказал он, откашливаясь так осторожно, как будто его мокрота была тоньше папиросной бумаги. – Я знавал его отца. Апплтоны в этом округе поселились чуть ли не первыми. – Он сидел весь залитый белым зимним светом из окна, и рядом с круглоголовым отцом, который темной массой высился у мерцающего камина, казался каким-то высшим существом.

Отец встал.

– Когда я прихожу к нему, этот хвостун только о себе и говорит.

В кухне поднялась суматоха. Дверь заскрипела и хлопнула; по деревянному полу заскребли нетерпеливые когти. Собака ворвалась в столовую. На краю ковра она в нерешительности

припала к самому полу, будто придавленная радостью. Она словно плыла на месте, царапая лапами выцветший красный ковер, из которого, какой он ни был вытертый, всегда можно было выдрать комки лилового пуха, «мышки», как называла их бабушка, когда была еще жива и этот ковер лежал у нас в олинджерском доме. Счастливая, что ее пустили в дом, Леди ворвалась, как добрая весть, пушистым вихрем восторга, и от нее пахло скунсом, которого она загрызла на прошлой неделе. Она искала себе бога и бросилась было к отцу, но у моих ног свернула, прыгнула на диван и в припадке благодарности лизнула деда в лицо.

Он за свою долгую жизнь немало натерпелся от собак и боялся их.

– Прочь, пр-р-рочь! – сердито крикнул он, отворачиваясь и упираясь красивыми сухими руками в белую грудь Леди. В его гортанном голосе была какая-то пугающая сила, словно голос этот исходил из дикой тьмы, неведомой никому из нас.

Собака неистово тыкалась мордой ему в ухо и так била хвостом, что журналы посыпались на пол. Все пришло в движение, отец бросился на подмогу, но прежде чем он подоспел к дивану, дед сам встал. И мы все трое, вместе с собакой, которая вертелась у нас под ногами, ворвались в кухню.

Мама, наверное, решила, что на нее идет карательный отряд, и крикнула:

– Она так жалобно лаяла, вот я ее и впустила!

Мне показалось, что она чуть не плачет, и я удивился. Сам-то я только притворялся, будто жалею собаку. И даже лая ее уже не слышал. Шея у мамы пошла красными пятнами, и я понял, что она сердится. Мне вдруг захотелось на воздух; она внесла в эту толчею такой ослепительный накал, что меня со всех сторон как будто пленкой обволакивало. Я почти никогда не знал, отчего она сердится; настроение у нее менялось, как погода. Неужели действительно дурацкие пререкания отца с дедом задели ее за живое? Или это я виноват, что так дерзко мешкал? Я не хотел, чтобы она рассердилась на меня, сел за стол в своей жесткой куртке и снова глотнул кофе. Он был все еще горячий. С первого же глотка я обжегся и уже не чувствовал вкуса.

– Ах черт, – сказал отец, – уже без десяти. Если мы не выедем сию минуту, меня уволят.

– Это по твоим часам, Джордж, – сказала мама. Ну, раз она за меня вступилась, значит, я тут ни при чем. – А по нашим у тебя еще семнадцать минут.

– Ваши врут, – сказал он. – А Зиммерман только и выискивает, к чему бы прицепиться.

– Поехали, поехали, – сказал я и встал.

Первый звонок в школе давали в восемь двадцать. До Олинджера было двадцать минут езды. Я чувствовал, как уходящее время все сильнее стискивает меня. Стенки пустого живота словно слиплись.

Дед пробрался к холодильнику и взял с него буханку мейеровского хлеба в красивой упаковке. Он так явно подчеркивал свое старание быть незаметным, что все мы поневоле взглянули на него. Он развернул целлофан, отрезал ломоть белого хлеба, сложил его вдвое и ловко запихнул целиком в рот. Рот у него растягивался просто удивительно; беззубая бездна открылась под пепельными усами и поглотила хлеб. Людоедское спокойствие, с каким он это проделывал, всегда раздражало маму.

– Папа, – сказала она, – неужели нельзя удержаться и не терзать хлеб, пока они не уедут?

Я в последний раз глотнул горячего кофе и пробрался к двери. Мы все топтались на маленьком квадрате линолеума, между дверью, стеной, на которой тикали часы,

холодильником и раковиной. Повернуться было негде. Мама в это время протискивалась мимо деда к плите. Он весь сжался, его темная фигура, казалось, была пригвождена к дверце холодильника. Отец стоял неподвижно, возвышаясь над нами, и через наши головы декламировал перед невидимой публикой:

– Поехали на бойню. Проклятые дети, их ненависть засела у меня в кишках.

– Вот так он шуршит целыми днями, и мне начинает казаться, что у меня, в голове крысы, – сказала сердито мама, и на лбу у нее, у корней волос, появилась ярко-красная полоса. Протиснувшись мимо деда, она сунула мне холодный тост и банан. Чтобы взять их, мне пришлось зажать учебники под мышкой. – Бедный мой недокормыш, – сказала она. – Единственное мое сокровище.

– Поехали на фабрику ненависти! – крикнул мне отец.

Чтобы доставить маме удовольствие, я помедлил и откусил кусочек тоста.

– А я если кого ненавижу, – сказала мама, обращаясь не то ко мне, не то к потолку, когда отец наклонился и коснулся ее щеки губами – поцелуями он ее не баловал, – так это людей, которые ненавидят секс.

Дед, притиснутый к холодильнику, воздел руки и с набитым ртом произнес:

– Благослови господь.

Он не упускал случая сказать это, подобно тому как вечером, забираясь на «деревянную гору», всегда желал нам «приятного сна». Его руки были красиво воздеты в благословении, и в то же время казалось, будто он сдается в плен и выпускает на волю крохотных ангелов. Лучше всего я знал его руки, потому что у меня, единственного в семье, были молодые глаза и я должен был вытаскивать маминым пинцетом маленькие коричневые колючки, которые после прополки сорняков застревали в сухой, нежной, прозрачно-красной коже его ладоней.

– Спасибо, Папаша, нам это пригодится, – сказал отец, распахивая дверь, которая отрывисто и угрожающе затрещала. Он никогда не поворачивал ручку до конца, и защелка всякий раз цеплялась за косяк. – Конечно, пропала моя голова, – сказал он, глядя на свои часы.

Когда я выходил следом за ним, мама прижалась щекой к моей щеке.

– А если я что ненавижу в своем доме, так это красные часы, купленные по дешевке, – бросила она вслед отцу.

Отец уже завернул за угол дома, я же, выйдя на крыльцо, оглянулся, а лучше бы мне не оглядываться. Кусок тоста у меня во рту стал соленым. Мама, крикнув эти слова вслед отцу, уже не могла удержаться, двинулась к стене, бесшумная за стеклом окна, сорвала часы с гвоздя, размахнулась, будто хотела швырнуть их на пол, и вдруг прижала их, как ребенка, к груди, волоча шнур по полу, и щеки ее влажно заблестели. Когда она встретилась со мной взглядом, ее глаза беспомощно округлились. В молодости она была красива, и глаза у нее ничуть не состарились. Казалось, она каждый день снова и снова удивлялась своей нелегкой жизни. А за спиной у нее ее отец, смиренно склонив голову, жевал растягивающимся, как резина, ртом и, шаркая, плелся на свое место в столовой. Мне хотелось подмигнуть ей, чтобы утешить ее или рассмешить, но лицо мое застыло от страха. Страх за нее и перед ней.

И все же, дорогая моя, хотя мы так мучили друг друга, не думай, что нам плохо жилось всем вместе. Нет, нам жилось хорошо. У нас под ногами была твердая почва звонких метафор. Помню, еще в Олинджере, совсем маленьким, я слышал, как бабушка, умирая, проговорила

слабым голосом: «Неужто я попаду к чертенятам?» И она выпила глоток вина и к утру умерла. Да. Бог не оставлял нас.

\*\*\*

Отец шел через лужайку, похожую на кусок наждачной бумаги. Я зашагал следом. Лужайка, изрытая летом кротами, была кое-где усеяна холмиками. Стена сарая, вся освещенная солнцем, торчала пятнистым высоким пятиугольником.

– Мама чуть часы не грохнула, – сказал я, нагнав отца. Мне хотелось его пристыдить.

– И какая муха ее укусила сегодня? – сказал он. – Твоя мать – женщина до мозга костей, Питер. Будь я деловым человеком, я бы ее в молодости устроил на сцену, в водевилях играть.

– Она думает, что ты дразнишь деда.

– А? Да что ты? Я в восторге от Папаши Крамера. В жизни не встречал лучшего человека. Обожаю старика.

Синий ледяной воздух, обжигавший нам щеки, словно остругивал слова. Наш черный «бьюик» выпуска тридцать шестого года, с четырьмя дверцами, стоял у сарая, на склоне холма. Раньше у него спереди была красивая, щегольская решетка, и отец неожиданно – вообще-то для него вещи ровно ничего не значили – по-детски гордился ее тонкими хромированными полосками, но прошлой осенью возле школы застрял облезлый старый «шевроле» Рэя Дейфендорфа, и отец, со своей обычной христианской самоотверженностью, вызвался подтолкнуть его, а когда они развили порядочную скорость, Дейфендорф сдуру возьми да тормозни, и решетка наша разбилась о его бампер. Меня при этом не было. Дейфендорф потом рассказал мне, захлебываясь от смеха, как отец выскочил из кабины и стал подбирать обломки металла, бормоча: «Может, ее удастся сварить, может, Гаммел ее сварит». Это решетку-то, вдребезги разбитую. Дейфендорф рассказывал так уморительно, что я и сам не мог удержаться от смеха.

Блестящие обломки до сих пор валялись в багажнике, а наш автомобиль стал щербатым. Он был длинный, тяжелый. Мотор пора было ремонтировать. И, кроме того, сменить аккумулятор. Мы с отцом сели, он вытянул подсос, включил зажигание и, склонив голову набок, стал прислушиваться, как стартер вертит застывший мотор. Переднее стекло заиндевело, и в машине было темно. Казалось, мотор умер и уже не оживет. Мы прислушивались так напряженно, что, наверное, оба живо представили себе, как там, в таинственной черной глубине, черный вал надрывается изо всех сил, вертится вхолостую и, обессилев, замирает. Даже намек на искру не было. Я закрыл глаза, быстро прочел молитву и услышал, как отец сказал:

– Да, мальчик, дело дрянь.

Он вылез из машины и, яростно соскабливая ногтями иней, расчистил кусочек стекла. Я тоже вылез, и мы, навалившись с двух сторон, толкнули машину. Раз... два... И, наконец, три – последнее отчаянное усилие.

С легким шорохом шины оторвались от мерзлой земли. Машина подалась вперед и медленно заскользила вниз. Мы оба вскочили внутрь, захлопнули дверцы, и машина, набирая скорость, покатила по дороге, которая обогнула сарай и круто пошла под гору. Гравий потрескивал под колесами, словно ломающиеся ледышки. Машина прошла самую крутую часть спуска, взяла разгон, отец отпустил сцепление, кузов дернулся, мотор закашлял, завелся, завелся, и

мы покатили по розовой дороге напрямик меж бледно-зеленой лужайкой и ровным, вспаханным под пар полем. Здесь ездили так редко, что посередине дорога заросла травой. Сурово сжатые губы отца чуть смягчились. Он все прибавлял газу, чтобы насытить жадный мотор. Теперь уж никак нельзя было дать мотору заглохнуть – на ровном месте его не завести. Отец до половины задвинул подсос. Мотор загудел на более высокой ноте. Сквозь прозрачные края наледи, покрывавшей переднее стекло, мне была видна дорога; мы пересекли границу своей земли. В конце лужайки был подъем. Наш черный автомобиль отважно кинулся на короткий крутой склон, проглотил его и выплюнул вместе с камнями далеко назад. Справа промелькнул почтовый ящик Сайласа Шелкопфа, салютуя нам неподвижным красным флажком. Наша земля осталась позади. Я оглянулся: наш дом – кучка маленьких построек, лепившихся на склоне по ту сторону долины, – быстро таял вдали. Сарай и курятник были нежно-розовые. Оштукатуренный куб нашего жилья испустил, словно просыпаясь, последний сонный вздох – клуб дыма, голубого на алом фоне леса. Дорога снова пошла под уклон, наша ферма скрылась из виду, и мне уже не казалось, что она смотрит нам вслед. У Шелкопфа был пруд, и по льду шли утки, цветом совсем как клавиши старого рояля. Слева высокий белый коровник Джесса Флэглера, казалось, швырнул в нас охапку сена. Мелькнул круглый коричневый глаз на мерно дышащей коровьей морде.

Там, где наша дорога выходила на сто двадцать второе шоссе, начинался коварный подъем, на котором ничего не стоило застрять. Здесь выстроились почтовые ящики, словно улица скворечников, а за ними торчал знак «стоп», весь изрешеченный ржавыми дырами от пуль, и суковатая яблоня. Отец убедился, что машин на шоссе нет, и с разгону, не притормаживая, проскочил изъезженную земляную обочину. Теперь на твердом шоссе бояться было уже нечего. Отец включил вторую скорость, прибавил обороты, перешел на третью, и наш «бьюик» резво помчался вперед. До Олинджера было одиннадцать миль. Дальше дорога все время шла под уклон. Я сжевал половину тоста. Холодные крошки просыпались на учебники и мне на колени. Я очистил банан и съел его без особой охоты, просто чтобы маму не огорчать, а потом приспустил стекло и выбросил кожуру вместе с остатком тоста на убегающую дорогу.

Круглые, квадратные и восьмиугольные рекламы кричали с обочины каждая о своем. На одном старом сарае надпись во всю стену провозглашала: «ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ ТАБАК ПОНИ». Поля, на которых летом наемные рабочие Эмиша целыми семьями в капорах и черных шляпах собирали помидоры, а плечистые здоровяки на остроносых красных тракторах плыли по морю ячменя, теперь, оголенные, молили небо прикрыть снегом их тоскливую наготу. Бензозаправочная станция с двумя насосами, закутанная в рваные рекламы прохладительных напитков, заковыляла нам навстречу из-за поворота, попятилась и отразилась в зеркальце, забавно съезжившаяся, с пятнистым крылатым конем на вывеске. От толчка звякнула крышка перчаточного ящика. Мы проехали через Файртаун. В этом поселке было когда-то всего четыре дома, сложенных из плитняка; раньше здесь жила местная аристократия. В одном из домов целых полвека помещалась гостиница «Десятая миля», и у крыльца еще сохранилась коновязь. Окна были заколочены. Дальше шли постройки поновей: лавка из шлакоблоков, где продавалось пиво ящиками; два новых дома на высоких фундаментах, но без единого крыльца, хотя и жилые; на отшибе – охотничья хижина, куда по субботам и воскресеньям наезжали гурьбой мужчины, иногда с женщинами, и в окнах загорался свет; несколько высоких домов городского типа с шиферными крышами, построенных перед войной, – мой дедушка уверял, что они битком набиты незаконными детишками, которые пухнут с голоду. Мы разминулись с оранжевым школьным автобусом, который полз нам навстречу, к файртаунской школе. Я по месту жительства должен был учиться там, но был избавлен от этого, потому что мой отец преподавал в олинджерской школе. Ребята из нашей округи нагоняли на меня страх. Однажды мама заставила меня вступить в Клуб любителей сельского хозяйства. У моих одноклубников были косящие узкие глаза и гладкая смуглая кожа. Одни из них были тупые и наивные, другие – стреляные и видавшие виды, но мне, мечтавшему о высшей культуре, все они казались одинаково дикими.



Мы собирались в подвале церкви, где торчали битый час, и я, насмотревшись диапозитивов о болезнях скота и вредителях кукурузы, чувствовал, что задыхаюсь в этой тесноте, нырял в морозный воздух и, еле доплыв до дому, приникал к альбому репродукций Вермеера, как человек, который чуть не утонул, приникает к спасительному берегу.

Справа показалось кладбище; могильные плиты, похожие на тонкие дощечки, торчали над холмиками вкривь и вкось. Потом над деревьями выросла крепкая каменная колокольня файртаунской лютеранской церкви, на миг окунув свой новенький крест в солнечный свет. Мой дед когда-то строил эту церковь возил на тачке огромные камни по узкому дощатому настилу, который прогибался под ним. Он часто показывал нам, красиво шевеля пальцами, как прогибались доски.

Мы начали спускаться с Файр-хилл, первого из двух холмов, с более пологим и длинным склоном, по дороге на Олинджер и на Олтон. Примерно на полпути вниз деревья расступились и открылся чудесный вид. Передо мной, словно задний план на картине Дюрера, лежала маленькая долина. Господствуя над ней, на кочковатом, в увалах, взгорье, заштрихованном серыми каменными оградами, меж которыми бурными овцами рассыпались валуны, стоял домик, будто сам собой из земли вырос, а над домиком бутылкой поднималась труба, сложенная из необтесанных камней в один ряд и свежесыбеленная. И над этой ослепительно белой трубой, массивной и выпуклой, вписанной вместе с плоской стеной в холмистую местность, тоненькой струйкой курился дымок, показывавший, что дом обитаем. Именно такой представлялась мне вся округа в те времена, когда дед строил тут церковь.

Отец совсем задвинул подсос. Стрелка указателя температуры словно приросла к крайней левой черте; печка не подавала никаких признаков жизни. Руки отца, управляя машиной, с судорожной быстротой отдергивались от металла и твердой резины.

– Где твои перчатки? – спросил я.

– На заднем сиденье, кажется.

Я обернулся: перчатки, мой рождественский подарок, лежали морщинистыми кожаными ладонями кверху между измятой картой округа и спутанным буксирным тросом. Я заплатил за них без малого девять долларов, выложил все, что успел скопить на обучение в художественной школе, когда по программе сельскохозяйственного клуба вырастил грядку клубники и продал ягоды. Я так истратился на эти перчатки, что едва наскреб маме на книгу, а деду – на носовой платок; мне очень хотелось, чтобы отец хорошо одевался и следил за собой, как отцы моих школьных товарищей. Перчатки пришлось ему в пору. В первый день он их надел, потом возил рядом с собой на переднем сиденье, а однажды, когда мы втроем сели впереди, кинул на заднее.

– Почему ты их не носишь? – спросил я его.

Я почти всегда разговаривал с ним тоном обвинителя.

– Они слишком хороши, – сказал он. – Чудесные перчатки, Питер. Я знаю толк в коже. Ты, наверное, отдал за них целое состояние.

– Положим, не так уж много. Но неужели у тебя руки не мерзнут?

– Да, здорово холодно. Крепко принялся за нас дед-мороз.

– Так почему ж тебе не надеть перчатки?

Профиль отца вырисовывался на фоне пятнистой дороги, убегавшей назад. Думая о своем, он сказал:

– Подари мне кто-нибудь такие перчатки в детстве, я заплакал бы, честное слово.

Эти слова камнем легли мне на сердце, а я и без того был подавлен разговором, который подслушал спросонок. Я тогда понял только одно: что у него внутри какая-то хворь, а теперь почему-то вообразил, будто именно поэтому он не носит мои перчатки, и хотел непременно допытаться, в чем дело; но все же я понимал, что он слишком большой и старый, чтобы совершенно измениться и очиститься от скверны, даже ради мамы. Я придвинулся к нему поближе и увидел, как побелела по краям кожа на его руках, сжимавших руль. Руки у него были морщинистые, будто в трещинах, волосы на них чернели, как прихваченная морозом трава. С тыльной стороны их усеивали тусклые коричневые бородавки.

– Руль, наверное, холодный как лед? – спросил я. И голос у меня был точь-в-точь как у мамы, когда она сказала: «Этого нельзя чувствовать».

– По правде говоря, Питер, у меня так зуб болит, что мне не до того.

Это меня удивило и обрадовало: раньше он на зуб не жаловался, может быть, в этом все дело. Я спросил:

– Какой зуб?

– Коренной.

Он причмокнул; щека, порезанная во время бритья, сморщилась. Запекшаяся кровь была совсем черной.

– Надо его вылечить, только и всего.

– Я не знаю, который именно болит. Может, все сразу. Их, все надо повыдергать и вставить искусственные. Пойти к этим олтонским живодерам, которые вырывают зубы и в тот же день вставляют протезы. Прямо в десны.

– Ты это серьезно?

– Еще бы. Ведь это садисты, Питер. Тупоумные садисты.

– Быть не может, – сказал я.

Пока мы спускались с холма, печка оттаяла и теперь заработала; грязный воздух, подогретый в ржавых трубах, обдувал мне ноги. Каждое утро я радовался этому, как спасению. Предвкушая близкий уют, я включил радио. Узкая, как у термометра, шкала засветилась неярким оранжевым светом. Когда лампы нагрелись, хриплые и надтреснутые ночные голоса запели в ясном голубом утре. Волосы у меня на голове зашевелились, мурашки забегали по затылку; так поют негры и батраки на юге – голоса словно с трудом пробирались по мелодии, срываясь, падая, взбираясь на крутизну; и в этом холмистом просторе мне виделась моя родина. В песне была вся Америка: сосны до неба, океаны хлопка, бурные, безбрежные прерии Запада, пронизанные призрачными голосами, надрывными от любви, наполнили затхлую кабину «бьюика». Рекламная передача насмешливо и вкрадчиво баюкала меня, нашептывала про города, где я мечтал побывать, а потом песня зазвучала, будто перестук колес, неотвратимо увлекая певца, как бродягу, все вперед, она захватила и нас с отцом, и мы, неотвратимые, подобно ей, понеслись через горы и равнины нашей многострадальной страны, и нам было тепло, несмотря на лютый мороз. В те времена радио уносило меня в будущее, и я становился всемогущим: в шкафах у меня полным-полно красивой одежды, кожа – гладкая и белая, как молоко, и я, в ореоле богатства и славы, пишу картины, божественно спокойные, как у Вермеера. Я знал, что этот Вермеер был безвестен и беден, но утешался тем, что он жил в отсталые времена. А мое время не отсталое, про это я читал в

журналах. Правда, во всем Олтонском округе только мы с мамой, наверное, и знали про Вермеера; но в больших городах, конечно, тысячи людей его знают, и все они богачи. Меня окружают вазы и полированная мебель. На тугой скатерти лежит хлеб, залитый светом, весь в сахарных блестках, как на полотне пуантилиста. За решеткой балкона висится город вечного солнца, Нью-Йорк, мерцающая миллионами окон. По комнате с белыми стенами гуляет ветерок, он пахнет гипсом и гвоздикой. В дверях стоит женщина, отражаясь, как в зеркале, в гладких панелях, и смотрит на меня; нижняя губка у нее полная и чуть припухшая, как у девушки в синем тюрбане на картине из Гаагской галереи. Среди всех этих видений, которые песня быстрой кистью набрасывала передо мной, было лишь одно пустое место – картина, которую я так прекрасно, свободно и неповторимо писал. Я не мог увидеть свое произведение; но его бесформенное сияние было в центре всего, словно ядро кометы, в хвосте которой я увлекал отца за собой сквозь наполненное ожиданием пространство нашей поющей страны.

За Галилеей, городком не больше Файртауна, теснившимся вокруг закуской «Седьмая миля» и шлакоблочного магазина Поттейджера, дорога, как кошка, прижавшая уши, ринулась по прямой – здесь отец всегда гнал машину. За молочной фермой «Трилистник» с ее образцовым коровником, откуда навоз вывозил конвейер, дорога врезалась меж двумя высокими стенами осыпающегося краснозема. Здесь, около кучи камней, ждал попутной машины какой-то человек. Его силуэт был отчетливо виден на фоне глинистого обрыва, и, когда мы, беря подъем, приблизились к нему, я заметил, что башмаки на нем непомерно большие со странно выступающими задниками.

Отец затормозил так резко, как будто увидел знакомого. Шлепая башмаками, тот подбежал к машине. На нем был потертый коричневый костюм в вертикальную белую полосу, которая выглядела нелепо франтоватой. Он прижимал к груди газетный сверток, туго перевязанный шпагатом, как будто это могло его согреть.

Отец, перегнувшись через меня, опустил стекло и крикнул:

– В Олтон мы не едем, можем подвезти только до Пилюли.

Человек пригнулся к окну. Он часто мигал красными веками. Поверх поднятого воротника у него был повязан грязный зеленый шарф. Худощавый, он издали показался мне моложе. Невзгоды или морозы так выскоблили его бледное лицо, что выступили жилы; по щекам змейками извивались красные зигзаги. В припухлых губах было что-то жеманное, и я подумал, что это, верно, любитель мальчиков. Один раз, когда я дожидался отца возле олтонской публичной библиотеки, ко мне подошел, волоча ноги, какой-то оборванец, и, хотя я сразу от него убежал, его грязные слова запали мне в голову. Я чувствовал, что, пока мои ухаживания за девушками ничем не кончатся, с этой стороны я беззащитен, а в дом с тремя стенами всякий вор может забраться. Почему-то я сразу возненавидел этого человека. А тут еще отец опустил стекло, я мороз щипал мне уши.

Вот так всегда – отец со своей заискивающей предупредительностью, вместо того чтобы просто объяснить дело, только все запутал. Бродяга обалдел. Мы ждали, куда его мозги оттают и до него дойдет то, что ему сказали.

– В Олтон мы не едем, – повторил отец и нетерпеливо подался еще вбок, так что его большая голова оказалась у меня перед самым носом. У его прищуренного глаза собралась сеть бурых морщинок. Бродяга тоже придвинулся, и я почувствовал, что нелепо зажат между их дряблыми старыми лицами. А из радиоприемника все звучал перестук колес; и мне хотелось снова мчаться вперед.

– А сколько проедете? – спросил бродяга, едва шевеля губами. Волосы у него на макушке были редкие и прилизанные, но он так давно не стригся, что над ушами торчали встрепанные

космы.

– Четыре мили. Садитесь, – сказал отец с неожиданной решительностью. Он толкнул дверцу с моей стороны и сказал:

– Подвинься, Питер. Пусть джентльмен сядет спереди, у печки.

– Ничего, я и сзади доеду, – сказал пассажир, и это немного смягчило мою ненависть к нему. Все-таки он не совсем совесть потерял. Но сел он как-то странно. Неловко прижимая локтем сверток, открыл заднюю дверцу, а другой рукой все цеплялся за переднюю. Как будто мой добряк отец и я, безобидный мальчишка, были коварным, злобным зверем, а он – охотником возле ловушки. Почувствовав себя в безопасности у нас за спиной, он вздохнул и сказал тонким, жидким голосом, словно наперед отказываясь от своих слов:

– Ох и дерьмовая же погодка. До самого нутра пробирает.

Отец отпустил сцепление и, полуобернувшись, ответил пассажиру; при этом он бесцеремонно выключил радио. Ритмичный перестук колес вместе со всеми моими мечтами полетел в бездну. Ясная ширь будущего, съездившись, померкла в настоящем.

– Спасибо хоть снега нет, – сказал отец. – Больше мне ничего не надо. Каждое утро молюсь: господи, только бы снег не пошел.

Не оборачиваясь, я слышал, как пассажир у меня за спиной сопел и зыбко ворочался, словно какое-то первобытное чудовище, оттаивающее из ледника.

– А ты, мальчуган? – спросил он, и я затылком почувствовал, что он наклонился вперед. – Ты небось рад бы на снежку порезвиться?

– Бедняге теперь уж не до санок, – сказал отец. – Ему нравилось жить в городе, а мы увезли его к черту на рога.

– Да чего там говорить, он-то снег любит, – сказал пассажир. – Еще как.

Видно, снег для него значил что-то совсем не то; ясно было, что он за птица. Но меня только злость разобрала, я даже не испугался – ведь отец был рядом.

Отца тоже как будто смутила такая настойчивость.

– Что же ты, Питер? – спросил он меня. – Скажи, ты еще скучаешь по снегу?

– Нет, – сказал я.

Пассажир слюняво сопел. Отец спросил его:

– А вы, мистер, откуда?

– С севера.

– Едете в Олтон?

– Все может стать.

– Бывали уже в Олтоне?

– Довелось один раз.

– А чем занимаетесь?

– Я... э-э-э... повар.

– Повар! Как это прекрасно. Вы, конечно, меня не обманываете. И какие же у вас планы? Хотите остаться в Олтоне?

– М-м... Думаю подработать да махнуть на юг.

– Знаете, мистер, – сказал отец, – именно об этом я всю жизнь мечтал. Бродить с места на место. Жить, как птица. А когда наступят холода, расправить крылья и улететь на юг.

Пассажир хихикнул, озадаченный.

Отец продолжал:

– Я всегда хотел жить во Флориде, а сам даже издали ни разу ее не видел. Я не бывал южнее великого штата Мэриленд.

– Ничего там хорошего нет, в этом Мэриленде.

– Помню, еще в школе, в Пассейике, – сказал отец, – учитель часто рассказывал нам о белых крылечках Балтимора. Он говорил, что каждое утро хозяйки с ведрами и щетками моют белые мраморные ступеньки до блеска. Видели вы это?

– Бывал я в Балтиморе, но такого не видел.

– Так я и знал. Нас обманывали. На кой черт станут люди всю жизнь мыть белый мрамор, ведь его только вымоешь, какой-нибудь дурак в грязных ботинках сразу наследит. Никогда не мог этому поверить.

– Я такого не видел, – сказал пассажир, словно жалея, что из-за него отца постигло столь горькое разочарование. Встречая незнакомых людей, отец с таким жадным интересом их расспрашивал, что они терялись. Волей-неволей им приходилось вместе с ним тщетно, но упорно доискиваться правды. В то утро отец доискивался с особым упорством, как будто боялся не успеть. Он буквально выкрикнул следующий вопрос:

– И как это вы здесь застряли? На вашем месте, мистер, я давно был бы во Флориде, только меня здесь и видели.

– Я жил с одним малым в Олбэни, – неохотно ответил пассажир.

Так я и знал! Сердце у меня упало; но отец, видно, забыл, какая это скользкая тема.

– С другом? – спросил он.

– Да, вроде.

– И что же? Он вас надул?

Пассажир в восторге подался вперед.

– Ну да, приятель, – сказал он отцу. – Надул, сучий сын, распротак его... Ты прости, мальчуган.

– Ничего, – сказал отец. – Бедный мальчик за один день такого наслушается, чего мне за всю жизнь не доводилось. В мать пошел: она все замечает, хочет не хочет. А я, слава богу, половины не вижу и три четверти пропускаю мимо ушей. Бог хранит простые души.

Я не мог не заметить, что он соединил бога и маму, призвал их быть мне защитой, плотиной,

которая должна была сдерживать поток грязных откровений нашего пассажира; но меня возмутило, что он вообще может говорить обо мне с этим человеком, пачкать меня в грязной луже. Мне была невыносима мысль, что моя жизнь одной стороной соприкасается с Вермеером, а другой – с этим бродягой.

Но избавление было уже близко. Мы доехали до Пилюли, второго холма по дороге на Олтон, того, что покруче. За холмом был поворот на Олинджер, там пассажиру выходить. Мы начали спускаться с холма. Навстречу, в гору, полз грузовик с прицепом, до того медленно, что казалось, облупленная краска успела облезть с него, пока он тащился. Поодаль, тесня деревья, лениво поднимался вверх по склону большой коричневый особняк Руди Эссика.

Холм Пилюля получил название по своему владельцу, фабриканту пилюль от кашля («БОЛЕН? ПОСОСИ-КА ПИЛЮЛЮ ЭССИКА!»), они миллионами изготавливались на фабрике в Олтоне, от которой за несколько кварталов разило ментолом. Эти пилюли в маленьких розоватых коробочках продавались по всем восточным штатам; раз я был в Манхэттене и с удивлением увидел там, в самой утробе рая, в ларьке на Центральном вокзале знакомые невзрачные коробочки. Не веря своим глазам, я купил одну. Сомнений быть не могло: на обратной стороне, под маленьким, но внушительным изображением фабрики, стояло мелкими буквами: «Изготовлено в Олтоне, Пенсильвания». А когда я открыл ее, в нос мне ударил прохладный скользкий запах Брубейкер-стрит. Два города моей жизни, воображаемый и действительный, наложились друг на друга; никогда я не думал, что Олтон может соприкоснуться с Нью-Йорком. Я положил пилюлю в рот, чтобы сделать полным это приятное взаимопроникновение; во рту стало сладко, а над головой, на высоченном потолке, как на аквамарининовом небосводе, сияло целое созвездие желтоватых электрических лампочек, под ним была покатая стена, а перед глазами у меня нервно сжимались отцовские руки с желтыми суставами, потому что мы опаздывали на поезд. Я перестал сердиться на него и тоже заторопился захотелось домой. До той минуты отец все мне портил. Во время этой поездки – мы ездили на два дня повидаться с его сестрой – он был беспомощным и робким. Огромный город подавлял его. Деньги так и таяли, хотя он ничего не покупал. Мы долго ходили по улицам, но так и не дошли до тех музеев, о которых я читал. В одном из них, в «Собрании Фрика», была картина Вермеера – мужчина в широкополой шляпе и смеющаяся женщина, у которой на ладони дрожит блик света, а она этого не замечает; в другом, который называется «Метрополитэн», – портрет девушки в крахмальном чепце, смиренно склонившейся над серебряным кувшином, поблескивающим вертикальным голубоватым штрихом, – в юности я боготворил его, как духа святого. И то, что эти картины, на репродукции которых я буквально молился, действительно существовали, казалось мне глубочайшим таинством; подойти к полотнам так близко, чтобы можно было дотянуться рукой, собственными глазами увидеть подлинные краски и сеть трещинок там, где их коснулось время, как одно таинство касается другого, значило бы для меня очутиться перед Высшим Откровением, достичь предела столь недоступного, что я не удивился бы, если бы умер на месте. Но отец все перепутал и испортил. Мы не побывали в музеях; я не увидел картин. Вместо этого я побывал в гостиничном номере, где остановилась его сестра. И хотя это было на двадцатом этаже, высоко над улицей, в номере, непонятно почему, пахло как от маминого зимнего пальто из толстой зеленой шотландки, с меховым воротником. Тетя Альма потягивала какой-то желтый напиток и цедила сигаретный дым уголком накрашенных губ. Кожа у нее была белая-белая, а глаза умные и прозрачные. Когда она смотрела на отца, они все время печально шурились; она была старше его на три года. Весь вечер они вспоминали свои проказы и ссоры в Пассейике, в давным-давно не существующем доме священника, при одном упоминании о котором меня тошнило и голова кружилась, словно я повисал над пропастью времени. С двадцатизэтажной высоты я видел, как фары такси вяжут световые петли, и вчуже мне было интересно смотреть на них. Днем тетя Альма, которая приехала закупать детскую одежду, предоставила нас самим себе. Отец останавливал прохожих, но они не хотели отвечать на его путаные, дотошные расспросы. Их грубость и его беспомощность унижали меня, я так и кипел, готовый взорваться, но пилюли от кашля

рассеяли мою досаду. Я простил его. Простил в храме из светло-коричневого мрамора и готов был благодарить за то, что я родился в округе, который питает сластями утробу рая. Мы доехали на метро до Пенсильванского вокзала, сели в поезд и до самого дома сидели, прижавшись друг к другу, как близнецы, и даже теперь, спустя два года, когда мы каждый день проезжаем вверх или вниз через Пиллюлю, я всякий раз смутно вспоминаю Нью-Йорк и электрические созвездия, среди которых мы парили вдвоем, оторвавшись от здешней земли.

Вместо того чтобы остановиться, отец почему-то проехал поворот на Олинджер.

– Ты куда? – крикнул я.

– Ладно уж, Питер, – сказал он тихо. – Холод-то какой.

Лицо его под дурацкой синей шапочкой было безмятежно. Он не хотел, чтобы пассажиру стало неловко из-за того, что мы делали крюк, везя его в Олтон.

Я до того обозлился, что даже осмелел, обернулся и бросил на пассажира уничтожающий взгляд. Его рожа отогрелась, и теперь на нее было страшно смотреть: грязная лужа; не поняв, чего я хочу, он придвинулся ко мне, расплывшись в улыбке, обдавая меня волной смрадных чувств. Я вздрогнул и сжался в комок; приборы на щитке блеснули. Я зажмурился, чтобы остановить этот противный, невыносимый поток, который я вызвал. Омерзительней всего была в нем какая-то благодарная девическая робость.

Отец, повернув свою большую голову, спросил:

– И к чему же вы пришли?

В его голосе звучала такая боль, что пассажир растерялся. Сзади было тихо. Отец ждал.

– Не пойму я вас что-то, – сказал пассажир.

Отец объяснил:

– Какой вывод вы сделали? Я восхищаюсь вами. У вас хватило мужества сделать то, чего я всегда хотел: ездить, видеть разные города. Как, по-вашему, много я потерял?

– Ничего вы не потеряли.

Его слова съеживались, как щупальца от удара.

– А есть у вас что вспомнить? Я сегодня глаз не сомкнул, всю ночь старался вспомнить что-нибудь хорошее и не мог. Нищета да страх – вот и все мои воспоминания.

Мне стало обидно: ведь у него был я.

Голос пассажира заскрежетал – может быть, он засмеялся.

– В прошлом месяце я собаку уколошил, – сказал он. – Где это видано? Вонючие твари выскакивают из кустов и норовят цапнуть тебя за ногу, вот я и прихватил на такой случай палку потолще, иду себе, а та сука прыг на меня, ну я и саданул ее прямехонько промеж глаз. Она – лапы кверху, а я стукнул ее еще разок-другой для верности, и одной собакой стало меньше, пускай знают, как хватать человека за ногу только потому, что у него машины нет, на своих на двоих плестись приходится. Ей-ей, я ее с первого же разу хряснул прямехонько промеж глаз.

Отец печально выслушал это.

– Вообще-то собаки никого не трогают, – сказал он, – они, как я, просто любопытствуют. Я-то

знаю, что у них на уме. У нас есть собака, и я ее очень люблю. А жена просто души в ней не чает.

– Ну, ту суку я крепко угостил, верьте слову, – сказал пассажир и проглотил слюни. – А ты любишь собак, парень? – спросил он меня.

– Питер всех любит, – сказал отец. – Мне бы его доброту, все на свете отдал бы. Но я вас понимаю, мистер, если собака подбегает ночью на незнакомой дороге...

– Да, а подвезти ни одна сволочь и не подумает, – сказал пассажир. Цельный день на морозе проторчал, все нутро выстыло, и сейчас вот больше часу дожидался, вы первый остановились.

– Я всегда останавливаюсь, – сказал отец. – Если бы небо не хранило дураков, я сам был бы на вашем месте. Так вы, говорите, повар?

– М-м-м-м... Занимался этим делом.

– Снимаю перед вами шляпу. Вы – виртуоз.

В голову мне, как червяк, заползла мысль, что этот тип может счесть отца за умалишенного. Мне хотелось просить прощения у этого незнакомого человека, пресмыкаться перед ним, объяснить ему: «это просто у него манера такая, он любит незнакомых людей, и на душе у него кошки скребут».

– Дело нехитрое, знай себе маясь салом сковородку.

Ответ прозвучал уклончиво.

– Не правда, мистер! – воскликнул отец. – Это настоящее искусство готовить людям еду. Я бы и за миллион лет не выучился.

– Брось, приятель, это мура собачья, – сказал пассажир с наглой фамильярностью. – Этому жулью в обжорках одно нужно – чтоб бифштексы были потоньше, на остальное им чихать. Скармливай сало, а мясо поберегай. Ну, а ежели мне кто из них хоть слово скажет, я в ответ ему целую сотню. Они только одному богу молятся – доллару. Черт побери, да я в рот не возьму негритянскую мочу, какую там подают вместо кофе.

Пассажир постепенно оживлялся, а я все больше съеживался; кожа у меня невыносимо зудела.

– А я вот хотел аптекарем стать, – сказал отец. – Но когда кончил колледж, мой старик мне всю музыку испортил. Оставил в наследство Библию и кучу долгов. Но я его не виню, бедняга старался жить по совести. Некоторые из моих учеников – я в школе учителем работаю – поступили в фармацевтическую школу, и, послушать их, у меня на это мозгов не хватило бы. У аптекаря должна быть голова на плечах.

– А ты кем хочешь быть, паренек?

Отец всегда стеснялся того, что я хочу стать художником.

– Он, бедняга, тоже запутался, вроде меня, – сказал он. – Ему бы уехать отсюда куда-нибудь в солнечные края. Кожа у него скверная.

Отец, можно сказать, сорвал с меня одежду и обнажил мои зудящие струпья. От ярости у меня помутилось в глазах, и его лицо показалось мне глухой холодной скалой.



– Это правда, паренек? Что же с тобой?

– У меня вся кожа синяя, – буркнул я, еле сдерживаясь.

– Мальчик шутит, – сказал отец. – Но он молодцом держится. Самое лучшее для него было бы уехать во Флориду. Будь вы его отцом, он, конечно, жил бы там.

– Я думаю махнуть туда недельки через две-три, – сказал пассажир.

– Возьмите его с собой! – воскликнул отец. – Мальчик заслужил лучшую жизнь. У меня в кармане ветер гуляет. Пора ему поискать другого отца. А мне одна дорога – на свалку.

Он сказал это, завидев у шоссе большую олтонскую свалку. На пустыре, среди груд пестрого хлама, кое-где курились костры. Все на свете ржавеет или гниет, обращается в темный, возрождающийся прах, и кучи его становятся причудливыми и косматыми, как хвощи. Куски цветной бумаги, прижатые ровным ветром с реки к высоким стеблям бурьяна, казались застывшими призраками знамен. А дальше река Скачущая Лошадь отражала в своей черной лакированной глади яркую синь, безмолвно опрокинутую над ней. Газгольдеры, огромные поднимающиеся и опускающиеся цилиндры, серыми слонами сторожили кирпичный городской горизонт; Олтон, таинственный город, весь розовый и красный, лежал тесьмой у подола пурпурно-зеленых холмов. Вечнозеленая хребтина Олтонской горы темной щелью прорезала небо. Рука у меня двигалась, словно водила кистью по холсту. Железнодорожные пути серебряными полосами бежали вдоль шоссе; стоянки у фабрик были забиты машинами; шоссе перешло в пригородную улицу, петлявшую между автомобильными агентствами, ржавыми передвижными ресторанчиками и домами с шиферными крышами.

Отец сказал пассажиру:

– Ну вот и он. Великий и славный город Олтон. Если бы в детстве мне кто-нибудь сказал, что я кончу жизнь в Олтоне, штат Пенсильвания, я рассмеялся бы ему в лицо. Я тогда и не слышал о таком городе.

– Грязный городишко, – сказал пассажир.

А мне он казался таким красивым.

Отец остановил машину перед красным светофором на пересечении сто двадцать второго шоссе и трамвайных путей. Справа пути уходили на бетонный мост через Скачущую Лошадь, за которым, собственно, и начинался Олтон. А влево – три мили до Олинджера и еще две до Эли.

– Ничего не поделаешь, – сказал отец. – Придется высадить вас на мороз.

Пассажир открыл дверцу. После того как отец сказал ему про мою кожу, поток его грязных чувств ослабел. Но все же я почувствовал, как он коснулся моего затылка, может быть случайно. Выйдя, бродяга крепко прижал к груди свой сверток. Жидкое лицо его теперь снова затвердело.

– Очень приятно было поговорить с вами, – сказал ему отец.

Пассажир осклабился.

– Угу.

Дверца хлопнула. Загорелся зеленый свет. Сердце у меня забилось ровнее. Мы осторожно въехали на трамвайные пути и двинулись навстречу потоку машин, кативших в Олтон. Обернувшись, я увидел нашего пассажира сквозь запыленное заднее стекло – он удалялся,

похожий со своим свертком на рассыльного. Вскоре он стал крошечным коричневым пятнышком у въезда на мост, взлетел над землей, исчез. Отец сказал как ни в чем не бывало:

– Этот человек джентльмен.

Во мне медленно закипала злость; и я хладнокровно решил пилить отца до самой школы.

– Скажите, какое великодушие, – начал я. – Скажите пожалуйста. Торопился, не дал мне даже несчастный завтрак проглотить и вот посадил какого-то паршивого бродягу, сделал ради него крюк в три мили, а он даже спасибо не сказал. Теперь-то уж мы как пить дать опоздаем. Я уже вижу, как Зиммерман смотрит на часы и бежит по коридорам, тебя ищет. В самом деле, папа, хоть бы раз ты обошелся без глупостей. Сдались тебе эти бродяги. Значит, это я виноват – не будь меня, ты сам стал бы бродягой? Флорида! Да еще про кожу мою ему рассказал. Удружил, вот уж спасибо. Ты бы еще заставил меня рубашку скинуть. Да заодно и струпья на ногах ему показать. С какой стати выбалтывать все встречному и поперечному? Как будто этому бродяге есть до меня дело – ему бы только собак убивать да сопеть людям в затылок. Господи, белые ступеньки Балтимора! Ну скажи, папа, о чем ты только думаешь, когда язык распускаешь?

Но нельзя долго ругать человека, если он ни слова в ответ. Вторую милю до Олинджера мы оба проехали молча. Он нажимал, боясь опоздать, обгонял целые колонны автомобилей и мчал прямо по трамвайным путям. Когда колеса скользили по рельсам, руль вырывался у него из рук. На его счастье, доехали мы быстро. Когда мы проезжали мимо доски, с которой «Львы», «Ротарианцы», «Кивани» и «Лоси» &lt;названия американских клубов&gt; все в один голос приглашали: «Добро пожаловать в Олинджер», отец сказал:

– Ты, Питер, не беспокойся, что он про твою кожу узнал. Он забудет. Уж кому, как не учителю, это знать: люди все забывают, что им ни скажи. Я каждый божий день смотрю на тупые физиономии и вспоминаю о смерти. Никакого следа не остается в головах у этих ребят. Помню, когда мой старик понял, что умирает, он открыл глаза, посмотрел с кровати на маму, на Альму, на меня и сказал: «Как вы думаете, меня навеки забудут?» Я часто об этом вспоминаю. Навеки. Ужасно, когда священник говорит такое. Я тогда перепугался насмерть.

Когда мы подъехали к школе, последние ученики гурьбой вваливались в двери. Видно, звонок уже был. Я взял свои учебники и, вылезая из машины, оглянулся на заднее сиденье.

– Папа! – крикнул я. – Перчатки пропали!

Отец уже отошел от машины. Он обернулся, провел бородавчатой рукой по голове и стянул с нее синюю шапочку. Волосы у него взъерошились.

– А? Значит, их взял этот паршивец?

– Больше никому. Здесь их нет. Только трос и карта.

Отец вмиг примирился с этой новостью.

– Что ж, – сказал он, – ому они нужнее, чем мне. Бедняга, наверное, сам не знает, как это у него вышло.

И пошел дальше, меряя бетонную дорожку широкими шагами. Я не мог его нагнать, потому что едва удерживал рассыпавшиеся учебники, и все больше отставал, а в животе у меня, там, где я прижимал к нему учебники, чувствовалась неприятная тяжесть оттого, что отец пренебрежительно отнесся к моему подарку, который так дорого стоил и так нелегко мне достался. Отец все отдавал; он собирал вещи и потом разбрасывал их; все мечты о нарядной

одежде и о роскоши тоже достались мне от него, и теперь в первый раз его смерть, хоть и немислимо далекая, как звезды, показалась мне мрачной и страшной угрозой.

3

Хирон, уже запаздывая, быстро шел зелеными коридорами, меж тамарисками, тисами, лаврами и кермесовыми дубами. Под кедрами и серебристыми елями, чьи недвижные кроны сняли олимпийской голубизной, благоухала буйная поросль молодых земляничных деревьев, диких груш, кизила, самшита и портулака, наполняя лесной воздух запахом цветов, соков и молодых ростков. Кое-где цветущие ветви ярким узором вплетались в зыбкие стены зеленых пещер, сдерживавшие его торопливый шаг. Он пошел медленней. И воздушные потоки, окружавшие его высоко поднятую голову, эти его безмолвные, невидимые спутники, тоже замедлили бег. Прогалины, опутанные робкими молодыми побегами и пронизанные быстрой каплей птичьих голосов, которая словно сыпалась с кровли, насыщенной разными элементами (одни голоса были как вода, другие – как медь, иные – как серебро, иные – как полированное дерево или холодный, трепещущий огонь), напоминали ему знакомые с детства пещеры, успокаивали его, он был здесь в своей стихии. Его глаз ученика ибо кто такой учитель, как не взрослый ученик? – находил одиноко притаившиеся среди подлеска базилик, чемерицу, горечавку, молочай, многоножку, брионию, аконит и морской лук. Среди безликого разнотравья он различал по форме цветов, листьев, стеблей и шипов иксию, лапчатку, сладкий майоран и левкой. И когда он их узнавал, растения, словно приветствуя героя, распрямлялись и шелестели.

«Чемерица губительна для лошадей. Желтяница, сколь много ее ни топтать, разрастется еще пуще». Помимо воли Хирон мысленно повторял все, что с малолетства знал о целебных травах.

«Из растений, стрихнинными именуемых, одно вызывает сон, другое повреждает рассудок. Корень первого, из земли извлеченный, бывает бел, высушенный же становится красен, как кровь. Второе иные называют трион, а иные – периттон. Оно три двадцатых унции имеют силу укрепительную, доза, вдвое против того большая, производит бред, втрое же большая порождает неисцелимое помрачение разума. А доза еще большая убийственна. Тимьян растет лишь в тех местах, кои ветрам морским открыты. Коренья его с наветренной стороны выкапывать надлежит».

Сведущие сборщики говорили, что корни пионов можно копать только по ночам, потому что у всякого, кого в этот миг увидит дятел, будет выпадение прямой кишки. Хирон презирал это суеверие; он хотел вывести людей из темноты. Аполлон и Артемида обещали ему свое покровительство. «Вкруг мандрагоры должно мечом тройной круг очертить и копать, лицо обратив к востоку». Бледные губы Хирона улыбнулись над бронзовыми завитками бороды, когда он вспомнил те сложные сомнения, которые презрел в поисках подлинно целебных снадобий. Главное, что надо знать о мандрагоре, – если ее подмешать в пищу, она помогает от подагры, бессонницы, огневицы и полового бессилия. «Корень дикого огурца исцеляет белую порчу и чесотку у овец. Листья дубровника, в оливковом масле истолченные, заживляют переломы костей и гнойные раны; плоды же его очищению желчи способствуют. Многоножка очищает кишки; зверобой, силу свою двести лет сохраняющий, равно и кишки и желудок. Лучшие травы растут на Эвбее, в местах холодных и сухих, к северу обращенных, снадобья из Эз и Телетриона прочих целебней. Растения благовонные, все, кроме ириса,

родом из Азии: кассия, корица, кардамон, нарד, стиракс, мирра, укроп. Ядовитые же растения – местные: чемерица, болиголов, безвременник осенний, мак, лютик; молочай смертелен для собак и свиней; если хочешь узнать, выживет больной или нет, смешай толченый молочай с водой и маслом, а потом, мазью полученной больного натерев, выдержи так три дня. Коль скоро он это выдержать сможет, то наперед останется жив».

Птица у него над головой издала резкий металлический крик, похожий на сигнал. «Хирон! Хирон!» – этот зов взмыл вверх, настиг его и, прозвенев в ушах, бесплотный и радостный, умчался туда, где в конце лесной тропы колыхался косматый, пронизанный солнцем воздушный шатер.

Он вышел на лужайку, где его уже ждали ученики: Ясон, Ахилл, Асклепий и еще с десяток царственных отпрысков Олимпа, отданных на его попечение, среди которых была и его дочь Окироя. Это они звали Хирона. Рассевшись полукружьем на теплой зеленой траве, ученики радостно его приветствовали. Ахилл поднял голову от кости лани, из которой он высасывал мозг; к подбородку его прилипли восковые крошки пчелиных сот. Красивое тело юноши было слишком полным. Широкие белые плечи прозрачной мантией облекала женственная округлость, которая придавала его развитой фигуре некоторую тяжеловесность и гасила его глаза. Голубизна их была с прозеленью; взгляд – испытующ и вместе с тем уклончив. Ахилл доставлял своему учителю больше всего хлопот, но он же больше всего нуждался в одобрении и любил его не так робко, как остальные. Ясон, которого кентавр недолюбливал, хрупкий, на вид совсем еще юный, держался вызывающе, и в его черных глазах сквозила спокойная решимость все выдержать. Асклепий, лучший его ученик, был тих и подчеркнuto сдержан; во многом он уже превзошел учителя. Исторгнутый из чрева неверной Корониды, сраженной стрелой, он тоже рос без матери, под покровительством далекого божественного отца; Хирон обращался с ним не как с учеником, а скорее как с коллегой, и во время перерывов, пока другие весело играли, они вдвоем, умудренные сердцем, углублялись в тайны познания.

Но особенно нежно ласкал взгляд Хирона золотисто-рыжие волосы дочери. Сколько в ней жизни, в этой девочке! Волосы вились и сплетались, словно гривы табуна, на который глядишь с высоты. Это его жизнь, на которую глядишь с высоты. В ней его плазма обрела бессмертие. Он задержал взгляд на ее головке, уже женственной, своенравной; это его семя – эту резвую, норовистую девчонку, длинноногую и лобастую, Харикло когда-то кормила грудью, лежа рядом с ним на мху, а над устьем пещеры шептались звезды. Девочка была слишком умна, и это омрачило ее детство; она часто выходила из себя, огорчая родителей, которые души в ней не чаяли. Для Окирои еще мучительней, чем для ее отца, был дар предвиденья, а против этого все его снадобья, даже всеисцеляющий корень, вырытый в полночь самой короткой ночи в году из каменистой почвы близ Псофиды, были бессильны; и как бы злобно и жестоко ни насмеялась она над ним, он не сердился и все смиренно сносил, только бы она простила ему, что он не может облегчить ее терзания.

Каждый из детских голосов в хоре приветствий был окрашен для него в свой цвет. Многозвучие складывалось в радугу. Глаза его увлажнились слезами. Каждый день дети начинали занятия гимном Зевсу. Они стояли перед кентавром в своих легких одеждах, и тела их еще не приняли форму клинков или сосудов, чтобы разить или вмещать, служить орудием Арея или Гостию; они все были одинаковы, хотя и разного роста: тонкие, бледные тростинки, единой свирелью согласно возносящие гимн богу истинного бытия:

Властитель небес,

Повелитель громов,

Пресветлый Зевс,  
Услышь нашу песнь!  
Ниспошли благодать нам,  
О тучегонитель,  
Нам даруй прилежанье,  
О источник дождя!

Легкий, порывистый ветерок подхватывал и разносил пение – так развеваются порой шарфы на плечах у девушек.

Ты светлее света,  
Ты ярче солнца,  
Ты глубже Аида  
И бездоннее моря.  
Нас исполни гармонией,  
Слава тверди небесной,  
Дай нам расцвести!

Серьезный голос кентавра неуверенно присоединился к последнему молению:

О пресветлый Зевс,  
Ты радость всех смертных,  
На тебя уповаем,  
Пред тобою трепещем.  
Пошли знаменье нам,  
Свою милость яви,  
Свою волю открой,  
Отзовись, отзовись!

Они умолкли, и слева от лужайки, над кронами деревьев, прямо против солнца, взмыл черный орел. На миг Хирон испугался, но потом понял, что орел взлетел хоть и слева от него,

зато справа от детей. Справа и вверх: двойной знак милости (Но от него – слева.) Ученики благоговейно вздохнули и, когда орел исчез в радужном нимбе солнца, взволнованно зашумели. Он обрадовался, заметив, что даже на Окирою это произвело впечатление. В ту минуту ничто не омрачало ее лица; блеск ее волос слился с сиянием глаз, и она стала самой обыкновенной веселой и беззаботной девочкой. Благочестие было чуждо ей от рождения, она утверждала, что провидит день, когда люди станут смотреть на Зевса как на игрушку, которую они сами выдумали, жестоко насмеются над ним, низвергнут с Олимпа на скалы и объявят преступником.

Солнце Аркадии грело все жарче. Птичье пение над лужайкой примолкло. Хирон чувствовал всем своим существом, как радостно впивают тепло оливы на равнине. В городах молящиеся, поднимаясь по белым ступеням храмов, ощущали босыми ногами горячий мрамор. Он отвел учеников в тень развесистого каштана, который, как говорили, посадил сам Пеласг. В огромном стволе могла бы поместиться пастушья хижина. Мальчишки торжественно расселись среди корней, словно среди тел поверженных врагов; девочки скромно, в непринужденных позах, опустили на мох. Хирон глубоко вздохнул; сладкий, как мед, воздух распирал его грудь; ученики давали кентавру ощущение завершенности. Они нетерпеливо поглощали его мудрость. Холодный хаос знаний, хранившийся в нем и теперь извлеченный на солнце, окрашивался юными радостными красками. Зима превращалась в весну.

– Наша тема сегодня, – начал он, и лица, рассыпанные в густо-зеленой тени, как лепестки после дождя, разом притихли, внимая, – происхождение всего сущего. Вначале, – продолжал кентавр, – чернокрылая Ночь, оплодотворенная Ветром, отложила серебряное яйцо во чреве тьмы. Из этого яйца вылупился Эрос, что значит...

– Любовь, – подсказал юный голос из травы.

– А Любовь привела в движение Вселенную. Все рождено ею – солнце, луна, звезды, земля с горами и реками, деревья, травы, живые существа. Златокрылый Эрос был двуполым и четырехглавым, иногда он ревел, как бык или лев, иногда шипел, как змея, или блеял, как баран. Под его властью в мире царил гармония, словно в пчелином улье. Люди жили без забот и труда, питались только желудями, дикими плодами и сладким соком деревьев, пили молоко овец и коз, никогда не старели, много танцевали и смеялись. Умереть для них было не страшнее, чем уснуть. А потом скипетр перешел к Урану...

4

После уроков я поднялся к отцу в двести четвертый класс. Там были двое учеников. Я, бросив на них недружелюбный взгляд, прошел в своей великолепной красной рубашке к окну и стал глядеть в сторону Олтона. В тот день я поклялся себе защищать отца, а эти двое, задерживая его, оказались первыми врагами, которых я встретил. Это были Дейфендорф и Джуди Ленджел. Дейфендорф говорил:

– Ну, я понимаю, в мастерской работать или на машинке учиться печатать и всякое такое, мистер Колдуэлл, но если человек, вот как я, и не собирается поступать в колледж, какой ему смысл зубрить названия животных, которые вымерли миллион лет назад?

– Никакого, – сказал отец. – Ты прав на все двести процентов; кому какое дело до вымерших

животных? Вымерли – ну и шут с ними, вот мой девиз. Они у меня у самого в печенках сидят. Но раз я нанялся преподавать этот предмет, так и буду его преподавать, куда ноги не протяну. Тут либо твоя возьмет, Дейфендорф, либо моя, и, если ты не уймешься, я тебя прикончу, пока ты меня не прикончил: голыми руками задушу, если придется. Я борюсь за свою жизнь. У меня жена, сын и старик тесть, их кормить надо. Я тебя прекрасно понимаю: мне самому куда приятней было бы пойти погулять. Жалко мне тебя, разве я не вижу, как ты мучаешься?

Я засмеялся, стоя у окна; хотел этим поддеть Дейфендорфа. Я чувствовал, что он опутывает отца, вытягивает из него жилы. Эти безжалостные мальчишки всегда так. Сперва доведут до бешенства (на губах у него буквально выступала пена, глаза были колючие, как алмазики), а через какой-нибудь час являются к нему, откровенничают, ищут совета, ободрения. А только выйдут за порог – снова над ним издеваются. Я нарочно стоял к ним спиной, пока продолжался этот гнусный разговор.

Из окна мне была видна лужайка, где осенью репетировал школьный оркестр и девушки хором разучивали приветствия спортсменам, рядом – теннисные корты, каштаны вдоль дороги к богадельне, а вдали синеву горизонта горбила Олтонская гора, вся в шрамах каменоломен. Трамвай, полный пассажиров, которые возвращались из Олтона с покупками, поблескивая, показался из-за поворота. Ученики, жившие в стороне Олтона, ждали на остановке, пока подойдет встречный. Внизу, по бетонным дорожкам, которые, начинаясь у двери женской раздевалки, огибали школу – чтобы лучше видеть, я прижался носом к ледяному стеклу, – парами и по три расходились девочки, крошечные, расчерченные квадратиками клетчатой ткани, меха, книг и шерсти. От их дыхания шел пар. Голосов мне слышно не было. Я искал глазами Пенни. Весь день я избегал ее, потому что подойти к ней значило бы для меня предать родителей, которые теперь, по непостижимой, возвышенной причине, особенно нуждались во мне.

– ...один я, – говорил Дейфендорф моему отцу. Голос у него был писклявый. Этот тонкий голос поразительно не подходил к его статному, сильному телу. Я часто видел Дейфендорфа голым в раздевалке. У него были короткие толстые ноги, покрытые рыжеватыми волосами, широкий, упругий торс, покатые лоснящиеся плечи и длинные руки с красными кистями-лодочками. Он был хороший пловец.

– Это верно, не один, не один ты, – согласился отец. – Но все-таки, Дейфендорф, ты, я бы сказал, хуже всех. Я бы сказал, ты в этом году самый непослушный.

Он произнес это безразличным тоном. За многие годы работы в школе он научился совершенно точно определять такие вещи, как послушание, способности, спортивные данные.

Среди девочек Пенни видно не было. Дейфендорф у меня за спиной молчал, удивленный и, кажется, даже обиженный. У него была одна слабость. Он любил моего отца. Как ни горько мне вспоминать, этот грубый скот и мой отец были искренне привязаны друг к другу. Я возмущался. Возмущался тем, как щедро отец изливал душу перед этим мальчишкой, словно во вздоре, который оба несли, могла оказаться целительная капля здравого смысла.

– Отцы-основатели, – объяснил он, – в своей бесконечной мудрости рассудили, что дети – противоестественная обуза для родителей. Поэтому они создали тюрьмы, именуемые школами, и дали нам орудие пытки, именуемое образованием. В школу вас отдадут, когда родители уже не могут справиться с вами, а идти работать вам еще рано. Я – платный надзиратель за общественными отбросами, за слабыми, хромыми, ненормальными и умственно отсталыми. И я могу дать тебе один-единственный совет: пока не поздно, возьми за ум и выучись чему-нибудь, иначе будешь таким же ничтожеством, как я, и придется тебе идти в учителя, чтобы заработать на жизнь. Когда в тридцать первом году, во

время кризиса, меня вышвырнули на улицу, мне некуда было податься. Я ничего не знал. Бог всю жизнь обо мне заботился, а сам я ни на что не был годен. Племянник моего тестя Эл Гаммел по доброте сердечной устроил меня учителем. Не желаю тебе этого, мальчик. Хотя ты мой злейший враг, я тебе этого не желаю.

Я смотрел на Олтонскую гору и чувствовал, что уши у меня горят. Словно сквозь какой-то изъясн в стекле, я заглянул в будущее и непостижимым образом знал, что Дейфендорф будет учителем. Так было суждено, и он не миновал своей судьбы. Через четырнадцать лет я приехал на родину и в Олтоне, на окраине, встретил Дейфендорфа – он был в мешковатом коричневом костюме, и из нагрудного кармана у него торчали карандаши и ручки, как некогда, в давно забытые времена, у моего отца. Дейфендорф растолстел и заметно облысел, но это был он. Он спросил, осмелился всерьез спросить меня, настоящего абстракциониста средней руки, живущего на чердаке в доме по Двадцать третьей улице с любовницей-негритяжкой, стану ли я когда-нибудь учителем. Я сказал «нет». И тогда он заговорил, серьезно глядя на меня своими тусклыми глазами: «Пит, я часто вспоминаю, что твой отец говорил мне о признании учителя. Это нелегко, говорил он, но ни от чего на свете не получаешь такого удовлетворения. Теперь я сам стал учителем и понял, о чем он говорил. Замечательный он был человек, твой отец. Ты это знал?»

А сейчас своим тонким, писклявым голосом он принялся плести что-то вроде:

– Я вам не враг, мистер Колдуэлл. Я вас люблю. И все ребята любят.

– В этом мое несчастье, Дейфендорф. Для учителя нет ничего хуже. Я не хочу, чтобы вы меня любили. Я только одного хочу: чтоб вы сидели тихо на моих уроках по пятьдесят пять минут в день пять дней в неделю. И еще я хочу, Дейфендорф, чтобы ты дрожал от страха, когдаходишь в мой класс. Колдуэлл Детоубийца – вот как вы должны обо мне думать. Р-р-р!

Я повернулся к ним от окна и засмеялся, решив, что пора вмешаться. Они сидели по разные стороны обшарпанного желтого стола, наклонившись друг к другу, как заговорщики. Отец был бледен, измучен, впалые виски его лоснились; на столе валялись бумаги, жестяные зажимы, пресс-папье, словно наполовину превратившиеся в жаб. Дейфендорф высосал из него последние силы; работа в школе выматывала его. Я это видел, но поделать ничего не мог. Видел по ухмылке Дейфи, что, слушая бурные речи отца, он испытывает чувство собственного превосходства, кажется себе рядом с этой гнилой, но неугомонной развалиной молодым, чистым, красивым, уверенным, спокойным и непобедимым.

Отец, видя, что я злюсь, смутился и оборвал разговор.

– В половине седьмого будь возле спортклуба, – бросил он Дейфендорфу отрывисто.

На вечер были назначены соревнования по плаванию, а Дейфендорф выступал за школьную команду.

– Уж мы не подкачаем, обставим их, мистер Колдуэлл, – пообещал Дейфендорф. – Они зазнались, пора им нос утереть.

За весь год наша команда не выиграла ни одной встречи: Олинджер был самый что ни на есть сухопутный городок. Там не было бассейна, а дно реки у запруды возле богадельни сплошь усеивали битые бутылки. Неисповедимым образом, по воле Зиммермана, который вертел учителями как хотел, отец стал тренером школьной команды пловцов, хотя из-за гржи не мог даже войти в воду.

– Сделай все возможное, больше никому не дано, – сказал отец. – По воде, как по суку, не пойдешь.



Теперь мне кажется, отец хотел, чтобы ему возразил и, во мы все трое сочли за лучшее промолчать.

В классе была еще Джуди Ленджел. Отец считал, что ее старик запугал девочку, требуя от нее больше, чем она могла из себя выжать. Я сомневался в этом. На мой взгляд, Джуди была самая обыкновенная девчонка, не блиставшая ни умом, ни красотой. Она много о себе воображала и мучила легковверных учителей вроде отца. Она воспользовалась молчанием и сказала:

– Мистер Колдуэлл, я хотела спросить насчет завтрашней контрольной.

– Минутку, Джуди.

Дейфендорф уже насытился и хотел уйти. Он только что не рыгал, вставая со стула. Отец спросил:

– Дейфи, а как насчет курения? Если узнают, что ты опять куришь, тебя выгонят из команды.

Тонкий, нелепый голос пискнул с порога:

– Мистер Колдуэлл, да я с осени курева и не нюхал.

– Не лги, мальчик. Жизнь слишком коротка, чтобы лгать. Не менее пятидесяти семи различных людских особей доносили мне, что ты куришь, и если Зиммерман узнает, что я тебя покрываю, он с меня голову снимет.

– Хорошо, мистер Колдуэлл. Я понимаю.

– Мне нужно, чтобы ты сегодня выиграл заплыв брассом и на двести ярдов.

– Будьте спокойны, мистер Колдуэлл.

Я закрыл глаза. Мне было невыносимо слышать, когда отец говорил тоном тренера; это казалось мне недостойным нас. Я был несправедлив; ведь в конце концов именно этого мне и хотелось – чтобы он заговорил, как другие мужчины, нормальным, уверенным тоном, без которого немислим мир. Быть может, меня мучило, что Дейфендорф мог дать отцу нечто ошутимое – выиграть заплыв брассом и на двести ярдов вольным стилем, а я не мог. Стесняясь показывать свою кожу, я не выучился плавать. Водная стихия была мне недоступна, и я влюбился в воздух, строил воздушные замки и называл это Будущим; там я надеялся вознагражить отца за его страдания.

– Ну, Джуди, в чем дело? – сказал он.

– Я не поняла, что вы будете спрашивать.

– Главу восьмую, девятую и десятую, я же сказал на уроке.

– Ой, как много!

– А ты их бегло просмотри, Джуди. Ты ведь девочка умная. Знаешь, как надо заниматься.

Отец быстро открыл книгу – учебник с микроскопом, атомом и динозавром на серой обложке.

– Обращай внимание на то, что напечатано курсивом, – сказал он. – Ну вот, например. Магма. Что такое магма?

– Вы это будете спрашивать?

– Я не могу тебе сказать, что буду спрашивать, Джуди. Это было бы нечестно по отношению к остальным. Но тебе же все равно нужно знать, что такое магма.

– Это которая вытекает из вулканов?

– Что ж, правильно. Магма – это изверженная порода в расплавленном состоянии. Дальше. Назови три типа горных пород.

– А это вы будете спрашивать?

– Я не могу тебе сказать, Джуди. Пойми. Но какие же бывают породы?

– Остаточные...

– Изверженные, осадочные и метаморфизированные. Приведи пример каждой.

– Гранит, известняк и мрамор, – сказал я.

Джуди поглядела на меня с испугом.

– Или базальт, песчаник и сланец, – сказал отец.

Девочка тупо смотрела то на него, то на меня, словно думала, что мы в сговоре против нее. Да так оно и было. В такие счастливые мгновения мы с отцом становились единым целым, маленькой командой из двух человек.

– Хочешь, я расскажу тебе интересную штуку, Джуди? – сказал отец. Самые богатые залежи сланца на Американском континенте находятся по соседству с нами, в Пенсильвании. В округах Лихай и Нортхэмптон. – Од постучал костяшками пальцев по доске у себя за спиной. – Доски, которые висят во всех школах, от побережья до побережья, добыты здесь.

– Но мы это знать не должны, правда?

– Да, в учебнике этого нет. Но я думал, тебе будет интересно. Попробуй заинтересоваться. Забудь про отметки, твой отец это переживет. Не выбивай сама у себя почву из-под ног, Джуди. В твоём возрасте я не знал, что значит быть молодым. А после так и не пришлось узнать. Вот что я тебе скажу, Джуди. У одних есть способности, у других – нет. Но у каждого есть что-нибудь, пусть даже иногда только жизнь. Милосердный бог не для того нас создал, чтобы мы жалели о том, чего у нас нет. Человек с двумя талантами не должен завидовать человеку с пятью. Посмотри на нас с Питером. У меня нет ни одного таланта, а у него десять. Но я на него не в претензии. Я его люблю. Он мой сын.

Джуди открыла рот, и я думал, она сейчас скажет: «А вы будете это спрашивать?»

Но она ничего не сказала. Отец полистал учебник.

– Какие ты знаешь эрозионные агенты? – спросил он.

Она набралась смелости:

– Время?

Отец вскинул голову, как будто его ударили. Под глазами у него были белые мешки, яркий нездоровый румянец исполосовал щеки, словно на них остались следы пальцев после пощечины.

– Признаться, об этом я не думал, – сказал он ей. – Я имел в виду текучие воды, ледники и ветер.

Она записала это в тетрадку.

– Диастрофизм, – сказал он. – Изостазия. Что это значит? Нарисуй схему сейсмографа. Что такое батолит?

– Но вы не будете спрашивать все это?

– Могу и не спросить, – сказал он. – Не думай о вопросах. Думай о Земле... Неужели ты не любишь ее? Неужели не хочешь побольше про нее знать? Изостазия совсем как пояс на большой толстой женщине...

Лицо у Джуди было напряженное. Ее толстые щеки сходились к носу, образуя глубокие и резкие складки, а на кончике носа была третья вертикальная складка. Губы тоже, казалось, были все в складках, и, когда она говорила, челюсти ходили вверх-вниз, как цветок львиного зева.

– А вы будете спрашивать про этот самый, как его... протозон?

– Протозойскую эру? Да-с, сударыня. Такой вопрос вполне возможен: перечислите по порядку шесть геологических эр и укажите их примерную продолжительность. Когда была кайнозойская эра?

– Миллиард лет назад?

– Ты живешь в ней, девочка. Мы все в ней живем. Она началась семьдесят миллионов лет назад. А еще я могу, например, назвать каких-нибудь вымерших животных и попросить вас указать класс, к которому они принадлежат, эру и систему. Например: броненосцы – млекопитающие, кайнозойская эра, третичная система. Эоценовая эпоха, но это вам знать не обязательно. Может быть, тебе самой интересно услышать, что броненосец был очень похож на Уильяма Говарда Тафта, нашего президента в те времена, когда я был в твоём возрасте.

Я видел, как она записала в тетрадке: «Эпох не надо» и обвела эти слова рамкой. Отец все говорил, а она тем временем начала разрисовывать рамку треугольниками.

– Или лепидодендрон – гигантский папоротник, палеозойская эра, пенсильванская система. Или эриопс – это что такое, Питер?

Я понятия не имел.

– Пресмыкающееся, – ляпнул я наугад, – мезозой.

– Земноводное, – поправил он. – Древней. Или археоптерикс, – продолжал он, оживляясь, уверенный, что уж это мы знаем. – Что это, Джуди?

– Как, как? Арха...

– Археоптерикс. – Он вздохнул. – Первая птица. Она была величиной с ворону. Перья ее развились из чешуек. Просмотри таблицы на страницах двести три и двести девять. Главное – спокойно. Просмотри таблицы, запомни то, что записала, и все будет в порядке.

– Я когда уроки учу, меня ужас как тошнит и голова кружится, призналась она, чуть не плача. Лицо у нее было как нераспустившийся бутон, который уже начал увядать. Она была бледная, и вдруг эта ее бледность залила всю комнату, блестящие стены которой отливали медом, собранным в пахнущем сладкой прелью лесу.

– Это у всех так, – сказал отец, и все снова стало на места. – От знаний всегда тошно бывает. Старайся в меру своих сил, Джуди, и спи себе спокойно. Не робей. Пройдет среда, ты

сможешь забыть все это, а там, глядишь, замуж выйдешь, и будет у тебя шестеро детей.

И я не без возмущения понял, что отец, жалея ее, перечислил ей все контрольные вопросы.

Когда она ушла, он встал, закрыл дверь и сказал:

– Бедняжка, у ее отца будет на шее старая дева.

Мы остались вдвоем.

Я отошел от окна и сказал:

– Может, ему этого и хочется.

Я все время чувствовал, что на мне красная рубашка; расхаживая по комнате, я ловил краем глаза ее блеск, и от этого мои слова звучали многозначительно и умно.

– Напрасно ты так думаешь, – сказал отец. – На свете нет ничего ужаснее озлобленной женщины. У твоей матери есть одно достоинство – она никогда не озлобляется. Тебе этого не понять, Питер, по у нас с твоей матерью было много хорошего.

Я не слишком ему верил, но он так это сказал, что мне оставалось только промолчать. Мне казалось, что отец по очереди прощается со всем, что у него было в жизни. Он взял со стола листок голубоватой бумаги и протянул мне.

– Прочти и зарыдай, – сказал он.

Первой моей мыслью было, что это роковой диагноз. У меня упало сердце. «Когда же он успел?» – подумал я.

Но это был всего только одни из ежемесячных отзывов Зиммермана.

## ОЛИНДЖЕРСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА

Канцелярия директора

10.1.47 г.

Учитель – Дж.У.Колдуэлл

Предмет – естествоведение, 10-й класс

Время посещения – 11:05 утра, 8.1.47 г.

Учитель явился на урок с опозданием на двенадцать минут. Застав в классе директора, он не мог скрыть удивления, что было замечено учениками. Невзирая на присутствие учеников, учитель попытался вступить с директором в объяснения, однако последний отказался его выслушать. Тема урока включала возраст Вселенной, звездные величины, происхождение Земли и схему эволюции жизни. Учитель ни в какой мере не старался щадить религиозные чувства учеников. Гуманистическая ценность естественных наук осталась нераскрытой. Один раз учитель едва удержался, чтобы не произнести слово «черт». Беспорядок и шум, поднявшиеся в классе с самого начала урока, непрестанно возрастали. Ученики, видимо,

были плохо подготовлены, и поэтому учитель избрал лекционный метод. За минуту до звонка он ударил одного из учеников по спине стальным прутком. Подобное физическое воздействие является грубым нарушением закона штата Пенсильвания и в случае жалобы со стороны родителей может послужить поводом для увольнения учителя.

Однако следует отметить, что учитель хорошо знает свой предмет и некоторые примеры из повседневной жизни учеников, приведенные им в связи с темой урока, можно считать удачными.

Подпись: Луис М.Зиммерман.

Пока я читал, отец опустил шторы, и по классу растекся полумрак.

– Что ж, – сказал я, – он хвалит твои знания.

– Да ведь худшего отзыва сам черт не придумает. Он, наверное, всю ночь корпел над этим шедевром. Если эта бумажка попадет в школьный совет, меня выгонят и на стаж не посмотрят.

– А кого это ты ударил? – спросил я.

– Дейфендорфа. Эта стерва Дэвис свела беднягу с ума.

– Скажешь тоже – бедняга! Разбил решетку на нашей машине, а теперь тебя еще из-за него могут с работы выгнать. А две минуты назад, вот на этом самом месте, ты ему всю свою жизнь рассказывал.

– Он ничтожество, Питер. И я его жалею. Мы с ним два сапога пара.

Я проглотил зависть и сказал:

– Папа, а ведь отзыв не такой уж плохой.

– Хуже некуда, – сказал он, проходя между партами с палкой, которой задерживают шторы. – Это смерть. И поделом мне. Пятнадцать лет учительствую, и все время так. Пятнадцать лет в аду.

Он взял из шкафа тряпку и пошел к двери. Я еще раз перечитал отзыв, доискиваясь настоящего мнения Зиммермана. Но доискаться не мог. Отец вернулся, намочив тряпку в коридоре у питьевого фонтанчика. Широкими ритмичными движениями, описывая косые восьмерки, он вытер доску. Деловитое шуршание подчеркивало тишину; высоко на стене щелкнули электрические часы, и, повинувшись приказу главных часов из кабинета Зиммермана, стрелка перескочила с 4:17 на 4:18.

– А что это значит – гуманистическая ценность естественных наук?

– Спроси у него, – сказал отец. – Может, он знает. Может, внутри атомного ядра сидит человечек в качалке и читает вечернюю газету.

– А ты в самом деле думаешь, что отзыв прочтут в школьном совете?

– Не дай бог, сынок. Он уже подшит к делу. У меня в совете трое врагов, один друг и еще – сам не знаю кто. Эту миссис Герцог не разберешь. Они-то будут рады от меня избавиться. Вырубить сухостой. Сейчас, после демобилизации, полным-полно бывших военных, и всем нужна работа.

Он бормотал это себе под нос, вытирая доску.

– Может быть, лучше тебе самому уйти? – сказал я.

Мы с мамой часто говорили об этом, но разговор всякий раз заходил в тупик, потому что, как ни клади, выходило, что без отцовского заработка нам не прожить.

– Поздно, – сказал отец. – Слишком поздно. – Он посмотрел на часы. – Ах черт, я и в самом деле опаздываю. Я сказал доку Апплону, что буду у него в половине пятого.

Я помертвел от страха. Отец никогда не лечился. И вот первое доказательство, что его болезнь не выдумка: она, как пятно, проступила наружу.

– Это правда? Ты серьезно к нему собрался?

В душе я молил его сказать «нет».

Он угадал мои мысли, и мы молча стояли, глядя друг на друга, а где-то в зыбком полумраке хлопнула дверца шкафа, свистнул какой-то мальчишка, щелкнули часы.

– Я позвонил ему сегодня, – сказал отец виновато, словно каялся в каком-то грехе. – Просто хочу сходить послушать про то, как он отлично учился на медицинском факультете.

Он повесил мокрую тряпку сушиться на спинку стула, подошел к окну, развинтил точилку для карандашей, я розовый ручеек стружек пролился в мусорную корзину. В классе запахло кедровым деревом, словно курением с алтаря.

– Мне пойти с тобой? – спросил я.

– Не надо, Питер. Иди в кафе, посиди там с друзьями, вот и убьешь время. А через час я за тобой зайду, и поедем в Олтон.

– Нет, я с тобой. У меня нет друзей.

Он взял из шкафа свое кургузое пальтецо, и мы вышли. Он закрыл дверь класса, мы спустились по лестнице и пошли по коридору первого этажа, мимо блестящего стеклянного шкафа со спортивными кубками. Этот шкаф всегда нагонял на меня тоску; в первый раз я увидел его еще ребенком и уже тогда проникся суеверным чувством, будто в каждой серебряной кубке, как в урне, хранится прах усопшего. Геллер, старший уборщик, разбрасывал по полу крошки красного воска и гнал их нам навстречу широкой шваброй.

– Ну вот, день да ночь, сутки прочь, – сказал ему отец.

– Ах, ja &lt;да (нем.)&gt;, – отозвался уборщик. – Живи век, а все глупый челофек.

Геллер был коренастый черноволосый немец, без единого седого волоса, хотя ему уже перевалило за шестьдесят. Он носил пенсне и благодаря этому казался учнее многих учителей. Его голос вслед за голосом отца эхом разнесся из конца в конец пустого коридора, который влажно блестел там, где на пол падал свет из дверей или окон. Я успокоился – ничто столь абсолютное, священное и грозное, как смерть, не может проникнуть в мирок, где взрослые люди обмениваются такими пошлыми фразами. Отец ждал, пока я сбегал к своему шкафчику в боковом крыле, взял куртку и учебники; я надеялся в ближайшие часы урвать время и приготовить уроки, но только ничего у меня не вышло. Вернувшись, я услышал, как отец извинялся перед Геллером за какие-то следы, которые он оставил на полу.

– Нет, – говорил он, – мне очень неприятно отягощать ваш благородный труд. Поверьте, я понимаю, что это значит – поддерживать чистоту в таком свинарнике. Здесь что ни день –

авгиевы конюшни.

– Да чего там. – Геллер пожал плечами.

Когда я подошел, он нагнулся, и швабра словно пронзила его тень. Выпрямившись, он показал нам с отцом на ладони горку сухих продолговатых комочков, чуть побольше обычных соринки, – трудно было сразу понять, что это.

– Семена, – сказал он.

– Кто же принес в школу семена? – удивился отец.

– Может, это от апельсинов? – предположил Геллер.

– Вот так-так, еще одна тайна, – сказал отец с каким-то испугом, и мы вышли на улицу.

День был ясный и холодный, солнце стояло над западной окраиной города, и впереди нас ползли длинные тени. Эти тени слились, и, глядя на них, нас с отцом можно было принять за вздыбленное чудовище о четырех ногах. Шипя и роняя искры, прошел трамвай на запад, в Олтон. Нам тоже в конце концов нужно было туда, но до поры до времени мы двигались против течения. Мы молча пересекли пришкольную лужайку – на каждые два отцовских шага приходилось три моих. На краю тротуара была застекленная доска для объявлений. Объявления писали старшеклассники на уроках рисования у мисс Шрэк; сегодня цветами нашей школы, коричневым с золотом, было нарисовано большое "Б" и написано:

## БАСКЕТБОЛ. ВТОРНИК, 7 ЧАСОВ

Мы перешли кривую асфальтированную улочку, которая отделяла школьный двор от гаража Гаммела. Мостовая здесь была вся в лужицах пролитого масла, которые образовывали острова, архипелаги и континенты, неведомые географам. Мы прошли мимо бензоколонки, мимо опрятного беленького домика, у крылечка которого висел распятый на шпалере бурый скелет куста вьющихся роз; в июне эти розы цвели и в каждом мальчике, проходившем здесь, будили сладкие, словно амброзия, мысли о том, как приятно было бы раздеть Веру Гаммел. А еще через два дома кафе Майнора, в одном кирпичном здании с олинджерской почтой. Два зеркальных окна были рядом; за одним восседала толстуха миссис Пэссифай, окруженная объявлениями о найме на работу и почтовыми инструкциями, продавала марки и выдавала денежные переводы; за другим, среди дыма и юного смеха, Майнор Крец, тоже толстяк, накладывал порции мороженого и готовил лимонные коктейли. Почта и кафе были расположены симметрично. Светло-коричневая мраморная стойка Майнора как в зеркале отражала за перегородкой крытый линолеумом прилавок миссис Пэссифай с решетчатыми окошечками и весами. Ребенком я часто украдкой заглядывал сквозь щелку в заднюю комнату почты, видел полки со стопками писем, сваленные груды серые мешки и почтальонов в синих штанах, которые, сняв фуражки и куртки, разговаривали, как мне казалось, о чем-то очень важном. И еще мне, малышу, казалось, что за дальними перегородками, где сидели старшие ребята, сквозь просветы в дыму можно подсмотреть какую-то сокровенную тайну, строго запретную для меня, как будто ее охранял федеральный закон. Механический бильярд и компостер действовали с одинаковым стуком; и там, где на почте стоял столик с грязным разлохмаченным по краям пресс-папье, несколькими сломанными ручками и двумя пустыми узорчатыми чернильницами, в кафе помещалась витрина, в которой были выставлены на продажу пластмассовые портсигары, поблекшие фотографии Джун Эллисон и Ивонны де Карло в золоченых рамках, игральные карты с котятами, шотландскими терьерами, виллами и лагунами на рубашке и уцененные товары по

29 центов штука: прозрачные игральные кости с грузом внутри, целлулоидные маски – выпученные глаза и оскаленные зубы, стаканы «напейся-не-облейся» и раскрашенный гипсовый собачий кал. Здесь же можно было купить – по пять центов пара – коричневые открытки с фотографиями олинджерского муниципалитета, трамвайной линии в Олтоне, украшенной к рождеству фонарями и фанерными свечами, окрестностей Шейл-хилл, новой водоочистительной станции на Кедровой горе и памятника героям войны, в то время еще деревянного, так как к списку то и дело прибавляли новые фамилии, – потом на его месте поставили невысокий каменный обелиск, на котором стояли уже только фамилии погибших. Здесь можно было купить эти открытки, а рядом, уплатив еще монетку, отправить их; все было так симметрично, вплоть до пятен на полу и труб отопления по противоположным стенам, что в детстве я воображал, будто миссис Пэссифай и Майнор Крец состоят в тайном браке. Ночью и с утра по воскресеньям, когда в окнах было темно, тонкая, подобная зеркалу перегородка между этими двумя людьми исчезала и, наполняя общую кирпичную оболочку дружным, жирным, усталым вздохом, они соединялись.

Здесь отец остановился. В ломком морозном воздухе его ботинки шаркнули, скребя асфальт, а губы задвигались, как у куклы.

– Ну вот, Питер, – сказал он. – Ты ступай к Майнору, а я зайду за тобой, когда док Апплтон меня отпустит.

– Как думаешь, что он скажет?

Искушение было велико. В кафе могла оказаться Пенни.

– Скажет, что я здоров как бык, – ответил отец. – А он мудр, как облезлый старый филин.

– Ты не хочешь, чтобы я с тобой пошел?

– А чем ты мне поможешь, бедняга? Оставайся здесь и не изводи себя понапрасну. Побудь с друзьями, пусть даже они и задирают нос. У меня никогда не было друзей, так что я и представить себе не могу, что это такое.

Моя совесть почти всегда бывала заодно с отцом, и я решился на компромисс.

– Зайду, пожалуй, на минутку, – сказал я. – А потом догоню тебя.

– Не торопись, – сказал он и вдруг повел вокруг себя рукой, словно вспомнив про невидимую публику, перед которой он играл. – Тебе уйму времени надо убить. Мне в твоём возрасте столько времени пришлось убить, по сию пору руки в крови.

Его речь разматывалась бесконечной нитью; мне стало холодно.

Дальше он пошел один и, удаляясь, показался мне стройнее и тоньше. Может быть, все люди кажутся тоньше со спины. Хоть бы ради меня он купил приличное пальто. Я видел, как он вынул из кармана вязаную шапочку и напялил ее на голову; сгорая от стыда, я взбежал по ступеням, толкнул дверь и нырнул в кафе.

Что за лабиринт был у Майнора! Народу полным-полно – не протолкнуться; но лишь немногие из нашей школы заглядывали сюда. У большинства были другие излюбленные места; к Майнору ходили только самые отъявленные головорезы, и мне было приятно, когда я, хотя бы случайно, оказывался в их обществе. Я чувствовал, что в душном полумраке притаилось чудовище, и из ноздрей у него валит дым, а от шкуры веет теплом. Голоса, теснившиеся в этой стадной теплоте, казалось, все говорили об одном и том же, о чем-то, случившемся перед самым моим приходом; в том возрасте мне всегда казалось, что совершенно иной мир, яркий и возвышенный, творит свои мифы рядом, невидимый для меня.



Я протиснулся через толпу, как через створки множества ворот, поставленных вплотную друг к другу. Первая, вторая, третья ниша, и вот, да, вот она. Она.

Скажи мне, дорогая, отчего любимые лица при каждой встрече кажутся обновленными, словно в этот миг мы наново отчеканили их в своем сердце? Как мне описать ее беспристрастно? Она была маленькая, ничем не примечательная. Губы слишком пухлые и вызывающе самодовольные; нос курносый, нервный. Веки, смутно напоминающие негритянские, тяжелые, пухлые, синеватые и неожиданно взрослые при детски удивленных, зеленых, как трава, невинных глазах. Мне кажется, именно в этом несоответствии между губами и носом, глазами и веками, в этой перекрестной бесшумно плещущейся зыби, как на речных перекатах, и таилась для меня вся прелесть; нежная незавершенность черт словно бы делала ее достойной меня. И благодаря этому я всегда находил в ней что-то неожиданное.

Рядом с ней было свободное место. По другую сторону столика сидели двое девятиклассников, парень и девчонка, с которыми она не особенно дружила, эта парочка обнималась и ничего вокруг не замечала. Она загляделась на них, и я, подойдя вплотную, подтолкнул ее локтем.

– Питер!

Я расстегнул куртку, выставив напоказ свою лихую огненную рубашку.

– Дай закурить.

– Где ты был весь день?

– Где только не был. Я тебя видел.

Она ловко вытряхнула душистую сигарету из желто-красного пластмассового портсигара с выдвижной крышечкой. Потом посмотрела на меня зелеными искристыми глазами, и черные, идеально круглые зрачки расширились. Я и не подозревал, мне просто не верилось, что я могу волновать ее. Но это ее волнение было для меня желанным; оно таило в себе блаженство, которого я раньше не знал. Как ребенок тянется к колыбели, моя рука тянулась к ее бедрам. Я закурил.

– Я сегодня тебя во сне видел.

Она отвернулась, словно хотела спрятать вспыхнувший румянец.

– Что же тебе снилось?

– Не совсем то, что ты думаешь, – сказал я. – Мне приснилось, будто ты превратилась в дерево, а я звал тебя: «Пенни, Пенни, вернись!» – но ты не вернулась, и я прижался лицом к стволу.

Она сказала беспечно:

– Какой печальный сон.

– Очень даже печальный. И вообще у меня все печально.

– А что еще?

– Отец думает, что он болен.

– Чем же?

– Не знаю. Может быть, рак.

– Неужели?

От сигареты меня мутило и сладко кружилась голова; я хотел бросить ее, но вместо этого затынулся еще раз, так, чтобы Пенни видела. Перегородка шатнулась ко мне, а двое напротив нас принялись стучаться лбами, как пара ошалевших баранов.

– Милый, – сказала мне Пенни. – Скорей всего, твой отец здоров. Не такой уж он старый.

– Ему пятьдесят, – сказал я. – В прошлом месяце исполнилось. А он всегда говорил, что не доживет до пятидесяти.

Она нахмурилась, моя бедная, глупенькая девочка, подыскивая слова, чтобы утешить меня, а ведь я-то всегда с бесконечной изобретательностью избегал утешения. Наконец она сказала:

– Твой отец такой смешной, не может он умереть.

Она училась в девятом классе и видела его только после уроков, в зале для самостоятельных занятий; но, конечно, отца знала вся школа.

– Все умирают, – сказал я.

– Да, но не скоро.

– И все же когда-то это должно случиться.

Проникнуть в эту тайну глубже мы не могли, оставалось только вернуться назад.

– А у доктора он был? – спросила она, и ее бедро под столом безразлично, как порыв ветра, коснулось моего.

– Сейчас он как раз у доктора. – Я переложил сигарету в правую руку, а левую небрежно опустил вниз, как бы для того, чтобы почесать колено. – Мне надо бы с ним пойти, – сказал я, мысленно любуясь своим профилем: губы сложены трубочкой, выпуская струю дыма.

– Зачем? Что тебе там делать?

– Не знаю. Ободрить его. Или хоть быть рядом.

Просто и естественно, как вода течет сверху вниз, моя рука скользнула по ее колену. Юбка на ней была мохнатая, как шкура фавна.

Как ни старалась она скрыть это, от моего прикосновения ее мысли смешались. Она сказала заплетающимся языком, как пьяная:

– Как ты можешь? Ты ведь его сын.

– Знаю, – сказал я поспешно, стараясь показать ей, что мое прикосновение было просто случайностью, нечаянной и невинной. Я утвердился на завоеванной территории, растопырив пальцы и прижимая ладонь к податливой тверди. – Но я у него единственный сынишка. – И оттого, что я произнес это отцовское слово, он как будто встал перед нами; его прищуренные глаза и беспокойная сутуловатая фигура маячили совсем рядом в зыбком воздухе. – Ему больше и поговорить не с кем.

– Не может быть, – сказала она едва слышно, и голос ее был гораздо нежнее слов. – У твоего отца сотни друзей.

– Нет, – сказал я. – Нет у него друзей, и они ему не нужны. Он сам мне сегодня сказал.

И с той же пытливой робостью, которая моего отца заставляла в разговорах с незнакомыми людьми переходить пределы простой вежливости, моя рука, став огромной, охватила все тайное изобилие ее тела, так что пальцы коснулись сокровенной впадины и мизинец сквозь мохнатую ткань юбки ощутил шелковистую, священную развилину.

– Не надо, Питер, – сказала она все так же тихо, и ее холодные пальцы, обхватив мою руку, положили ее обратно ко мне на колено. Я хлопнул себя по колену с довольным вздохом. О таком я не смел и мечтать. И поэтому мне показалось никчемным и ханжески распутным, когда она добавила шепотом: Здесь столько народу.

Как будто целомудрие нуждалось в оправдании; как будто, будь мы одни, земля взметнулась бы и сковала мои руки.

Погасив сигарету, я сказал:

– Мне нужно идти к нему. – И спросил:

– Ты молишься?

– Богу?

– Да.

– Да.

– Помолишься за него? За моего отца.

– Ладно.

– Спасибо. Ты хорошая.

Мы оба были удивлены собственными словами. Я думал, не совершил ли я кощунства, воспользовавшись именем божьим, чтобы еще глубже проникнуть в сердце этой девушки. Нот, решил я, когда она обещала помолиться, мне действительно стало легче. Вставая, я спросил:

– Придешь завтра на баскетбол?

– Отчего же не прийти.

– Занять тебе место?

– Если хочешь.

– А ты мне займи.

– Ладно. Питер!

– А?

– Ты себя не изводи. Не думай, что во всем ты виноват.

Одноклассники Пенни, сидевшие напротив нас, Бонни Леонард и Ричи Лора, перестали ошалело подталкивать друг друга. Ричи вдруг крикнул, торжествуя и издеваясь:

– Эй ты, Пит Бисквит!

Бонни засмеялась идиотским смехом, и в кафе, где я только что чувствовал себя в такой безопасности, зароились злобные слова, норовя ужались меня прямо в лицо. Старшие мальчишки, которые щеголяли синими кругами под глазами, как у взрослых, кричали мне: «Эй, Бисквит, как там твой старик? Как Джордж Ржаной Корж?» Тот, кто учился у моего отца, уже никогда не забывал его, но все воспоминания изливались в насмешках. Они старались заглушить угрызения совести и любовь к нему, обрушиваясь на меня, маленького хранителя мифа. Я этого терпеть не мог, и все же это придавало мне вес; то, что я был сыном Колдуэлла, поднимало меня над безликой массой младших ребят, и благодаря отцу я что-то значил в глазах этих титанов. Нужно было только слушать и растягивать губы в улыбке, когда они ударялись в сладостно-жестокие воспоминания:

– Бывало, ляжет на пол в проходе и орет: «Ну что же вы, валяйте, ходите по мне, все равно топчете!..»

– ...а мы шестеро набили карманы каштанами...

– ...за семь минут до звонка все встали и как один уставились на него, будто у него ширинка расстегнута...

– Ей-богу, век не забуду...

– Одна девчонка с задней парты сказала, что ей не видна запятая в десятичной дроби... Тогда он подошел к окну, захватил горсть снега с подоконника, сделал снежок... и как вlepит прямо в доску... «Теперь видишь?» – говорит.

– Да, вот это фигура!

– У тебя знаменитый отец, Питер.

Испытание всегда кончалось такой похвалой, и она была бальзамом на мою душу. Я приходил в восторг, слыша ее от этих здоровенных головорезов, которые курили в уборных, ездили в Олтон пить самогонный виски и в Филадельфию в публичные дома, к негритянкам. Заискивающая улыбка застыла на моем лице, а они вдруг с презрением отвернулись от меня. Я пошел к двери. За одним столиком кто-то кричал петухом. Музыкальный автомат голосом Дорис Дэй пел «Сентиментальное путешествие». У дальней стены раздавались дружные восхищенные возгласы, и механический бильярд негодующе звякал, раз за разом отсчитывая бесплатную игру. Я оглянулся и сквозь сутолоку увидел, что играет Джонни Дедмен; невозможно было не узнать его широкие, чуть оплывшие плечи, поднятый воротник канареечно-желтой вельветовой куртки, причудливую копну давно не стриженных волос, торчавших на затылке лоснящимся хвостиком. Джонни Дедмен был одним из моих кумиров. Он остался на второй год, но зато в совершенстве умел проделывать все бессмысленные чудеса, требовавшие ловкости, – прекрасно танцевал под джаз, без промаха попадал в лузу механического бильярда, ловил на лету ртом соленые орешки. По списку он сидел рядом со мной в зале для самостоятельных занятий и научил меня кое-каким штукам, например щелкать, оттягивая щеку пальцем, но все равно у меня это никогда не получалось так громко, как у него. Он был неподражаем, не стоило и пробовать. Лицо у него было розовое, как у младенца, со светлым пушком на верхней губе; он был совершенно чужд тщеславия и хулиганил без злого умысла, просто так. Правда, у него был привод в полиции: однажды в Олтоне, шестнадцатилетним мальчишкой, он напился пива и ударил полисмена. Но я чувствовал, что он не искал драки, а, скорее, расчетливо приноровился к обстоятельствам, как на танцах принаравливался к шагу партнерши и вертел ее так, что у нее волосы разлетались и щеки пылали. Он всегда попадал в лузу механического бильярда, говорил, что чувствует прицел. Казалось, он сам эту игру изобрел. И действительно, с миром точных знаний его связывали только признанные способности механика. По всем предметам, кроме ручного-труда, он неизменно получал низший балл. В этом было что-то прекрасное, отчего у

меня дух захватывало. И тогда, в пятнадцать лет, не мечтай я так стать Вермеером, я постарался бы стать Джонни Дедменом. Но, конечно, я с унынием чувствовал, что Джонни Дедменом стать нельзя, им надо родиться.

На улице я закутал шею широким воротником куртки и вдоль трамвайной линии зашагал через два квартала к дому дока Апплтона. Трамвай, дождавшись у стрелки встречного, который прошел на запад, в Олтон, когда мы с отцом вышли из школы, катился, полный рабочих в серых комбинезонах и домохозяек, ездивших за покупками на восток, в Эли, крошечный городок, где была конечная станция. В кафе я пробыл минут десять. Я просил Пенни помолиться, а теперь, торопливо идя по улице, молился сам: «Не дай ему умереть, не дай ему умереть, пусть мой отец будет здоров». Молитва была адресована всякому, кто согласился бы слушать; она расходилась кругами, сначала охватила город, потом распространилась до самого горизонта и дальше, за небосвод. Небо над крышами, на востоке, уже стало багровым, но над головой оно было еще синее, как днем; а позади пылал настоящий пожар. Небесная синева – это оптическая иллюзия, но, несмотря на отцовские объяснения в школе, я мог представить ее себе только как наложение слабо окрашенных хрустальных сфер, подобно тому как два почти прозрачных розоватых куска целлофана, сложенные вместе, дают розовый цвет, а если добавить третий кусок, получится малиновый, четвертый – красный и пятый – алый, как в раскаленном горне. Если синий купол над городом – это иллюзия, то насколько же иллюзорней то, что за ним. «Пожалуйста», – добавил я к своей молитве, как ребенок, которому об этом напомнили.

Дом дока Апплтона, на передней половине которого помещались его кабинет и приемная, был желтый, оштукатуренный и стоял на зеленом пригорке за каменной оградой чуть пониже моего роста. Лестницу по обе стороны украшали два каменных столба с большими цементными шарами наверху – украшение, обычное в Олинджере, но редкое, как я потом убедился, в других городах. Когда я взбежал по пологой дорожке к подъезду, во всех окнах города загорелись огни – так на полотне, если чуть углубить тень, рядом все краски сразу светлеют. В этот миг была перейдена широкая полоса, отделяющая день от ночи. «Дверь не заперта, звоните и входите не дожидаясь». Так как я пришел не на прием, то звонить не стал. Я почему-то вообразил, что, если позвонить, доктору перестанут верить и его счета не будут оплачивать, как чеки, когда на счете нет денег. У порога лежал плетеный половик, а рядом стояла большая гипсовая подставка для зонтов, украшенная нелепым узором из осколков цветного стекла. Над подставкой висела кошмарная темная гравюра с изображением какой-то жестокой античной сцены. Ужас толпы был так нарочито преувеличен, воздетые руки и разинутые рты очерчены так напряженно, общее впечатление так угнетающе и мертво, что я никогда не мог сосредоточиться на главном и понять, что же там все-таки изображено – кажется, телесное наказание. Я отвернулся, как будто увидел порнографическую картинку, но в глаза мне успела броситься жирная линия кнут? – извивавшаяся на фоне храма, набросанного тонкими, как паутина, линиями, чтобы создать перспективу. Неизвестный художник кропотливо, час за часом теряя невозвратимое время, с подлинным искусством и любовью трудился над этой безобразной, запылившейся, потемневшей и никого не трогающей гравюрой, и она словно была мне предостережением, которому я не хотел внять. Я прошел направо, в приемную дока Апплтона. Там по стенам и посередине, вокруг стола, стояла мебель старого дуба, обитая черной растрескавшейся кожей, а на столе валялись потрепанные номера «Либерти» и «Сатердей ивнинг пост». Трехногая вешалка, как тощая ведьма, сердито глядела из угла, а на полке над ней стояло воронье чучело, серое от пыли. В приемной никого не было; через приоткрытую дверь кабинета я услышал голос отца:

– Может, это гидра отравляет меня своим ядом?

– Минутку, Джордж. Кажется, кто-то пришел.

Лысая совиная голова доктора с широким желтоватым лицом просунулась в дверь.

– А, Питер, – сказал он, и в мрачной атмосфере дома, как солнечный луч, блеснула добрая, умная улыбка этого старика.

Когда я родился, док Апплтон принимал меня, но я помню его только с третьего класса – родители тогда ссорились, я страдал, из школы приходил запуганный старшими ребятами, осмеянный, потому что от волнений красная сыпь выступала на лице, а потом слег с простудой, которая никак не проходила. Мы были бедны и врача вызвали не сразу. Вызвали только на третий день, когда температура не упала. Помню, я сидел на родительской двухспальной кровати, и под спину мне были подоткнуты две подушки. Обои, столбики кровати, книжки с картинками на одеяле – все казалось мягким и податливым, как это бывает в лихорадке, и сколько я ни вытирал слезы и не глотал слюну, во рту было сухо, а глаза оставались мокрыми. Вдруг под быстрыми уверенными шагами закрипела лестница, и вслед за мамой вошел толстый человек в коричневом костюме и с толстым коричневым чемоданчиком. Он посмотрел на меня, повернулся к маме и резким, грубоватым голосом спросил:

– Что вы сделали с ребенком?

У дока Апплтона было две редкие особенности: сестра-близнец и псориаз, как у меня. Его сестра, Эстер Апплтон, вела у нас в школе латынь и французский. Это была робкая, располневшая старая дева, ростом пониже брата и седоволосая, тогда как сам он давно облысел. Но у них были одинаковые короткие крючковатые носы, и вообще сходство сразу бросалось в глаза. В детстве мысль, что этих двух солидных пожилых людей мать родила обоих сразу, всегда казалась мне невероятной, и оба они поэтому были для меня отчасти все еще детьми. Эстер жила здесь же, вместе с доктором. Когда-то он был женат, но его жена умерла или исчезла много лет назад при загадочных обстоятельствах. У него был сын Скиппи, на несколько лет старше меня, тоже единственный; он был учеником моего отца, а потом уехал учиться на хирурга куда-то на Средний Запад, не то в Чикаго, не то в Сент-Луис, не то в Омаху. Таинственную тень, окружавшую судьбу матери Скиппи, еще более сгущало то, что док Апплтон не принадлежал ни к одной церкви, ни к реформатской, ни к лютеранской, и, как говорили, вообще ни во что не верил. Про эту третью его особенность я знал по слухам. Вторую, псориаз, мне открыла мама; до моего рождения эта мерзкая болезнь была только у них двоих. Поэтому, сказала мама, он не стал хирургом, ведь стоило бы ему закатать рукава и открыть розовые струпья, как больной в ужасе крикнул бы с операционного стола: «Врачу, исцелися сам!» Мама жалела об этом, потому что, по ее мнению, талант дока Апплтона заключался в его руках, и ему бы не диагнозы ставить, а оперировать. Она часто рассказывала мне, как он вылечил ее от хронической болезни горла одним умелым мазком ватного тампона на длинной палочке. Видимо, когда-то она была равнодушна к доку Апплтону.

А сейчас его бледное круглое лицо склонилось надо мной в полумраке приемной, и он, прищурясь, рассматривал мой лоб. Он сказал:

– Кожа у тебя как будто чистая.

– Да, пока куда ни шло, – сказал я. – Хуже всего будет в марте и в апреле.

– На лице почти ничего не заметно, – сказал он.

А я-то думал, на лице совсем ничего нет. Он взял меня за руки – я почувствовал ту же уверенную хватку, которую когда-то чувствовала мама, и осмотрел мои ногти при свете, сочившемся из кабинета.

– Да, – сказал он. – Следы есть. А грудь как?

– Скверно, – сказал я, боясь, что он вздумает меня осматривать.

Он моргнул тяжелыми веками и выпустил мои руки. Он был в жилете, без пиджака, рукава рубашки выше локтей охватывали черные резинки, похожие на узкие траурные ленточки. Цепочка от часов золотой дугой, как маятник, покачивалась у него на животе, поверх коричневого жилета. На шее висел стетоскоп. Он включил свет, и люстра из коричневого и оранжевого стекла на черном металлическом каркасе пролила на заваленный журналами стол лужицы света.

– Ты, Питер, посиди здесь, почитай, а я пока кончу с твоим отцом.

Из кабинета раздался серьезный голос отца:

– Пускай мальчик войдет, док: я хочу, чтобы он слышал ваш приговор. Моя судьба – это его судьба.

Я вошел робко, боялся, что отец голый. Но он был одет и сидел на краю маленького жесткого стула с немецким трафаретным узором. Здесь, в ярко освещенном кабинете, мне показалось, что его лицо побелело от боли. Кожа на лице одрябла; в углах губ, искривленных улыбкой, выступила слюна.

– Что бы ни ждало тебя в жизни, мальчик, – сказал он мне, – надеюсь, тебе никогда не придется свести знакомство с ректоскопом. Б-р-р!

– Уф, – запыхтел док Апплтон и тяжело опустился за письменный стол во вращающееся кресло, сделанное для него словно по мерке. Его короткие толстые руки с ловкими белыми пальцами привычно и уверенно легли на резные деревянные подлокотники с завитушками на концах. – Ваша беда, Джордж, сказал он, – в том, что вы никогда не щадили свое тело.

Чтобы не мешать, я сел в сторонке на высокую белую металлическую табуретку возле столика с хирургическими инструментами.

– Вы правы, – сказал отец. – Ненавижу эту уродливую оболочку и сам удивляюсь, как это она служила мне целых пятьдесят лет.

Док Апплтон, сняв стетоскоп с шеи, положил его на стол, и он, изогнувшись, замер, словно убитая резиновая змея. Стол был широкий, старинный, с раздвижной крышкой, и на нем в беспорядке лежали счета, пакетики для пилюль, рецептурные бланки, карикатуры, вырезанные из журналов, пустые склянки, бронзовый нож для разрезания бумаги, синяя коробка с ватой и серебряный зажим в форме «омеги». Кабинет состоял из двух половин – передней, где были письменный стол, стулья, столик с инструментами, весы, таблица для проверки зрения и цветы в горшках, и задней, сокровенной, где за перегородкой из матового стекла хранились на полках лекарства, словно бутылки с вином и кувшины с драгоценностями. Туда доктор удалялся после осмотра больного, а потом выносил несколько пузырьков с сигнатурками, и оттуда всегда шел сложный медицинский запах сахарного сиропа, ментола, аммиака и сушеных трав. Этот целительный запах чувствовался еще в прихожей с половиком, гравюрой и гипсовой подставкой для зонтов. Доктор повернулся к нам в своем кресле, лысина у него была не такая, как у Майнора Креца – у того она была блестящая, шишковатая, морщинистая. А у дока Апплтона череп был гладкий, покатый, чуть тронутый розоватыми крапинками, которые, наверно, только я и замечал, зная, что это псориаз.

Он ткнул в сторону отца большим пальцем.

– Понимаете, Джордж, – сказал он, – вы верите только в душу. А на тело свое смотрите как на лошадь – знай ездь, пока не придет время слезать. Вы заездили себя. Не жалеете свое тело. Это противоестественно. Отсюда нервное перенапряжение.

Табуретка была неудобная, а от философствований дока Апплтона мне всегда становилось неприятно. Я решил, что приговор уже вынесен, и, раз доктор позволяет себе читать эту нудную нотацию, все в порядке. Но все же на душе у меня кошки скребли, и я рассматривал изогнутые зонды и кривые ножницы, словно это были буквы, складывавшиеся в слова. «Ай, ай!» повизгивали они. Среди этих серебристых восклицаний – игл, ланцетов, полированных зажимов – был молоточек, которым бьют по колену, и от этого нога дергается. Молоточек был трехгранный, из твердой красной резины, с блестящей рукояткой, выгнутой, чтобы врачу сподручней было держать. Помнится, в первые разы, когда меня приводили к нему в кабинет, этот молоток особенно привлекал мое внимание. Темно-оранжевая головка, похожая на наконечник стрелы, казалась чем-то древним, как бы пращуром всех остальных инструментов. Он был похож на наконечник стрелы и в то же время на ось, и мне казалось, что он, весь покрытый крошечными вмятинами и трещинками от времени и долгого употребления, опускался в глубь времен и там, простой и весомый, в конце концов становился стержнем Вселенной.

– ...знаете себя, Джордж, – говорил док Апплтон. Его розовая, твердая, по-детски круглая ладонь предостерегающе поднялась. – Сколько лет вы учительствуете?

– Четырнадцать, – ответил отец. – Меня уволили в конце тридцать первого, и весь тот год, когда родился мальчик, я был безработным. Летом тридцать третьего Эл Гаммел, вы же знаете, он племянник Папаши Крамера, пришел к нам и предложил...

– Любит твой отец свою работу? А, Питер?

Я не сразу сообразил, что это он меня спрашивает.

– Не знаю, – сказал я. – Иногда мне кажется – да. – Но, подумав, добавил:

– Нет, пожалуй, не любит.

– Все бы ничего, – сказал отец, – если б я знал, что от этого есть какой-то толк. Но я не умею поддерживать дисциплину. Мой отец, бедняга, тоже не умел.

– Вы не учитель, – сказал ему док Апплтон. – Вы сами ученик. Отсюда и нервное напряжение. А от нервного напряжения – излишек желудочного сока. Значит, Джордж, симптомы, о которых вы говорили, может дать обыкновенный колит. Постоянное раздражение пищеварительного тракта вызывает боль и ощущение наполненности в заднем проходе. Так что, пока не сделан рентген, на этом и остановимся.

– Я готов и дальше тянуть эту бессмысленную ляжку, – сказал отец, – мне бы только знать, для чего все это? Кого ни спрошу, никто не может мне ответить.

– А Зиммерман что говорит?

– Ничего он не говорит. Ему на руку, когда человек не знает, на каком он свете. Он-то умеет поддерживать дисциплину, а мы, бедняги, его подчиненные, не умеем, вот он над нами и смеется. У меня его смех все время в ушах стоит.

– У нас с Зиммерманом всегда были разные взгляды, – сказал док Апплтон и вздохнул. – Вы ведь знаете, мы в одном классе учились.

– Нет, не знаю.

Отец покривил душой. Даже я это знал, не раз слышал от дока Апплтона. Он не мог говорить о Зиммермане спокойно. Это было его больным местом. Отцовская покорность меня взбесила – слушай теперь длинную, жеваную-пережеванную историю.



– Как же, – сказал док Апплтон, хлопая глазами от удивления, что отец не знает общеизвестного, – всю олинджерскую школу вместе прошли, от первого класса до последнего. – Он откинулся в своем как по мерке сделанном кресле. – Когда мы родились, наш городок назывался не Олинджер, а Тилден, в честь этого человека, которого так бессовестно прокатали на выборах. Старик Олинджер еще владел всей землей к северу от нынешней трамвайной линии и к востоку с того места, где теперь картонажная фабрика. Помню, видел я, как он ехал на лошадах в Олтон, маленький такой старикашка, не выше пяти футов ростом, в черной шляпе и с огромными усищами, ими в пору столовое серебро чистить. У него было три сына: Кот, который раз ночью свихнулся и убил мотыгой трех бычков, Брайн, тот, что прижил ребенка с их поварихой-негритянкой, и Гай, младший, – этот продал землю перекупщикам и умер от того, что слишком уж усердно старался промотать денежки. Кот, Брани и Гай – все они уже в землю легли. Так о чем это я?

– О Зиммермане и о себе, – подсказал я.

Мое дерзкое нетерпение не укрылось от него; он взглянул на меня мимо головы отца и задумчиво скривил нижнюю губу.

– Да, – сказал он и продолжал, обращаясь к отцу. – Так вот, мы с Луисом учились вместе, а классы в то время были разбросаны по всему городу. Первый и второй занимались за Пebbл-крик, где теперь стоит новый передвижной ресторан, третий и четвертый – в сарае у миссис Эберхард, который она сдавала городу за доллар в год, а пятый и шестой – в каменном доме на Черном Поле, как его тогда называли, потому что там был жирный чернозем, за бывшим ипподромом. По вторникам, когда бывали скачки, нас отпускали с уроков, потому что нужны были мальчики – чистить лошадей и выводить их на дорожку. А когда я кончил шестой класс, построили среднюю школу на углу Элм-стрит. Нам тогда это казалось бог весть какой роскошью. Теперь, Питер, там начальная школа, где ты учился.

– А я и не знал, – сказал я, стараясь загладить свою недавнюю грубость.

Док Апплтон, видимо, был доволен. Он так откинулся назад в своем скрипучем кресле, что его сморщенные высокие ботинки едва касались носками потертого ковра.

– Луис М.Зиммерман, – продолжал он, – был на месяц старше меня. Он всегда имел успех у женщин. Миссис Метцлер, наша учительница в первом и втором классе, – росту в ней было никак не меньше шести футов, а ноги тонкие, как жерди в загородке вокруг табачного склада, – души в Луисе не чаяла, да и мисс Лит, и мисс Мэбри, которые были после нее, тоже. Во всех классах Луиса чуть ли не на руках носили, и, конечно, никто не обращал внимания на гадкого утенка вроде Гарри Апплтона. Все сливки снимал Луис. Понимаете – он всюду попевал первый.

– Вы попали в самую точку, – сказал отец. – Да, скажу я вам, мне за ним не угнаться.

– Понимаете, – продолжал док Апплтон, забавно шевеля толстыми волосатыми руками, то складывая ладони вместе, то слегка постукивая ребром ладони одной руки по пальцам другой, – ему всегда везло. Он всю жизнь пользовался успехом, и из него вышел бесхарактерный человек. Вот он и разрастается, – его белые пальцы скрючились, – как раковая опухоль. Ему нельзя верить, хотя он каждое воскресенье преподает писание в кальвинистской воскресной школе. Уф! Будь моя воля, Джордж, я взял бы нож, – он поднял руку и вытянул большой палец, который вдруг показался мне твердым и острым, – и вырезал бы эту опухоль.

И палец, изогнутый серпом, резко полоснул воздух, как бы отсекая пласт.

– Ценю вашу откровенность, док, – сказал отец. – Но боюсь, что мне и остальным беднякам у нас в школе никуда от него не деться. В городе он пользуется огромным доверием, его

буквально боготворят.

– Люди глупы, – сказал док Апплтон и подался вперед, негромко шлепнув ботинками по ковру. – Это единственное, чему может научить медицинская практика. В большинстве своем люди безнадежно глупы. – Он хлопнул отца по колену раз, другой, третий и продолжал. Теперь он говорил доверительным шепотом:

– А когда я уехал в университет учиться на медицинском факультете, – сказал он, – там, знаете, ли, решили – парень из захолустья, дубина. Но прошел год, и никто уже не считал меня дубиной. Может, я был не такой шустрый, как некоторые, но я знал, чего хочу. Я не спешил и основательно засел за книги. А когда год кончился, как вы думаете, кто был первым? Ну-ка, Питер, у тебя ведь голова неплохо варит, кто, по-твоему?

– Вы, – ответил я.

Он вытянул это из меня как клещами. Они всегда на похвалы набивались, эти олинджерские знаменитости.

Док Апплтон посмотрел на меня, но не кивнул, не улыбнулся и вообще никак не показал, что слышал мой ответ. Он помолчал, потом заглянул отцу в лицо, кивнул и сказал:

– Я был не первым, но и не из последних тоже. Неплохо справился для дубины из захолустья. Вы меня слушаете, Джордж?

И неожиданно, как это часто делают любители поболтать, оборвал разговор, словно не он у нас, а мы у него отнимали время, встал, ушел за перегородку и чем-то зазвенел там. Потом он вынес пузырек с жидкостью вишневого цвета, которая так бегала и сверкала, что была скорее похожа на ртуть. Он вложил пузырек в бородавчатую руку отца и сказал:

– По столовой ложке каждые три часа. Пока нет рентгеновского снимка, ничего больше сказать нельзя. Отдыхайте и старайтесь отвлечься. Ну, а без смерти и жизни не было бы. Здоровье, – сказал он, и его нижняя губа дрогнула в улыбке, – это животное состояние. Причиной нездоровья чаще всего бывают две части тела – голова и спина. Мы совершили две ошибки: встали с четверенок и начали думать. От этого напрягается спинной мозг и нервы. А мозг регулирует функции всего организма. – Он сердито подошел ко мне, резким движением откинул мои волосы и стал пристально рассматривать лоб. – На голове у тебя пятен поменьше, чем у матери, – сказал он и отпустил меня. Я пригладил волосы, красный от стыда.

– А что пишет Скиппи? – спросил отец.

Доктор сразу размяк, отяжелел; он стал самым обыкновенным обрюзгшим стариком в жилетке и с резинками на рукавах.

– Его оставили при клинике в Сент-Луисе, – сказал он.

– Вы все скромничаете, – сказал отец. – Но я-то знаю, как вы им гордитесь. Да я и сам горжусь – после моего сына он был у меня лучшим учеником и, слава богу, не перенял у меня мое дурацкое упрямство.

– Он весь в мать, – сказал док Апплтон, помолчав, и на все вокруг легла мрачная тень. Приемная вдруг показалась мне давно заброшенной, черная кожаная мебель скорбела, словно еще храня следы траура. Наши голоса и шаги тонули в пыли, и на меня словно смотрел кто-то из тысячелетнего будущего. Отец хотел уплатить доктору, но тот отмахнулся от денег и сказал:

– Подождем результата.

– Благодарю вас за прямоту, – сказал отец.

Выйдя на хрусткий, злой, ослепительный мороз, отец сказал:

– Видишь, Питер? Я так и не узнал то, что хотел узнать. Этого от них не дождешься.

– А что было до моего прихода?

– Он долго меня терзал, а потом дал направление на рентген в Олтонскую гомеопатическую клинику сегодня на шесть часов.

– А зачем?

– Дока Апплтона не разберешь. Оттого у него и репутация такая.

– Видно, он не любит Зиммермана, но я так и не понял почему.

– Дело в том, Питер, что Зиммерман... ты уже большой, кажется, тебе можно сказать... одним словом, говорят, у Зиммермана был роман с женой дока Апплтона. Это было, если только вообще было, еще до твоего рождения. Некоторые даже не уверены, кто отец Скиппи.

– А где миссис Апплтон теперь?

– Никто не знает, куда она уехала. Может быть, ее и в живых уж нет.

– Как ее звали?

– Коринна.

«В живых нет, роман, до твоего рождения» – от этих слов веяло тайной, вечер, плескавшийся вокруг нас, стал бесконечно глубоким, и в недрах этой глубины, как змея, сжимала свои кольца смерть отца. Темнота над крышами домов, в которой, как слюдяные крапинки в океане, поблескивали звезды, была так огромна, что могла вместить даже эту самую грозную из всех мыслимых невозможностей. Я пустился догонять отца – его лицо было бледным и мрачным в свете уличных фонарей, и он, как привидение, все время двигался на шаг впереди меня. Он надел свою шапочку, а у меня стыла голова.

– Куда же мы теперь? – спросил я у его спины.

– Поедем в Олтон, – сказал он. – Я сделаю в клинике рентген и перейду через улицу, в спортклуб АМХ &lt;ассоциация молодых христиан&gt;. А ты ступай в кино. Там тепло, согреешься, а потом зайдешь за мной. Приходи в половине восьмого или без четверти восемь. Соревнования должны кончиться к восьми. Сейчас примерно четверть шестого. У тебя хватит денег на бифштекс?

– Хватит, пожалуй. Скажи, папа, а как у тебя сейчас – болит?

– Мне лучше, Питер. Ты обо мне не беспокойся. Простота тоже имеет свое преимущество – человек может сразу думать только про одну боль.

– Должен же быть какой-то способ тебя вылечить, – сказал я.

– Убить меня, – сказал он. Эти слова так странно прозвучали на темной и холодной улице, прозвучали сверху, тогда как его лицо и тело быстро двигались вперед. – Самое верное средство, – сказал он, – убить.

Мы пошли на запад, к школе, где осталась наша машина, сели в нее и поехали в Олтон. Огни, огни по обе стороны, они неотступно сопровождали нас все три мили, только правее, над

кукурузными полями при богадельне, была черная пустота, да еще около моста через Скачушую Лошадь – того самого, где наш пассажир словно взмыл в воздух на своих башмаках с высокими каблуками. Мы проехали через ярко освещенный центр города, по набережной и дальше, но Пичони-авеню, по Уайзер-стрит, через Конрад Уайзер-сквер и по Шестой улице мимо привокзальной стоянки, а потом свернули в переулок, о существовании которого, должно быть, знал только отец. В конце переулка у стены фабрики Эссика, заполонившей все вокруг тошнотворно-сладкими запахами, железнодорожная насыпь расплзлась широкой полосой, усыпанной шлаком. Служащие Эссика использовали этот широкий левый откос насыпи, принадлежавший железной дороге, как стоянку для машин, и отец тоже остановился там. Мы вышли. Хлопнули дверцы, и эхо подхватило стук. Машина распласталась на своей тени, как лягушка на зеркале. Она была одна на стоянке. Синий светофор парил над головой, как бесстрастный ангел.

Мы с отцом расстались у вокзала. Он пошел налево, к больнице. А я прямо, на Уайзер-стрит, где сверкали рекламы пяти кинотеатров. В деловой части города люди растекались по домам. Дневные сеансы кончились; на двери магазинов, в витринах которых рекламировалась «Белая январская распродажа» и высились груды ваты, накладывали засовы, вешали замки; в ресторанах было еще малоллюдно, там накрывали столы к вечеру; старики, продававшие бисквиты, накидывали на свои лотки брезент и уносили их. Я больше всего любил город в этот час, когда отец отпускал меня и я, идя один против течения, наперекор этому всеобщему исходу, бездомный, свободный, мог глазеть на витрины ювелиров, подслушивать разговоры у дверей табачных лавок, вдыхать запах кондитерских, где толстухи в пенсне и в белых халатах томились над блестящими подносами с марципанами, сдобными булками, ореховыми трубочками и медовыми коржиками. В этот час, когда рабочие, служащие и хозяйки пешком, на машинах, в автобусах и трамваях добирались домой, где их ждали дела, я на время был свободен от всех дел, и отец не только разрешил, но велел мне пойти в кино, которое на два часа перенесет меня в другой мир. Действительный мир, мой мир, со всеми его горестями и удручающей путаницей, оставался позади; я бродил среди сокровищ, которые когда-нибудь должны были стать моими. В такие минуты, роскошествуя на свободе, я часто с виноватым чувством вспоминал о маме, которая была далеко и не могла ни остановить, ни защитить меня, о маме с ее фермой, с ее старым отцом, о маме, вечно неудовлетворенной, то безрассудной, то благоразумной, то пронизательной, то бестолковой, то простой, то непонятной, маме с ее широким озабоченным лицом и странным, целомудренным запахом земли и каши, о маме, чью кровь я осквернял в липком дурмане олтонского центра. И тогда я задыхался среди гнилого великолепия, на меня напал страх. Но я не мог искупить свою вину, не мог вернуться к ней, так как по ее собственной воле нас разделяло десять миль; и оттого, что она своими руками оттолкнула меня, я стал мстительным, гордым и равнодушным бродягой в душе.

Пять олтонских кинотеатров на Уайзер-стрит назывались «Лоуи», «Эмбесси», «Уорнер», «Астор» и «Риц». Я пошел в «Уорнер» на «Молодого трубача» с участием Кэрка Дугласа, Дорис Дэй и Лорен Бэжелл. Отец сказал правду: там было тепло. И потом – самая большая удача за этот день – я вошел, когда крутили мультфильм. Было тринадцатое число, и я не ожидал, что мне так повезет. Мульт, конечно, был про кролика. В «Лоуи» шел «Том и Джерри», в «Эмбесси» – «Лупоглазый моряк», а в «Асторе» либо фильм Диснея – в лучшем случае, либо «Пол Терри» – в худшем. Я купил пакетик жареной кукурузы и пакетик миндаля, хотя то и другое было вредно для моей кожи. Над запасными выходами мягко светились желтые огоньки, и время словно растворилось. Только в конце, когда главный герой, трубач, игравший под Бикса Бейдербеке, наконец вырвался из объятий богатой женщины с вкрадчивой порочной улыбкой (Лорен Бэжелл), которая втаптывала в грязь его искусство, и добродетельная талантливая женщина (Дорис Дэй), вновь обретя возлюбленного, заливалась звонким голосом, своим собственным, а Кэрк Дуглас делал вид, будто играет на трубе, хотя на самом деле за него играл Гарри Джеймс, и «Песнь моего сердца» возносилась все выше, как серебристая струя фонтана, только когда замирали последние ноты, я,

перешагнув высшую ступень экстаза, вспомнил про отца. Во мне шевельнулось тревожное чувство, что я опаздываю.

Огни над дверями ярко вспыхнули. Я сорвался с места. Пробегая через залитый светом вестибюль, я увидел себя во весь рост в огромных, от пола до потолка, зеркалах – лицо горит, глаза покраснели, на плечах огненной рубашки белые хлопья, которые я наскреб с головы в темноте. У меня была привычка чесать голову, когда никто этого не видел. Я досадливо обмахнул плечи и, выбежав на холодную улицу, с удивлением увидел лица прохожих, казавшиеся изможденными и призрачными после огромных, сияющих звездных видений, которые только что у меня на глазах медленно наплывали друг на друга, сливались, разлучались и соединялись снова. Я побежал к спортклубу. Это было в двух кварталах по Уайзер-стрит у магазина Перкиомена и Бича. Я бежал вдоль железнодорожных путей. На узкой улочке было полным-полно всяких забегаловок и парикмахерских. Небо над высокими крышами было мутно-желтым, и даже в зените звезды блекли, выпитые его бледностью. Запах пилюль от кашля доносился издали, как бы издеваясь над моим страхом. Идеальный город, город будущего отодвинулся далеко, казался неуместной, жестокой выдумкой.

В спортклубе пахло резиновыми подметками и пол был весь исшарканный, серый. Под доской, увешанной старыми объявлениями и давнишними турнирными таблицами, сидел за столом мальчишка-негр и перелистывал комикс. Издали по коридору, такому зеленому, словно лампы там светили сквозь виноградные листья, доносился усердный стук бильярдных шаров. С другой стороны непрерывно несло: «Цок-цок-цок», там играли в пинг-понг. Мальчик за столом поднял голову от книжки, и я вздрогнул; в Олинджере не было негров, и я испытывал перед ними суеверный страх. Они казались мне колдунами, владеющими темными тайнами любви и музыки. Но у этого лицо было самое безобидное, цвета молока с солодом. «Привет», – сказал я и затаив дыхание быстро прошел по коридору к бетонной лестнице, которая через раздевалку вела в бассейн. Когда я спустился туда, в нос мне ударил запах воды, хлора и еще чего-то, наверное обнаженных тел.

В большом, выложенном кафелем логове бассейна раскатистый резонанс вдребезги разбивал все звуки. На низкой деревянной скамье у самой воды сидел отец, а рядом с ним мокрый и голый мальчишка – Дейфендорф. На Дейфендорфе были только черные форменные плавки, обтягивавшие бедра, между которыми обрисовывался маленький, поникший бугорок. По его груди, плечам, ногам растекались густые волосы, а на деревянный под вокруг босых ступней капала вода. Хотя он слегка сутулился, гармонию его белого тела портили лишь грубые красные руки. Он и отец встретили меня почти одинаковыми улыбками: деланными, бессмысленными, заговорщическими. Чтобы позлить Дейфендорфа, я ехидно спросил:

– Ну как, выиграл заплыв брассом и вольным стилем?

– Выиграл побольше твоего, – огрызнулся он.

– Да, он выиграл заплыв, – бросил отец. – Я горжусь тобой, Дейфи. Ты сдержал слово, сделал все что мог. Ты настоящий человек.

– К чертям собачьим, если б я не прозевал того малого на дальней дорожке, то выиграл бы и в вольном стиле. Он, гад, подкрался тихонечко, а я уж думал, что пришел первым, и не спешил.

– Тот мальчик хорошо плыл, – сказал отец. – И победил честно. Он взял правильный темп. Фоли отличный тренер. Если б я не был таким бездарным тренером, Дейфи, ты стал бы королем всего округа. Ты же самородок. Если б только я не был такой бездарностью, а ты бросил бы курить.

– На хрен это надо, я и так запросто могу полторы минуты не дышать, сказал Дейфендорф.

Чувствовалось, что они хотят польстить друг другу, и это меня раздражало. Я тоже встал рядом с отцом и принялся смотреть на бассейн: он был здесь главным героем. Он наполнял свою большую подземную клетку дробным блеском и режущим глаза запахом хлора. Трибуна, где сидели соревнующиеся команды и судьи, отражалась в возмущенной воде, и отражение порой приобретало на какой-то миг сходство с бородатым лицом. Разбиваемая снова и снова, вода, блестя и сверкая, всякий раз мгновенно смыкалась. Крики и всплески, перекрываемые эхом и новыми всплесками, сталкиваясь, рождали необычные слова, каких не было ни в одном известном мне языке, какой-то нелепый лай, словно в ответ на вопрос, который я дал, сам того не зная. КЕКРОП! ИНАХ! ДИЙ! Нет, это не я задал вопрос, а отец рядом со мной.

– Что чувствует победитель? – спросил он громко, глядя прямо перед собой и потому обращаясь в равной мере к Дейфендорфу и ко мне. – Ах черт, мне никогда этого не узнать.

Блики и пузыри мельтешили по дрожащей шкуре воды. Линии на дне бассейна, разделявшие водные дорожки, свивались и змеились, преломляясь в воде; бородатое лицо, казалось, вот-вот обретет окончательную форму, но тут прыгал новый спортсмен. Все состязания были кончены, оставались только прыжки в воду. Один из наших старшеклассников, Дэнни Хорст, низкорослый, с длинными черными волосами, которые он перед прыжком повязал лентой, как гречанка, вышел на трамплин, играя мускулами, и сделал переднее сальто колени подобрал, носки вытянул, а потом вонзился в воду с мягким плеском, красиво изогнувшись, словно ручка греческой вазы, так что один из судей сразу включил на доске десятку.

– За пятнадцать лет, – сказал отец, – я ни разу не видел, чтобы десять очков засчитали. Это как второе пришествие. Ведь на свете нет совершенства"

– Дэнни, друг, во дает! – завопил Дейфендорф, и обе команды захопала, приветствуя прыгуна, когда он вынырнул, гордым взмахом руки отбросил назад растрепавшиеся волосы и в несколько гребков подплыл к краю бассейна. Но при следующем прыжке Дэнни, чувствуя, что мы снова ждем чуда, слишком напрягся, потерял ритм, вышел из полуторного сальто на миг раньше времени и ударился о воду спиной. Один судья засчитал ему три очка. Двое других по четыре.

– Что ж, – сказал отец, – бедный мальчик сделал все что мог.

И когда Дэнни вынырнул, отец, единственный из всех, захопал.

Соревнования кончились со счетом: Западный Олтон – 37, 5; Олинджер – 18. Отец встал у края бассейна и сказал своей команде:

– Я горжусь вами. Вы молодцы, хотя бы уже потому, что вышли на соревнование – ведь это не приносит вам ни славы, ни денег. У нас в городе даже пруда нет, и просто уму непостижимо, как вы достигли таких успехов. Будь у школы свой бассейн, как в Западном Олтоне, – хотя я вовсе не хочу умалить их достижения, – каждый из вас был бы Джонни Вейсмюллером. И в моем журнале вы уже получили оценку не ниже, чем он. Дэнни, ты прыгнул великолепно. Едва ли мне еще доведется в жизни увидеть такой прыжок.

Странно выглядел отец, когда произносил эту речь, – он стоял выпрямившись, в костюме и при галстук, среди голых ребят; с трибуны его темная, исполненная серьезности голова рисовалась на фоне волнующейся бирюзовой воды и белого кафеля, усеянного зелеными бусинками. По плечам и грудям слушавших его ребят то и дело проходила возбужденная дрожь, быстро, как рябь по воде или трепет по лошадиной шкуре. Несмотря на поражение, они были шумливы и горды собой; мы оставили их в душевой, где они, намыливаясь, резвились, как табунок жеребят под дождем.

– Тренировка в среду, как обычно, – сказал им отец на прощание. – Не пейте в этот день

молочных коктейлей и не ешьте больше четырех бифштексов.

Все засмеялись, и даже я улыбнулся, хотя отец меня тяготил. Тяжесть и инерция ощущались в нем всю эту полную событий ночь и на каждом шагу мешали мне исполнить мое простое желание – добраться с ним до дому и сбросить обузу с плеч.

Когда мы, поднявшись по бетонной лестнице, вышли в коридор, нас нагнал тренер олтонской команды, Фоли, и они с отцом проговорили, как мне казалось, битый час. От сырого воздуха бассейна костюмы у них измялись, и в зеленом полумраке коридора они были похожи на двух пастухов, мокрых от росы.

– Вы проделали нечеловеческую работу с этими мальчиками, – сказал отец мистеру Фоли. – Будь во мне хоть десятая доля ваших способностей, мы бы вам показали, где раки зимуют. У меня в этом году несколько настоящих самородков.

– Ах оставьте, Джордж, – сказал Фоли, толстый, рыжеватый человек, подвижный и обходительный. – Вы не хуже моего знаете, что тренер тут вообще ни к чему; единственное, что можно сделать, – это пустить лягушек в пруд. В каждом из нас сидит рыба, надо только броситься в воду, чтобы дать ей волю.

– Прекрасно сказано, друг! – подхватил отец. – Никогда еще не слышал таких мудрых слов. Ну, а как вам понравился мой чемпион в заплыве брассом?

– Он должен был выиграть и в вольном стиле. Надеюсь, вы ему всыпали хорошенько за то, что он зевал?

– Он глуп, друг, понимаете, глуп. У бедняги не больше мозгов, чем у меня, и мне жалко его ругать.

Я чуть не лопался от нетерпения.

– Вы ведь знаете моего сына? Питер, иди сюда и пожми руку этому замечательному человеку. Вот какого отца тебе бы иметь!

– Еще бы, как не знать Питера, – сказал мистер Фоли, и его рукопожатие, крепкое, теплое и непринужденное, показалось мне необычайно приятным. Весь округ знает сына Колдуэлла.

В их тоскливом мире молодежного спортклуба, состязаний, спортивных торжеств эта дикая лезть сходилась за разговор; в мистере Фоли меня это не так раздражало, как в отце, чье пристрастие к такой болтовне, как мне всегда казалось, шло от застенчивости.

Отец, при всей своей общительности, в душе был человек молчаливый. И в тот вечер настроение у него было такое, что память моя сохранила лишь его молчание. Когда мы шли по улице, губы у него были плотно сжаты, а ноги меряли тротуар с какой-то невольной жадностью. Не знаю, найдется ли еще на свете человек, который так любил бы ходить по уродливым восточным городкам, как мой отец. Трентон, Бриджпорт, Бингемтон, Джонстаун, Элмайра, Аллентаун – во все эти города его забрасывала жизнь, когда он работал монтером телефонной компании, еще до того, как он женился на маме и родился я, а он остался на бобах из-за гуверовского кризиса. Он боялся Файртауна, чувствовал себя неприятно в Олинджере, но обожал Олтон: асфальт, уличные фонари, прямые фасады домов говорили ему о великой среднеатлантической цивилизации, от Нью-Хейвена на севере до Хейджерстауна на юге и Уилинга на востоке, она была для него домом в мировом пространстве. Идя вслед за отцом по Шестой улице, я слышал, как поет асфальт.

Я спросил у него про рентген, а он вместо ответа спросил, хочу ли я есть. И я почувствовал, что в самом деле голоден; кукуруза и миндаль оставили только кислый привкус во рту. Мы

остановились у передвижного ресторанчика, похожего на трамвай, возле магазина «Акме». Отец держался в городе с успокаивающей простотой. Мама – та все усложняла, как будто пыталась объяснить на иностранном языке. И наоборот, на ферме отец становился робким и нерешительным. Но здесь, в Олтоне, в четверть девятого вечера, он чувствовал себя свободно и уверенно, а ведь больше, собственно говоря, ничего и не требовалось от любого отца; дверь распахивается настежь, пристальные взгляды посетителей встречаются без робости, два стула поставлены рядом, меню привычно берется со своего места между ящичком с салфетками и бутылкой кетчупа, несколько слов бармену, без притворства и пустой болтовни, и мы молча, как подобает мужчинам, едим бутерброды, он – с омлетом, а я – с жареной ветчиной. Отец без смущения облизнул три средних пальца правой руки и провел по нижней губе бумажной салфеткой.

– В первый раз, не упомню уж с каких пор, поел с удовольствием, сказал он.

На сладкое мы заказали яблочный пирог мне и кофе ему; счет был на плотной зеленой бумажке, непонятно для чего пробитой треугольным компостером. Отец расплатился, отдав один из двух долларов, еще оставшихся в его потертом бумажнике, который он неизменно носил в брючном кармане, так что бумажник изогнулся по его бедру. Вставая, он привычным движением бородавчатой руки незаметно сунул под свою пустую чашку два десятицентовика. Потом, подумав немного, купил за шестьдесят пять центов бутерброд по-итальянски. Решил сделать маме сюрприз. В этом отношении у мамы был неизменный вкус, она любила эти остро пахнущие, скользкие бутерброды, а я с ревнивым чувством замечал, что здесь отец лучше понимал ее, чем я. Он уплатил за бутерброд, разменяв последний доллар, и сказал:

– Больше у меня ничего нет, сынок. Теперь мы с тобой как бедные сиротки.

Помахивая коричневым пакетом, он пошел впереди меня к машине.

Наш «бьюик» по-прежнему сиротливо стоял один на своей тени. Нос его был задран вверх, к невидимым снизу рельсам. Запах ментола, словно лунные испарения, пронизывал ледяной воздух. Фабричная стена была как утес из кирпича и черного стекла. Кое-где, странным образом оживляя ее, вместо стекол в окна были вставлены квадраты картона или жести. Кирпич таил свой истинный цвет от уличного фонаря; освещавшего площадку, и на месте стены словно была та же темнота, только поредевшая, разжиженная и мертвенно-серая. А земля в свете этого же фонаря странно поблескивала. Усыпанная осколками угля и шлака, она была здесь беспокойной и гулкой, все время потрескивала и шевелилась под ногами, как будто ее непрерывно разгребали граблями. Вокруг стояла тишина. В окнах, смотревших на нас, не было ни огонька, хотя где-то в глубине фабрики маячило бессонное голубое мерцание. Нас с отцом могли бы убить, и до утра ни одна душа не узнала бы об этом. Наши тела лежали бы в канаве у фабричной стены, руки и волосы вмерзли бы в лед.

Мотор на морозе никак не заводился. «Тр-тр-тр», – тархтел стартер, сначала бодро, потом все медленней, неуверенней.

– Господи, не оставь меня, – выдохнул отец вместе с дрожащей струей пара. – Хоть бы еще раз завелась, а уж завтра мы непременно аккумулятор зарядим.

«Тр-тр, трр, тррр».

Отец выключил зажигание, и мы молча сидели в темноте. Он подышал в кулак.

– Вот видишь, – сказал я. – Носил бы перчатки, не пришлось бы сейчас мерзнуть.

– Ты, наверное, продрог до костей, – отозвался он. – Ну, еще разок. Он снова включил зажигание и нажал большим пальцем кнопку стартера. За это время аккумулятор отдохнул, стартер начал обнадёживающе:



«Др-др, др-др, тр-тр, трр, трр».

Аккумулятор совсем сел.

Отец ту же подтянул ручной тормоз и сказал мне:

– Попали мы в переplet. Придется прибегнуть к крайнему средству. Садись за руль, Питер, а я вылезу и толкну машину. Тут есть небольшой уклон, но она стоит ладом. Включи заднюю передачу. Как крикну, бросай сцепление. Да смотри же, резко, сразу.

– Может, лучше сходить за механиком, куда гараж не закрылся? – сказал я, боясь, что не справлюсь.

– Ничего, давай попробуем, – сказал он. – Ты не робей.

Он вылез из машины, а я подвинулся, со страху сев на свои учебники и пакет с маминым бутербродом. Отец встал перед капотом, пригнулся, чтобы всей тяжестью навалиться на машину, и зубы его блеснули при желтом свете, как у гнома. Фары так били ему в лицо, что лоб, казалось, сплошь состоял из шишек, и было заметно, что он не раз ломал нос, когда студентом, тридцать лет назад, играл в футбол. Похолодев, я проверил положение рычага скоростей, ключа зажигания и подсоса. Отец кивнул, и я отпустил ручной тормоз. Только его дурацкая круглая шапчонка синела над капотом, когда он навалился на машину. Она подалась назад. Шины верещали все пронзительней; внизу склон был чуть круче, и это прибавило драгоценную каплю разгона, инерция машины на миг высвободилась вся целиком. Отец отчаянно завопил:

– Давай!

Я бросил сцепление резко, как он велел. Машина дернулась и со стуком остановилась; но ее движение через ржавые шестерни и стертые диски уже передалось мотору, и он, как ребенок, которого шлепнули, икнул. Потом закашлял, цилиндры застучали с перебоями, машина затряслась, и я, до половины вдвинув подсос, чтобы мотор не захлебнулся, выжал акселератор; это была ошибка. Сбившись с тона, мотор чихнул раз, другой и заглох.

Теперь машина стояла на ровном месте. Где-то далеко, за фабрикой, открылась дверь бара, и полоса света упала на улицу.

Отец подошел к моей дверце, и я отодвинулся, готовый со стыда провалиться сквозь землю. Все тело у меня горело, я чуть штаны не намочил.

– Вот сволочь, – сказал я по-мужски грубо, стараясь как-то прикрыть свой позор.

– Ты прекрасно справился, мальчик, – сказал отец тяжело дыша и снова сел за руль. – Мотор застыл, но теперь он, может быть, малость разогрелся.

Осторожно, как взломщик, он черным силуэтом склонился над щитком, нога коснулась акселератора. Нужно было, чтобы мотор завелся сразу, и он завелся. Отец снова возродил искру, и машина, взревев, оживала. Я закрыл глаза с чувством благодарности и откинулся назад, ожидая, что мы сейчас тронемся.

Но мы не тронулись. Негромкий, прерывистый скрежет донесся сзади, оттуда, где, как я воображал, возили трупы, когда машина принадлежала хозяину похоронного бюро. Черный отцовский силуэт быстро включал одну за другой все скорости; но всякий раз машина отвечала все тем же негромким скрежетом – и ни с места. Отец, не веря себе, попробовал каждую скорость во второй раз. Мотор ревел, но машина не двигалась. Бешеный, нарастающий рев отдавался эхом от фабричной стены, и я боялся, что на шум прибегут люди из дальнего бара.

Отец положил руки на руль и уронил на них голову. Раньше так делала только мама. В пылу ссоры или в отчаянье она клала руки на стол и роняла на них голову; я пугался – уж лучше бы она сердилась, потому что тогда было видно ее лицо.

– Папа?

Он не ответил. Фонарь облепил неподвижными блестками его вязаную шапочку; так был выписан хлеб на картине Вермеера.

– Как ты думаешь, в чем дело?

И тут мне пришло в голову, что с ним один из его «приступов» и необъяснимое поведение машины на деле было лишь отражением какой-то поломки в нем самом. Я уже хотел коснуться его – хотя вообще-то никогда к нему не прикасался, – но тут он поднял голову, и на его бугристом, морщинистом и все же мальчишеском лице появилось подобие улыбки.

– Вот так всю жизнь мне достается, – сказал он. – Жаль, что я и тебя впутал. Ума не приложу, почему эта проклятая машина ни с места. Наверное, по той же причине, отчего наша команда пловцов не может выиграть.

Он опять прибавил обороты и, глядя вниз, между коленями, на педаль сцепления, стал нажимать и отпускать ее.

– Слышишь, как там сзади скрежещет? – спросил я.

Отец поднял голову и засмеялся.

– Бедняга, – сказал он. – Тебе бы в отцы победителя, а достался неудачник. Идем. И если я никогда больше не увижу эту кучу хлама, тем лучше.

Он вылез и с такой силой захлопнул дверцу, что чуть стекло не высадил. Черный кузов покачался на неподвижных колесах, а потом, отбрасывая тонкую, как бумага, тень, самодовольно замер, словно одержал победу. Мы пошли прочь.

– Потому-то я и не хотел переезжать на эту ферму, – сказал отец. Сразу становишься рабом автомобиля. Единственное, чего мне хотелось, – это иметь возможность всюду добраться на своих двоих, мой идеал – прийти пешком на собственные похороны. Продать ноги – значит продать жизнь.

Мы прошли через привокзальную стоянку и повернули налево к бензоколонке «Эссо» на Бун-стрит. У насосов было темно, но в тесной будке мерцал тусклый золотистый свет; отец заглянул в окно и постучал. Внутри все было загромождено покрышками и занумерованными ящиками с запасными частями, в беспорядке взваленными на зеленую металлическую подставку. Большой высокий автомат для продажи кока-колы громко застучал, затрясся и снова притих, как будто кто-то внутри него сделал последнее отчаянное усилие вырваться на волю. Фирменные электрические часы на стене показывали 9:06; секундная стрелка прошла полный круг, а мы все ждали. Отец снова постучал, и опять ответа не было. Одна только секундная стрелка двигалась там, внутри.

Я сказал:

– Кажется, на Седьмой улице всю ночь открыто.

Отец спросил:

– Ты как, мальчик? Вот адское положение. Надо позвонить маме.

И мы пошли дальше по Бун-стрит, через железнодорожные пути, вдоль ряда кирпичных домов, а потом по Седьмой улице, через Уайзер-стрит, уже не такую оживленную в этот поздний час, к большому гаражу, который действительно был открыт. Его разверстая белая пасть, казалось, пила ночную темноту. Внутри двое в серых комбинезонах и в перчатках с Обрезанными пальцами мыли автомобиль, поливая его из ведер мыльной горячей водой. Они работали быстро, потому что вода грозила заledenеть на металле. Одним концом гараж выходил на улицу, а другой, словно в пещерах, терялся среди стоящих машин. Будка вроде телефонной, только побольше, или вроде павильончика для пассажиров на трамвайной остановке – один такой еще остался в Эли – была как бы сердцем гаража. У ее двери, на бетонной площадке с трафаретной надписью: «Осторожно, ступенька», стоял человек в смокинге и белом шарфе, ежесекундно поглядывая на платиновые часы, надетые на руку черным циферблатом внутрь. Его движения были так прерывисты и однообразны, что когда я в первый раз случайно посмотрел на него, то принял его за механическую рекламу в человеческий рост. Машина, которую мыли, жемчужно-серый «линкольн», была, наверное, его. Отец приостановился перед ним, и я заметил, что жемчужно-серые глаза этого человека смотрят куда-то сквозь него.

Отец подошел к будке и открыл дверь. Я поневоле должен был войти следом. Там коренастый человек деловито рылся в бумагах. Делал он это стоя; кресло рядом с ним было по самые подлокотники завалено бумагами, брошюрами и каталогами. Одной рукой он держал разом сигарету и шиватель, а другой, причмокивая губами, перебирал бумаги.

Отец сказал:

– Прошу прощения, друг мой.

Управляющий ответил:

– Одну минутку, дайте мне кончить, ладно?

И, сердито сжав в руке какую-то синюю бумажку, проскользнул мимо нас в дверь. Прошло гораздо больше минуты, прежде чем он вернулся.

Чтобы скоротать время и скрыть смущение, я бросил монетку в автомат с жевательной резинкой, установленный олтонским отделением клуба «Кивани». Я получил редчайший приз – черный шарик. Я любил лакрицу. Отец тоже. Когда мы были в Нью-Йорке, тетка Альма сказала мне, что соседские ребята в Пассейике дразнили отца Палочкой, потому что он вечно сосал лакричную палочку.

– Хочешь? – предложил я ему.

– Боже упаси, – сказал он, как будто я предлагал ему яд. – Спасибо. Питер, не надо. Этак я совсем без зубов останусь.

И он начал метаться по тесной будке так, что я в рассказать не могу, то поворачивался к пачке дорожных карт, то к таблице номеров запчастей, то к календарю с девицей, на которой были только лыжная шапочка с острыми розовыми ушами, варежки, ботинки из белого меха да пушистый хвостик на задку. Зад ее был кокетливо повернут к нам. Отец застонал и прижался к стеклу; человек в смокинге вздрогнул и обернулся. Двое в комбинезонах залезли в «линкольн» и деловито протирали окна кругами, как роятся пчелы. Бородавчатые руки отца бесцельно шарили по заваленному газетами столу, а глаза искали управляющего. Боясь, что он нарушит на столе какой-то неведомый порядок, я сказал резко:

– Папа. Держи себя в руках.

– Нервы пошаливают, сынок, – сказал он громко. – Хочется что-нибудь разнести. Р-раз – и

готово. Время-то не ждет. Поневоле вспомнишь о смерти.

– Успокойся, – сказал я. – И сними эту шапчонку. Он, наверно, тебя за нищего принял.

Отец словно меня не слышал; он весь ушел в себя. Глаза у него стали желтые, мама, бывало, вскрикивала, когда в них появлялся этот янтарный блеск. Он смотрел на меня как на утопающего, и глаза его призрачно сияли. Запекшиеся губы шевельнулись.

– Мне-то все нипочем, – сказал он. – Но ведь у меня ты на руках.

– За меня не волнуйся, – резко отозвался я, хотя, по правде сказать, цементный пол был ужасно холодный, и я это чувствовал сквозь подметки тесных ботинок.

Я глазам своим не поверил, но управляющий в конце концов вернулся и вежливо выслушал отца. Он был низкий, коренастый, с тремя не то четырьмя параллельными морщинами на каждой щеке – чувствовалось, по тому как он держал голову и плечи, что этот человек когда-то был неплохим спортсменом. Теперь он ослабел, работа его извела. На лысеющей голове был седоватый хохол, который он немилосердно приглаживал, как будто хотел таким образом заставить себя сосредоточиться. Его фамилия – Роудс – была вышита крупными оранжевыми буквами на кармане коричневого комбинезона. Он сказал отрывисто, отдуваясь:

– Не нравится мне это. Если мотор работает, а машина не идет, значит, что-то с трансмиссией или с карданным валом. Будь это только движок, – он произнес «твишок», и мне показалось, будто это слово означает что-то совсем другое, трепетное, живое и милое, – я послал бы туда «джип», а так не знаю, что и делать. Буксирный грузовик ушел по вызову – авария на девятом шоссе. Есть у вас постоянный гараж? – Он произнес «караш», с ударением на первом слоге.

– Нас обслуживают у Эла Гаммела в Олинджере, – сказал отец.

– Если хотите, с утра я займусь вашей машиной, – сказал мистер Роудс. Но до тех пор ничего не могу сделать; эти двое, – он указал на людей, которые теперь протирали замшевыми подушечками блестящую серую кожу «линкольна», в то время как человек в смокинге ритмически похлопывал по ладони бумажником из крокодиловой кожи, – в десять кончают работу, остаемся только я и те двое, что уехали по вызову на девятое шоссе. Так что вы, пожалуй, успеете позвонить в свой олинджерский гараж, и они с самого утра ею займутся.

Отец сказал:

– Значит, ваше авторитетное мнение, что сегодня ничего поделатъ нельзя?

– Да, если все, как вы говорите, хорошего мало, – подтвердил мистер Роудс.

– Там сзади что-то скрежещет, – сказал я, – будто два зубчатых колеса друг за друга цепляются.

Мистер Роудс, моргая, поглядел на меня и пригладил свой хохол.

– Вероятно, что-нибудь с карданным валом. Тогда придется ставить машину на яму и разбирать весь задний мост. Вы далеко живете?

– У черта на куличках, за Файртауном, – ответил отец.

Мистер Роудс вздохнул:

– Что ж. Очень жаль, но ничем не могу помочь.

Длинный ярко-красный «бьюик», в сверкающей поверхности которого вихрился целый космос отражений, всунулся в гараж с улицы и загудел, звук заполнил всю низкую бетонную пещеру, и мистер Роудс уже больше нас не слушал.

Отец сказал торопливо:

– Не извиняйтесь, мистер. Вы высказались откровенно, а это самое большое одолжение, какое человек может сделать человеку.

Но когда мы снова вышли на темную улицу, он сказал мне:

– Этот бедняга болтал бог весть что, Питер. Я сам всю жизнь блефовал, меня не проведешь. Он, что называется, нес околесицу. Удивляюсь, как это он дослужился до управляющего таким большим гаражом, ему и с самим собой не управиться. Поступил так, как и я бы часто поступал, дай мне волю.

– Куда же мы теперь?

– Назад, к машине.

– Да ведь она сломана! Ты же знаешь.

– Знаю, но как-то не верится. У меня такое чувство, что теперь она пойдет. Ей надо было только дать отдохнуть.

– Но у нее же не просто мотор застыл, испортилось что-то в ходовой части.

– Это он мне и втолковывал, да только я, по тупости, никак понять не могу.

– Но уже скоро десять. Может, позвоним маме?

– А чем она нам поможет? Самим надо выкручиваться, сынок. Горе неудачнику.

– Ну, я одно знаю – раз машина час назад не шла, она и теперь не пойдет. И к тому же мне холодно.

Как я ни старался, но не мог нагнать отца – он все время шел на шаг впереди. На Седьмой улице из темного подъезда, шатаясь, вышел пьяный и увязался за нами. Я подумал было, что это наш утренний пассажир, но пьяный был пониже ростом и еще более опустившийся. Волосы у него, взъерошенные, как грива у грязного льва, стояли торчком, окружая голову подобием нимба. Весь он был в каких-то лохмотьях, а поверх накинул выдавшее виды пальто, и пустые рукава болтались и трепыхались вокруг него, когда он выписывал вензеля. Он спросил отца:

– Куда мальчишку ведете?

Отец предупредительно замедлил шаг, чтобы пьяный, который споткнулся и чуть не упал, мог нас нагнать.

– Простите, мистер. Что вы сказали? – спросил он.

Пьяный четко и не без удовольствия выговаривал слова, как актер, который сам любит себя на сцене.

– Ха-ха-ха, – засмеялся он тихо, по раскатисто. – Грязный вы человек, вот что.

Он погрозил пальцем перед самым носом отца, и его палец качался, как автомобильный стеклоочиститель, а сам он плутовато поглядывал на нас. Весь оборванным, он, несмотря на

мороз, был веселехонек; лицо у него было плоское, твердое и блестящее, мелкие зубы заседали усмешку, как зернышки.

Он обратился ко мне:

– А ты, мальчуган, беги домой, к маме.

Пришлось остановиться, потому что он преградил нам путь.

– Это мой сын, – сказал отец.

Пьяный повернулся к нему так резко, что вся его одежда встопорщилась, будто птичьи перья. Казалось, он и одет-то не был, а просто крыт тряпками – слой на слой ветхих разношерстных лохмотьев; и голос у него был тоже чудной – хриплый, надтреснутый, едва слышный.

– Как вам не стыдно врать? – сказал он печально отцу. – Как не стыдно врать в таком серьезном деле? Отпустите мальчика домой, к маме.

– Именно туда я и стараюсь его отвезти, – сказал отец. – Да вот проклятая машина ни с места.

– Это мой отец, – сказал я, надеясь, что пьяный отвяжется.

Но он подошел совсем вплотную. Его лицо в голубоватом свете уличного фонаря, казалось, все было в алых брызгах.

– Ты его не выгораживай, – сказал он с наигранной ласковостью. – Он этого не стоит. Сколько он тебе платит? Но все равно, сколько бы ни платил, этого мало. Вот он найдет себе нового мальчика, а тебя вышвырнет на улицу, как старый троянец.

– Папа, пойдем, – сказал я, мне стало страшно, да и промерз я до костей. Ночной ветер свободно пронизывал меня насквозь.

Отец хотел обойти пьяного, но тот замахнулся, и тогда отец замахнулся тоже. Пьяный попятился и чуть не упал.

– Бей, – сказал он, улыбаясь до ушей, так что щеки сверкнули. – Бей человека, который хочет спасти твою душу. А готов ли ты к смерти?

Отец замер, и это было похоже на неподвижный кинокадр. Пьяный, торжествуя, повторил:

– Готов ли ты к смерти?

Тут он бочком подобрался ко мне, обхватил меня вокруг пояса и крепко сжал. Из рта у него пахло, как из сто седьмого класса после урока химии у старшеклассников, когда мы приходили туда для самостоятельных занятий, смешанное сернисто-сладкое зловоние.

– Ах, – сказал он мне, – какой ты хорошенький, тепленький. Вот только тощий – кожа до кости. Неужто этот ублюдок тебя не кормит? Эй, – обратился он к отцу, – что ж ты, старый развратник, берешь мальчишку с улицы голодного и даже не накормишь?

– Я думал, что готов к смерти, – сказал отец. – Но теперь я не уверен, есть ли такой человек на свете, который к этому готов. Не уверен, что даже девяностодевятилетний китаец с туберкулезом, триппером, сифилисом и зубной болью готов к смерти.

Пальцы пьяного давили мне под ребра, и я вырвался.

– Папа, пойдем!

– Нет, Питер, – сказал отец. – Этот джентльмен дело говорит. А вы сами готовы к смерти? – спросил он пьяного. – Вы-то как думаете?..

Прищурившись, выпятив грудь, надувшись, как голубь, пьяный наступил на длинную тень отца и, подняв голову, сказал отчетливо:

– Я буду готов к смерти, когда тебя и всех тебе подобных посадят за решетку, а ключ от камеры забросят подальше. Бедным мальчуганам нет от вас покоя даже в такую ночь. – Он посмотрел на меня из-под нахмуренных бровей и сказал:

– Позвать полицию, мальчик? Или, может, просто прихлопнем эту старую бабу, а? – И спросил у отца:

– Ну, что скажете, шеф? Сколько дадите, чтобы полиция не накрыла вас с этим цветочком?

Он набрал воздуха, как будто хотел закричать, но на улице, уходившей к северу, в бесконечность, не было ни души – только оштукатуренные фасады кирпичных домов, крылечки с перилами, обычные для Олтона, каменные ступеньки, кое-где с цементными вазами для цветов, да деревья на тротуарах, которые чередовались, а вдали и вовсе сливались с телефонными столбами. У тротуаров стояли машины, но ездили здесь редко, потому что в двух кварталах отсюда улицу перегораживала стена фабрики Эссика. Мы стояли возле длинного блочного склада пивоваренного завода; его рифленые зеленые двери были закрыты наглухо, захлопнуты со стуком, и отголосок этого стука, казалось, еще сковывал воздух. Пьяный стал дергать отца за отвороты пальто, всякий раз шевеля пальцами так, словно страхивал вошь или приставшую нитку.

– Десять долларов, – сказал он. – Десять долларов, и я – молчок! – Он прижал три посинелых пальца к распухшим фиолетовым губам и не отнимал, словно пробовал, долго ли он сумеет удерживать дыхание. Наконец он убрал пальцы, выдохнул пушистый клуб морозного пара, улыбнулся и сказал:

– Так вот, значит. За десять долларов я ваш со всеми потрохами. – Он подмигнул мне:

– Ну как, мальчуган, договорились? Сколько он тебе платит?

– Он мой отец, – с возмущением настаивал я. Отец растирал свои бородавчатые руки под фонарем, он был такой прямой, что казался неживым, как будто его мгновение назад зарубили насмерть и сейчас он рухнет на землю.

– Пять долларов, – сразу спустил цену пьянчуга. – Паршивую пятерку. И, не дожидаясь ответа, сбавил еще:

– Ну ладно, один. Разнесчастную долларовую бумажку мне на выпивку, чтоб я не замерз как собака. Давай, шеф, раскошеливайся. А я укажу вам гостиницу, где не задают никаких вопросов.

– Гостиницы для меня дело знакомое, – сказал отец. – Во время кризиса я работал ночным портье в этой старой развалине «Осирисе», куда она не закрылась. Клопы там стали такие же толстые, как проститутки, клиенту и не разобрать было. Вы, наверное, «Осирис» не помните?

Пьянчуга перестал усмехаться.

– Сам-то я из Истоны, – сказал он.

И я с удивлением заметил, что он гораздо моложе отца; по сути дела, он был просто мальчишка, как я.

Отец порылся в кармане, наскреб мелочи и отдал ее молодому человеку.

– Я дал бы вам больше, друг мой, но у меня, право, нет. Это последние мои тридцать пять центов. Я школьный учитель, а нам платят поменьше, чем на фабриках. Но мне было очень приятно с вами побеседовать. Позвольте пожать вашу руку. – И пожал. – Вы прояснили мои мысли, – сказал он пьянчуге.

Потом он повернулся и пошел назад, туда, откуда мы пришли, и я поспешил за ним следом. От света звезд и всего этого сумасшествия мне показалось, что кожа у меня стала прозрачной и ее распирает все то, чего мы хотели и не смогли достичь: черная машина; наш дом, моя мама, которая там, далеко от нас, наверное, уже места себе не находит. Мы шли теперь против ветра, и прозрачная маска холода сковывала мое лицо. Сзади без умолку, как орел в бурю, кричал пьянчуга:

– Ну молодец! Ну молодец!

– Куда мы? – спросил я.

– В гостиницу, – ответил отец. – Этот человек меня образумил. Тебе надо согреться. Ты моя гордость и радость, сынок. Надо беречь сокровища. Тебе необходимо выспаться.

– Нужно позвонить маме, – сказал я.

– Ты прав, – согласился он. – Ты прав.

И когда он повторил это дважды, я почему-то подумал, что он этого не сделает.

Мы свернули налево, на Уайзер-стрит. Здесь море неоновой светил, казалось, согревало воздух. В одном окне видно было, как жарят сосиски. Свет расплавлял фигуры прохожих, они текли, сгорбив плечи, спрятав лица. Но все же это были люди, и уже одно то, что они существуют, ободряло меня, казалось благом, сулило жизнь и мне. Отец свернул в узкий подъезд, которого я никогда раньше не замечал. Шесть ступеней вверх, глухая двойная дверь, а за ней, на неожиданно высокой площадке, стол, клетка лифта, массивная лестница, несколько потертых стульев со смятыми и продавленными сиденьями. Слева было что-то вроде перегородки из горшков с цветами, за которой слышались голоса и мерное звяканье стекла о стекло, как будто звенел колокольчик на входной двери. И запах там стоял такой, какой я нюхал только в детстве, когда меня по воскресеньям посылали купить бумажное ведерко устриц в полуресторане-полуунивермаге у Монни. Монни был рослый флегматичный немец в глухом черном свитере, заведение его помещалось в оштукатуренном каменном доме, неподалеку от трамвайных путей, а город в то время назывался Тилден. Когда открывали дверь, звякал колокольчик, и когда закрывали – тоже. Темные прилавки с диковинными сладостями и табаком тянулись вдоль одной стены, и тут же квадратные столы, накрытые прозрачными скатертями, ждали посетителей к ужину. На стульях сидели старики, и я воображал, что это они приносили с собой запах. Там пахло жевательным табаком, лежалой ботиночной кожей, пропыленным деревом и главное – устрицами; неся домой скользкое бумажное ведерко, верхние края которого были искусно сложены, как салфетка на воскресном обеде, я словно прихватывал частицу воздуха от Монни; мне казалось, что за мной в голубых вечерних сумерках легким темным шлейфом стелется запах устриц и в нем за поворотом тонут деревья и дома. И вот теперь этот запах воскрес.

Горбун портье, с тонкой, как папиросная бумага, кожей и распухшими, искривленными артритом суставами пальцев, положил «Кольерс», который он читал, и, подняв сморщенное лицо, выслушал объяснения отца, который вынул бумажник, показал свое удостоверение и объяснил, что он Джордж У. Колдуэлл, учитель олинджерской школы, а я его сын Питер, что наша машина сломалась возле фабрики Эссика, а живем мы далеко, за Файртауном, и нам нужна комната, но денег у нас нет. Высокая красная стена выросла у меня в голове, я готов



был лечь около нее и заплакать.

Горбун отмахнулся от удостоверения и сказал:

– Да я вас знаю. У вас моя племянница учится, Глория Дэвис. Она всегда с уважением говорит о мистере Колдуэлле.

– Глория хорошая девочка, – сказал отец неловко.

– А мать говорит – шалунья.

– Я этого не замечал.

– И мальчишек слишком любил.

– При мне она всегда держалась как настоящая леди.

Горбун повернулся и взял ключ от деревянным номерком.

– Я отведу вам комнату на третьем этаже, чтоб не мешал шум из бара.

– Большое спасибо, – сказал отец. – Написать чек?

– Успеете и утром, – сказал горбун с улыбкой, и сухая кожа на его лице заблестела. – Надеюсь, мы не последний день живем.

Он повел нас по узкой лестнице, и блестящие перила плавно круглились под моей рукой, как спина исступленной кошки, когда ее гладишь. Лестница огибала зарешеченную шахту лифта, и с каждой площадки перед нами открывались коридоры, кое-где устланные коврами. Потом мы пошли по одному из коридоров, и наши шаги громко раздавались на дощатом полу там, где ковров не было. В конце коридора, за батареей отопления, у окна, выходящего на Уайзер-сквер, горбун сунул ключ в замочную скважину и открыл дверь. Вот она, наша цель: весь вечер мы в неведении приближались к этой комнате с двумя кроватями, окном, двумя тумбочками и висячей лампой без абажура. Горбун зажег свет. Отец пожал ему руку и сказал:

– Вы джентльмен и мудрец. Мы жаждали, и вы утолили нашу жажду.

Горбун махнул искривленной рукой.

– Ванная вон за той дверью, – сказал он. – Там должен быть чистый стакан.

– Я хотел сказать, что вы добрый самаритянин, – продолжал отец. Бедный мальчик совсем с ног падает.

– Ничего я не падаю, – возразил я.

И когда портье вышел, я, все еще раздраженный, спросил отца:

– Как называется эта дыра?

– "Нью-Йоркец", – ответил он. – Настоящий старый клоповник, правда?

Это показалось мне черной неблагодарностью, и я сразу переметнулся на другую сторону.

– Скажи спасибо, что добрый старик пустил нас, ведь у нас нет за душой ни цента.

– Никогда не знаешь, кто тебе настоящий друг, – сказал отец. – Голову даю на отсечение,

знай эта дрянь Дэвис, что сослужила мне службу, ее всю ночь душили бы кошмары.

– А почему у нас нет денег? – спросил я.

– Этот вопрос я задаю себе вот уже пятьдесят лет. Хуже всего то, что завтра придется подписать чек, а это будет обманом, потому что в банке на счете у меня двадцать два цента.

– А получка? Ведь уже середина месяца!

– Дело к тому идет, что мне вообще ее не видать, – сказал отец. – Когда в школьном совете прочтут отзыв Зиммермана, они еще с меня деньги взыщут.

– Да кто эти отзывы читает? – буркнул я, злясь, потому что не знал, раздеваться мне или нет. Я не хотел показывать ему свои пятна, так как это всегда его огорчало. Но ведь он все-таки был моим отцом, и я, повесив куртку на шаткий, скрепленный проволокой стул, начал расстегивать красную рубашку. Он повернулся и взялся за ручку двери.

– Ну, надо двигать, – сказал он.

– Куда еще? Передохнул бы наконец.

– Нужно позвонить маме и машину запереть. А ты ложись, Питер. Тебя сегодня чуть свет подняли. Мне всегда тяжело тебя будить, сам с четырех лет недосыпаю. Ты заснешь? Или принести тебе из машины учебники, будешь учить уроки?

– Не надо.

Он посмотрел на меня так, словно хотел попросить прощения, покаяться или что-то предложить. Были такие слова – я их не знал, но верил, что отец знает, – которые нам давно надо было сказать друг другу... Но он сказал только:

– Надеюсь, ты уснешь. У тебя ведь нервы в порядке, не то что у меня в твоем возрасте.

Нетерпеливо дернув дверь, так что защелка царапнула дерево, он вышел.

Стены пустой комнаты – это зеркала, которые бесконечное число раз отражают человека таким, каким он сам себя представляет. И когда я остался один, меня вдруг охватило волнение, как будто я попал в общество блестящих, знаменитых и красивых людей. Я подошел к единственному окну и посмотрел на сверкающий хаос Уайзер-сквер. Это был лабиринт, шлюз, озеро, куда со всего города стекался свет автомобильных фар. На протяжении двух кварталов Уайзер-стрит была самой широкой улицей в восточных штатах; сам Конрад Уайзер ставил здесь столбы, планируя в восемнадцатом веке город, просторный, светлый и свободный. Теперь здесь струились огни фар, словно воды пурпурного озера, поднимавшиеся до самого моего подоконника. Вывески магазинов и баров зеленой и красной травой стлались по его берегам. У Фоя, в олтонском универмаге, витрины сверкали, как квадратные звезды, в шесть рядов, а еще они были похожи на печенье из двух сортов муки: снизу, где ярко горели лампочки, – из пшеничной, а сверху, где тон становился темнее, – из ячменной или ржаной. Напротив, высоко над крышами домов, сверкала большая неоновая сова с электрическим приспособлением, которая подмигивала и равномерно, в три последовательные вспышки, подносила Крылом к клюву светящийся бисквит. Разноцветные буквы у нее под лапами возвещали попеременно:

БИСКВИТЫ «СОВА»

Лучшие в мире

### Лучшие в мире

Эта реклама и другие, поменьше – стрела, труба, земляной орех, тюльпан, – казалось, отражались в самом воздухе, мерцали на прозрачной плоскости, простиравшейся над площадью на уровне моего окна. Автомобили, светофоры, дрожащие силуэты людей сливались для меня в чудесный напиток, который я поглощал глазами, и в его парах мне виделось будущее. Город. Вот он, город: на стенах комнаты, где я стоял в одиночестве, дрожали отсветы реклам. Отойдя от окна, зрячий, но незримый, я продолжал раздеваться, и струпья, которых я касался, были как грубые, крапчатые листья, под которыми прячется нежный, тонкий, серебристый плод. Я стоял в одних трусах на краю омота; следы моих босых ног отпечатались в иле, меж тростников; сам Олтон уже купался в озере ночи. Влажные огни преломлялись в неровном оконном стекле. Чувство неизведанного и запретного захлестнуло меня, как ветер, и я вдруг почувствовал себя единорогом.

Олтон ширился. Его руки – белые уличные огни – тянулись к реке. Сияющие волосы раскинулись по поверхности озера. Я чувствовал, что мое существо разрастается, пока, любящий и любимый, видящий и видимый, я не вобрал в себя несколькими могучими охватами самого себя, город и будущее, и в эти мгновения действительно оказался в центре всего, победил время. Я торжествовал. Но город жил и мерцал за окном, непоколебимый, свободно пройдя сквозь меня, и я, опустошенный, стал ничтожно маленьким. Торопливо, словно мое крошечное тело было горсткой тающих кристаллов, которые, если их не подобрать, исчезнут совсем, я снова натянул на себя белье и лег в постель, к самой стенке; холодные простыни раздвинулись, как мраморные листья, и я ощутил себя сухим семенем, затерянным в складках земли. Господи, помилуй, помилуй меня, храни отца, маму, дедушку и ниспошли мне сон.

Когда простыни согрелись, я вырос до человеческого роста и, постепенно погружаясь в дрему, снова ощутил, как чувство огромности разом, и живое и бездыханное, пронизало все мои клетки, и теперь я казался себе гигантом, у которого в мизинце заключены все галактики, какие есть во Вселенной. Это чувство подчинило себе не только пространство, но и время; так же просто, как говорят: «Прошла минута», для меня прошла вечность с тех пор, как я встал с постели, надел ярко-красную рубашку, топнул ногой на мать, погладил собаку через мерзлую металлическую сетку и выпил стакан апельсинового сока. Эти картины проходили передо мной как фотографии, отпечатанные на тумане в звездной дали; а потом среди них всплыли Лорен Бэкелл и Дорис Дэй, и их лица помогли мне вернуться на твердую почву повседневности. Я стал воспринимать детали: далекий гул голосов, спираль проволоки, которой была обмотана ножка стула, в нескольких футах от моего лица, раздражающие блики света на стенах. Я встал с постели, опустил шторы и снова лег. Как тепло было здесь по сравнению с моей комнатой в Файртауне! Я вспомнил маму и в первый раз почувствовал, что скучаю по ней; мне хотелось вдохнуть знакомый запах каши и забыться, глядя, как она хлопочет на кухне. Когда увижу ее, непременно скажу ей, что теперь я понял, почему она так рвалась на ферму, и не виню ее. И дедушку надо больше уважать, выслушивать его, потому что... потому что... ведь дни его сочтены.

Мне показалось, что именно в этот миг отец вошел в комнату – должно быть, я заснул. Я чувствовал, что губы у меня распухли, босые ноги стали длинными и мягкими, будто без костей. Его большой темный силуэт пересек розовую полосу, которая сквозь опущенную штору ложилась на стену в углу. Я слышал, как он положил на стол мои учебники.

– Ты спишь, Питер?

– Нет. Где ты был?

– Звонил маме и Элу Гаммелу. Мама велела сказать тебе, чтобы ты ни о чем не беспокоился, а Эл с утра пришлет грузовик за нашей машиной. Он полагает, что карданный вал сломался, обещал достать подержанный для замены.

– Как ты себя чувствуешь?

– Прекрасно. Я тут разговорился в вестибюле с милейшим человеком: он разъезжает по всем восточным штатам, консультирует крупные магазины и компании, как наладить рекламные радиопередачи, зарабатывает чистыми двадцать тысяч в год и при этом два месяца отдыхает. Я объяснил ему, что как раз такая творческая работа тебя интересует, и он сказал, что охотно с тобой познакомится. Я хотел подняться позвать тебя, да побоялся, думал, ты сладко спишь.

– Нет, спасибо, – сказал я.

Его силуэт двигался взад-вперед, застилая полосу света, пока он снимал пиджак, галстук, рубашку.

Он засмеялся.

– Значит, послать его подальше, а? Пожалуй, это будет самое правильное. Такой человек за цент горло готов перегрызть. Мне всю жизнь с этими людьми приходилось дело иметь. Очень уж они умничают.

Наконец он улегся, перестал шелестеть простынями, и стало тихо, а потом он сказал:

– Ты, Питер, о своем старике не беспокойся. Будем уповать на бога.

– Я и не беспокоюсь, – отозвался я. – Спокойной ночи.

Снова тишина, а потом темнота сказала:

– Приятного сна, как говорит наш дед.

И от этого упоминания о дедушке я вдруг почувствовал себя в чужой комнате как дома и заснул, хотя в коридоре хохотала какая-то женщина и на всех этажах хлопали двери.

Спал я спокойно, крепко, сны шли урывками. Проснувшись, я вспомнил только бесконечную химическую лабораторию, где, словно отраженные в зеркалах, множились колбы, пробирки и бунзеновские горелки из сто седьмого класса нашей школы. На столе стоял маленький стеклянный кувшин, в каких моя бабушка хранила яблочное повидло. Стекло было мутное. Я взял кувшин, приложил к нему ухо и услышал тихий голос, отчетливый, как у врача, который, проверяя слух, называет цифры, и этот голос повторял едва слышно, но явственно: «Я хочу умереть. Я хочу умереть».

Отец уже встал и оделся. Он поднял штору и стоял у окна, глядя на город, вползавший в серое утро. Небо было пасмурное, облака, как огромные булки, повисли над кирпичным городским горизонтом. Отец открыл окно, чтобы ощутить дух Олтона, и воздух был уже не такой, как вчера: он стал мягче, тревожней, настороженней. Что-то надвигалось на нас.

Внизу на месте вчерашнего портье был другой, помоложе, этот уже не улыбался и, выпрямившись, стоял у своего стола.

– А что, пожилой джентльмен уже сменился? – спросил отец.

– Смешная вышла история, – сказал новый портье без тени улыбки. – Чарли ночью приказал долго жить.

– Как? Что с ним случилось?

– Не знаю. Говорят, дело было около двух часов. А мне заступать только с восьми. Он встал, пошел в уборную, упал и умер. Наверное, что-нибудь с сердцем. Скорая помощь приезжала, вы не слышали?

– Значит, это по моему другу выла сирена? Просто не верится. Он поступил с нами как истинный христианин.

– Я-то его мало знал.

Только после долгих объяснений портье с недоверчивой гримасой согласился взять чек.

Мы с отцом вывернули карманы и наскребли мелочи, которой хватило на завтрак в передвижном ресторанчике. У меня был еще доллар в бумажнике, но я промолчал, решил приберечь его на крайний случай. В ресторанчике у стойки толпились рабочие, хмурые, невыспавшиеся. Я с облегчением увидел, что на кухне орудует не наш вчерашний пассажир. Я заказал оладьи с ветчиной и впервые за много месяцев позавтракал в свое удовольствие. Отец взял пшеничные хлопья с молоком, проглотил несколько ложек и отодвинул тарелку. Он посмотрел на часы. Они показывали 7:25. Он подавил отрыжку; его лицо побелело, глаза ввалились. Он заметил, что я с беспокойством смотрю на него, и сказал:

– Сам знаю. Я на черта похож. Побреюсь в школе в кубовой. Геллер даст мне бритву.

Щетина, отросшая за сутки, как утренняя изморозь, сероватым налетом покрывала его щеки и подбородок.

Мы вышли из ресторанчика и пошли на юг, туда, где в вышине погасла и замерла сова из неоновых трубок. Потеплело, прозрачный зимний туман лизал сырой асфальт. Мы сели на трамвай на углу Пятой улицы и Уайзер-стрит. В вагоне весело, блестели соломенные сиденья, было тепло и почти пусто. Мало кто ехал в эту сторону – город всех притягивал к себе. Олтон поредел; сплошные ряды домов взламывались, как река ао время ледохода; дальний холм был сверху покрыт унылой зеленью, а внизу лепились новые, словно пастелью нарисованные домики; мы проехали длинный спуск, мелькнул киоск мороженщика, на котором красовался большой гипсовый стаканчик, а там пошли уже олинджерские дома из цветного кирпича. Слева показалась территория школы, а потом и само оранжево-красное здание; высокая труба котельной пронзала небо, как шпиль. Мы вышли у гаража Гаммела. Нашего «бьюика» там еще не было. Сегодня мы не опоздали; машины только вползали на стоянку. Оранжевый автобус на всем ходу свернул к обочине и резко остановился; ученики, издали казавшиеся не больше птичек, яркие, разноцветные, выпархивали из его дверей парами.

Когда мы с отцом шли по улице, отделявшей пришкольную лужайку от гаража Гаммела, на мостовой взметнулся маленький вихрь и понесся впереди нас. Давно увядшие листья, ломкие, как крылья мертвой бабочки, голубые конфетные обертки, мусор, пыль, травинки из канавы с шелестом завертелись перед нашими глазами; и в этом кружении угадывались очертания какого-то невидимого существа. Оно прыгало от обочины к обочине, и в его шелестящих вздохах мне слышались бессмысленные слова; я почувствовал невольное желание остановиться, но отец все шел. Брюки его трепал ветер, что-то холодное лизало мои щиколотки, и я зажмурился. А когда я оглянулся, вихрь уже исчез.

У школы мы расстались. Я вместе с другими учениками должен был по правилам ждать у стеклянной двери. Отец вошел и зашагал по длинному коридору, высоко неся голову с гривой

волос, которые он растрепал, когда сдернул синюю вязаную шапочку, и каблуки его громко стучали по блестящим доскам. Он становился все меньше в их перспективе и у дальней двери стал тенью, мотыльком, едва видимым на фоне света, в-который он погрузился. Дверь открылась; он исчез. Я весь покрылся испариной, и страх больно сжал мне сердце.

5

Джордж У. Колдуэлл, учитель, пятьдесят лет.

Мистер Колдуэлл родился 21 декабря 1896 года на Острове Статен, Нью-Йорк. Его отец, преподобный Джон Уэсли Колдуэлл, был питомцем Принстонского университета и Нью-Йоркской богословской семинарии. Выйдя из стен семинарии, он избрал стезю пресвитерианского священника и в пятом поколении служил, как и его предки, тому же вероисповеданию. Его жена, в девичестве Филлис Харторн, была родом с Юга, из окрестностей Нэшвилла, штат Теннесси. Она подарила супругу не только свою красоту и обаяние, но и пылкое благочестие, столь свойственное женщинам из лучших южных семей. Бесчисленное множество прихожан обязано ей примером истинной веры и христианской стойкости; когда ее муж, трагически рано, в возрасте сорока девяти лет, был призван к высшему служению пред иным алтарем, она в тяжкий год его продолжительной болезни заменяла его в церкви и по воскресеньям сама всходила на кафедру.

Бог благословил супругов двумя детьми, из которых Джордж был младшим. В марте 1900 года, когда Джорджу было три года, его отец оставил свой приход на острове Статен, так как получил приглашение в Первую пресвитерианскую церковь в Пассейике, штат Нью-Джерси, на углу Гроув-стрит и Пассейик-авеню – это величественное здание из желтого мрамора стоит и поныне, в недавнем прошлом перестроенное и расширенное. Здесь в течение двух десятилетий Джону Колдуэллу было суждено проливать свет своих знаний, своего острого ума и непоколебимой веры на обращенные к нему лица паствы. Здесь же, в Пассейике, который некогда назывался Акваканонк, тихом городке на берегу реки, чьи сельские красоты в те времена еще не затмила бурно развивающаяся промышленность, и провел свое отрочество Джордж Колдуэлл.

Многие в этом городке и посейчас помнят веселого мальчика, превосходного спортсмена, который умел не только приобретать друзей, но и сохранять их. Его прозвали Палочкой, по всей вероятности, за необычайную худобу. Идя по стопам отца, он рано проявил интерес к отвлеченным знаниям, хотя впоследствии с шуточной скромностью, столь присущей этому человеку, говорил, что пределом его мечтаний было стать аптекарем. К счастью для целого поколения олинджерского юношества, судьба его сложилась иначе.

Юность мистера Колдуэлла была омрачена безвременной кончиной отца и вступлением Америки в первую мировую войну. Врожденный и естественный патриотизм побудил его в конце 1917 года поступить в штабной отряд семьдесят восьмого дивизиона, и он едва не погиб в Форт-Диксе во время эпидемии инфлюэнцы, свирепствовавшей в армейских лагерях. Под номером 2.414.792 он готовился отплыть для несения службы в Европу, но тем временем было заключено перемирие; это был единственный случай, когда Джордж Колдуэлл едва не покинул родную страну, которую ему предстояло обогатить в качестве скромного труженика, учителя, примерного прихожанина, передового гражданина, сына, мужа и отца.

После демобилизации Джордж Колдуэлл стал единственной опорой матери сестра его вышла замуж – и сменил много специальностей: торговал вразнос энциклопедиями, был водителем экскурсионного автобуса в Атлантик-Сити, тренером в Пэтерсонском спортклубе АМХ, кочегаром на линии Нью-Йорк Саскуиханна и на Западной линии, даже коридорным в гостинице и мойщиком посуды в ресторане. В 1920 году он поступил в колледж в Лейке, близ Филадельфии, и самостоятельно, без всякой материальной поддержки, окончил его с отличием в 1924 году, специализируясь по химии. Превосходно успевая по всем дисциплинам, он совмещал учебу с работой и, кроме того, удостоился стипендии спортивного общества, которая наполовину покрывала плату за обучение. Три года бессленно защищая ворота студенческой футбольной команды, он в общей сложности семнадцать раз покидал поле со сломанным носом, дважды с серьезным повреждением колена и по одному разу с трещинами берцовой кости и ключицы. Там, в живописном студенческом городке, среди дубовых рощ, на берегу сверкающего озера, которое лени-ленапе &lt;местное название индейского племени делаваров&gt; («первые люди», как они называли себя) почитали некогда священным, он встретил и полюбил мисс Хэсси Крамер, родом из Файртауна, Олтонский округ. В 1926 году они поженились в Хейджерстауне, штат Мэриленд, и в последующие пять лет побывали во многих восточных штатах, а также в Огайо и Западной Виргинии, так как Джордж получил должность линейного монтера в телефонной и телеграфной компании «Белл».

Как говорится, нет худа без добра. В 1931 году судьба родины снова повлияла на личную судьбу Колдуэлла: вследствие экономических потрясений, обрушившихся на Соединенные Штаты, Джордж Колдуэлл был исключен из платежных ведомостей индустриального гиганта, каковому он служил не за страх, а за совесть. Он с женой, которая готовилась вскоре увеличить бремя его ответственности, дав жизнь новому человеческому существу, поселились у ее родителей в Олинджере, где мистер Крамер за несколько лет перед тем купил красивый белый домик на Бьюкенен-роуд, ныне принадлежащий доктору Поттеру. Осенью 1933 года мистер Колдуэлл принял на себя обязанности учителя в олинджерской средней школе, обязанности, которые ему предстояло нести до конца своих дней.

Как обрисовать его профессиональный облик? Совершенное знание предмета, неиссякаемая любовь к своим не столь одаренным коллегам, необыкновенная способность находить яркие сравнения и преподносить учебный материал в свежей, неожиданной форме, оживляя его жизненными примерами, непринужденное остроумие, актерские способности, о которых нельзя не упомянуть, беспокойный и пытливый характер, заставлявший его постоянно совершенствовать свое педагогическое мастерство, – вот далеко не полный перечень его достоинств. И, пожалуй, особенно живо запечатлелось в памяти его бывших учеников (к числу которых принадлежит и автор этих строк) его редкостное бескорыстие, непрестанная забота о человечестве, заставлявшая его всю жизнь пренебрегать собственным благополучием и заслуженным отдыхом. Учиться у мистера Колдуэлла – значило устремляться ввысь. И хотя порой терялось ощущение дистанции между учителем и классом – столь полным и безраздельным было их взаимное слияние, – никогда не терялось чувство, что «он человек был в полном смысле слова» &lt;слова Гамлета&gt;.

Наряду с серьезной нагрузкой сверх учебной программы – обязанностями тренера нашей славной команды пловцов, распределением билетов на все футбольные, баскетбольные, легкоатлетические и бейсбольные состязания, а также руководством кружком связистов – мистер Колдуэлл нес на себе гигантское бремя общественной деятельности. Он был секретарем олинджерского клуба «Толкачей», консультантом двенадцатой группы бойскаутов, членом комитета по реализации предложения о создании городского парка, вице-президентом клуба «Львов» и председателем клубной комиссии по ежегодной распродаже электрических лампочек в пользу слепых детей. Во время последней войны он был начальником самообороны квартала и внес немалый вклад в дело Победы. Республиканец и просвигитеринин по рождению, он стал демократом и лютеранином и многое

сделал как для своей партии, так и для лютеранской церкви. Он долгое время был старостой и членом церковного совета лютеранского храма Спасителя в Олинджере, а переехав в живописный сельский дом близ Файртауна, «родовое гнездо» жены, вскоре стал старостой и членом церковного совета файртаунской евангелическо-лютеранской церкви. Мы не можем здесь, в силу самого характера данной статьи, упомянуть о бесчисленных и безвестных благотворительных деяниях и проявлениях доброй воли, посредством которых он, вначале чужой в Олинджере, прочно связал себя о городом узами гражданства и братства.

Он оставил сестру Альму Террио, проживающую в городе Троя, штат Нью-Йорк, а также тестя, жену и сына, проживающих в Файртауне.

6

Я лежал, прикованный к скале, и ко мне приходили многие. Первым пришел мистер Филиппс, коллега и друг отца, тот самый, у которого на волосах сохранился след от бейсбольного шлема. Он поднял руку, требуя внимания, и заставил меня играть в игру, которая, по его мнению, развивает сообразительность.

– К четырем прибавить два, – сказал он быстро, – помножить на три, вычесть шесть, разделить на два, прибавить четыре, сколько получится?

– Пять? – ляпнул я, потому что сбился со счета, заглядевшись, как проворно шевелятся его губы.

– Нет, десять, – сказал он, укоризненно качая гладко причесанной головой. Он был необычайно аккуратен во всем и не терпел никакой неточности.

– Шесть разделить на три, – сказал он, – прибавить десять, помножить на три, прибавить четыре, разделить на четыре, сколько получится?

– Не знаю, – сказал я жалобно. Рубашка как огонь палила мне кожу.

– Десять, – сказал он, огорченно поджимая растягивающиеся, как резина, губы. – Но к делу. – Он преподавал общественные науки. – Перечисли членов кабинета Трумэна. Вспомни, как я учил вас запоминать по первым буквам.

– А – Дин Ачесон, государственный секретарь, – сказал я и больше никого не мог вспомнить. – Но послушайте, мистер Филиппс, ведь вы его друг, скажите мне, – взмолился я, – разве это может быть? Куда же деваются души?

– Т, – ответил он, – Танатос, демон смерти уносит мертвых. Ну-ка, дружок, два плюс три, веселей, веселей!

Он ловко отпрыгнул в сторону, нагнулся и быстро подхватил что-то. Прижал к себе, медленно повернулся и подбросил высоко в воздух. Это был волейбольный мяч, и вершины гор у меня за спиной взвыли. Я рванулся, хотел отбить мяч через сетку, но запястья мои были скованы льдом и медной цепью. У мяча появились глаза и волосы, похожие на кукурузную метелку. Лицо Дейфендорфа придвинулось вплотную, я чувствовал его смрадное дыхание. Он сложил руки так, что между ладонями оставался маленький ромбовидный просвет.



– Понимаешь, им нужно, чтобы ты был вот здесь, – сказал он. – Все они такие, им только этого и надо, взад-вперед.

– Но ведь это скотство, – сказал я.

– Конечно, гадость, – согласился он. – Но ничего не поделаешь. Взад-вперед, взад-вперед, и больше ничего. Питер, а целовать, обнимать их, говорить всякие красивые слова – все без толку, с них это как с гуся вода. Приходится делать так.

Он зажал во рту карандаш и показал, как это делается, опуская лицо к ладоням, – карандаш торчал резинкой наружу из его дикарских зубов. И в этот миг, когда я глядел на него во все глаза, для меня ничего в мире не существовало, кроме этого лица. Он выпрямился, разнял руки и погладил две пухлые подушечки на левой ладони.

– А если у нее ноги слишком толстые, – сказал он, – туда и не прорвешься, понял?

– Кажется, да, – сказал я. Мне мучительно хотелось почесать руку там, где расползлась красная рубашка.

– Так что не очень-то презирай тощих, – предостерег меня Дейфендорф, и мне было противно видеть, как его лицо стало серьезным и сосредоточенным, потому что я знал – это нравилось в нем отцу. – Взять, к примеру, худенькую, вроде Глории Дэвис, или длинную, поджарую, вроде миссис Гаммел, – понимаешь, с такой чувствуешь себя спокойней... Слышь, Питер?

– Ну чего? Чего тебе еще?

– Хочешь, научу, как узнать, страстные они или нет?

– Хочу. Конечно, хочу.

Он ласково погладил ладонь около большого пальца.

– Гляди сюда. Бугорок Венеры. Чем он больше, тем больше у них этого самого.

– Тем больше чего?

– Не будь дураком. – Он так ткнул меня в бок, что я охнул. – И потом, скажи-ка, почему у тебя на ширинке всегда желтое пятно?

Он захохотал, и я услышал, как у меня за спиной этот хохот подхватили горы Кавказа, шлепая друг друга полотенцами и встряхивая своей серебряной плотью.

А потом ко мне пришел наш город, весь раскрашенный, как индеец, с лицом, помутневшим от напрасно пролитых слез.

– Ну, уж ты-то нас помнишь, – сказал я. – Мы ходили вдоль трамвайных путей, и я всегда торопился, чтоб не отстать.

– Помню? – Он растерянно провел рукой по щеке и выпачкал пальцы сырой глиной. – Столько людей...

– Колдуэллы, – сказал я. – Джордж и Питер. Он был учителем в школе, а когда война кончилась, изображал дядю Сэма и шел впереди на параде мимо пожарной каланчи, там, где раньше трамвай ходил.

– Был тут один, – сказал он, силясь вспомнить, и веки у него задрожали, как у лунатика, – толстый такой...

– Да нет же, худой и высокий.

– Все вы, – сказал он с неожиданной досадой, – воображаете, что, если прожили здесь несколько лет, я должен... должен... Вас тысячи. Были и будут тысячи... Сначала «первые люди». Потом валлийцы, квакеры, немцы из Талпехокен Вэлли... И все хотят, чтоб я их помнил. А у меня слабая память. – И после этого признания лицо его вдруг сморщилось в улыбке, которая так просветлила землистые пятна на его щеках, что в этот миг я полюбил его даже в его слабости. – И чем больше я старею, чем больше меня расширяют, строят улицы на Шейл-хилл, новый квартал со стороны Олтона, тем меньше... я помню. Многие становятся безразличным.

– Он состоял в клубе «Львов», – напомнил я, – но президентом его так и не выбрали. И еще – в комитете по устройству городского парка. Он всегда делал добрые дела. Любил бродить по улицам и часто бывал в гараже Гаммела, вон там на углу.

Он закрыл глаза, и лицо стало такое же, как веки, растянутое и словно пленкой подернутое, все в прожилках, безучастное, как у покойника. Кое-где поблескивали непросохшие мазки краски.

– Когда же это выпрямили переулок Гаммела? – пробормотал он про себя. Там была столярная мастерская и лачуга, где жил слепой, он ослеп на войне, во время газовой атаки. Но вот я вижу, по улице идет человек. Из кармана у него торчат испорченные ручки...

– Это мой отец! – воскликнул я.

Он сердито покачал головой и медленно поднял веки.

– Нет, – сказал он. – Никого там нет. Это просто тень дерева. – Он усмехнулся, вынул из кармана крылатое кленовое семя, ловко расщепил его ногтем большого пальца и наклеил на нос, как делали мы в детстве, получился маленький зеленый рог. На лице, разрисованном желтой краской, это выглядело зловеще, и он в первый раз посмотрел прямо на меня. Глаза у него были черные, как нефть или перегной. – Понимаешь, – явственно произнес он, – вы уехали. Не надо было уезжать.

– Я не виноват, это все мама...

Прозвенел звонок. Было время завтрака, но мне не принесли поесть. Я сидел напротив Джонни Дедмена, и с нами были еще двое. Джонни раздал карты. И так как я не мог их поднять, он быстро поднес каждую к моему лицу, и я увидел, что это не простые карты. Вместо обычных картинок и очков на них были тусклые фотографии.

Туз бубен: Белая женщина, уже немолодая, сидит на стуле голая и улыбается.

Валет червей: Белая женщина и негр, совершающие акт взаимной любви.

Десятка треф: Четверо лежат квадратом, женщины попеременно с мужчинами – один негр, остальные белые.

Карты были дешевые, плохо напечатанные, и поэтому некоторые подробности, которые мне нестерпимо хотелось увидеть, были едва различимы.

Чтобы скрыть смущение, я равнодушно спросил:

– Где ты их достал?

– В Олтоне, в табачной лавке, – сказал Джонни. – Но надо знать, у кого спросить.

– Неужели и впрямь все пятьдесят две штуки такие? Вот чудеса.

– Все, кроме вот этой, – сказал он и показал мне туза пик. Это был самый обыкновенный туз пик.

– Вот досада.

– Другое дело, если перевернуть его вверх ногами, – сказал он; теперь туз был похож на яблоко с толстым "черным черенком.

Я недоумевал.

– Покажи остальные, – попросил я его.

Джонни взглянул на меня своими хитрыми глазами, и его пушистые щеки порозовели.

– Обожди, учительский сынок, – сказал он. – За это надо платить. Я-то заплатил.

– Но у меня денег нет. Сегодня мы ночевали в гостинице, и отцу пришлось дать портье чек.

– Врешь, у тебя есть доллар. Ты припрятал его от старого дурака. У тебя есть доллар в бумажнике в заднем кармане.

– Но я не могу туда дотянуться, у меня руки скованы.

– Что ж, – сказал он. – Тогда сам купи себе карты, нечего зря трепаться.

И он сунул колоду в карман зеленой, как трава, рубашки из красивой грубошерстной ткани. Поднятый воротник терся на затылке о его прилизанные волосы.

Я попытался достать бумажник; онемевшие плечи ныли; спина была словно приварена к скале. Пенни – она была рядом со мной, и от нес исходил едва уловимый запах невинности – прижалась лицом к моей шее, стараясь достать бумажник.

– Брось, Пенни, – сказал я ей. – Не стоит. Эти деньги понадобятся, потому что мы должны поесть сегодня в городе перед баскетбольным матчем.

– И зачем вы переехали на ферму? – сказала она. – Из-за этого столько неудобств.

– Правда, – сказал я. – Зато теперь нам легче быть вместе.

– Но ты никогда этим не пользовался, – сказала она.

– Один раз воспользовался, – сказал я в свое оправдание и покраснел.

– Хрен с тобой, Питер, на, гляди, – со вздохом сказал Джонни. – И не говори потом, что я жадный.

Он перебрал колоду и опять показал мне валета червей. Картинка мне нравилась – полная завершенность и симметрия, бурный водоворот плоти, лица скрыты белыми пышными бедрами и длинными распущенными волосами женщины. Но подобно тому, как на листе бумаги, заштрихованном черным карандашом, проступают стершиеся, давным-давно закрашенные на крышке парты инициалы и надписи, эта картинка снова оживила во мне тоску и страх за отца.

– Как думаешь, что покажет рентген? – спросил я как бы невзначай.

Он пожал плечами, помычал, что-то прикидывая, и сказал:

– Шансы равные. Может и так и этак обернуться.

– О господи! – воскликнула Пенни и прижала пальцы к губам. – Я забыла помолиться за него.

– Это ничего, – сказал я. – Не думай про это. Забудь, что я просил тебя. Только дай мне кусочек от твоего бифштекса. Маленький кусочек.

Весь сигаретный дым летел мне прямо в лицо; с каждым вдохом я словно глотал серу.

– Полегче, – сказала Пенни. – Этак ты весь мой завтрак съешь.

– Ты так хорошо ко мне относишься, – сказал я. – Почему? – Я задал этот вопрос, чтобы выманить у нее признание.

– Какой у вас теперь урок? – спросил Кеджерайз своим противным пустым голосом. Он тоже был с нами.

– Латынь. А я и не открывал этот вонючий учебник. Где там! Всю ночь шлялся с отцом взад-вперед по Олтону.

– То-то мисс Апплтон порадует, – сказал Кеджерайз. Он завидовал моим способностям.

– Ну, Колдуэллу она, небось, все простит, – сказала Пенни. Ей хотелось остеречь, а я этого не любил; не такая уж она была умная, и это ей не шло.

– Странный разговор, – сказал я. – Что это значит?

– А ты не замечал разве? – Ее зеленые глаза стали Совсем круглыми. Твой отец и Эстер вечно любезничают в коридоре. Она от него без ума.

– Да ты рехнулась, – сказал я. – У тебя просто помешательство на сексуальной почве.

Я хотел пошутить, но, странное дело, она рассердилась:

– А ты, значит, ничего не видишь, да, Питер? Спрятался в свою кожу, как в броню, и никого на свете не замечаешь?

«Кожа»... От этого слова я вздрогнул; но я был уверен, что она ничего не знает про мою кожу. Лицо и руки у меня были чистые, а больше она ничего не видела. Я терзался и боялся ее любви; ведь если она меня любит, значит, в конце концов мы сблизимся и придет мучительный миг, когда я должен буду обнажить перед ней свое тело... «Прости меня, – вдруг застучало у меня в мозгу, – прости, прости».

Джонни Дедмен, уязвленный тем, что на него не обращают внимания – в конце концов должны же младшие ценить, что он, старшеклассник, снисходит до них, – стасовал свою похабную колоду и притворно хихикнул.

– А вот картинка, умрешь, – сказал он. – Четверка стерв. То бишь черв. Женщина с быком.

Майнор бросился к нашему столу. Его лысина сверкала яростью, и ярость струилась из раздувавшихся ноздрей.

– Пр-р-о-чь! – зарычал он. – Убери! И не смей больше с этой дрянью сюда показываться.

Дедмен поднял голову, взглянул на него, помаргивая длинными загнутыми ресницами невинно и выжидающе. Потом процедил сквозь зубы:

– Шел бы лучше конину свою рубить.

Мисс Апплтон едва переводила дух – видно, ей нелегко было сюда взобраться.

– Питер, переведи, – сказала она и прочитала, безупречно произнося долгие и краткие гласные:

Dixit, et avertens rosea cervice rfulsit,  
ambrosiaequae comae divinum vertice odorem  
spiravere, pedes vestis defluxit ad inios,  
et vera incessu patuit dea

&lt;Молвила и, обретаясь, проблистала выею румяной;

И, как амброзия, дух божественный пролили косы

С темени; пали струей до самых ног одеянья;

В поступи явно сказала богиня.

(Вергилий, «Энеида», перевод В.Брюсова и С.Соловьева)&gt;.

Она выговаривала эти звонкие слова с латинским выражением лица: углы губ сурово опущены, брови подняты и неподвижны, на щеках – возвышенная бледность. А на уроке французского языка лицо у нее бывало совсем другое: щеки как яблоки, брови вздрагивают, губы сморщены, углы рта задорно подергиваются.

– Она сказала... – начал я.

– Молвила. Она молвила так, – поправила мисс Апплтон.

– Она молвила и... и... покраснела.

– Что у нее покраснело? Не лицо. Только cervice.

– Она молвила и, повернув свое... э-э... розовое чрево. – Смех в классе. Я смутился.

– Нет! Cervice, service. Шею.

– Она молвила и, поворачивая...

– Повернувшись.

– Она молвила, повернувшись, и ее розовая шея сверкнула.

– Очень хорошо.

– И... и... coma, coma – ком?

– Волосы, Питер, волосы.

– И... э... повернувшись опять...

– Ну нет, мальчик мой, не правильно. Vertice здесь существительное, vertex, verticis. Вихрь.

Вихрь, круговорот, корона волос, каких волос? Где определение?

– Как амброзия.

– Правильно, подобных амброзии, что в сущности значит – бессмертных. Амброзия чаще всего означала пищу богов, и слово дошло до нас в этом наиболее употребительном значении – сладкий напиток, нектар. Но боги, кроме того, пользовались амброзией как благовонием. – Мисс Апплтон говорила о богах уверенно, со знанием дела.

– И ее вихрь, путаница...

– Корона, Питер. Волосы у богов никогда не бывают спутаны.

– И корона ее подобных амброзии волос распространяла божественный запах.

– Так. Хорошо. Только лучше скажем не запах, а аромат. Запах – слишком грубо.

– Божественный аромат... ее покровы, ее одежды...

– Да, ее ниспадающие одежды. Все богини, кроме Дианы, носили свободные, ниспадающие одежды. Диана, божественная охотница, носила, конечно, более удобную тунику и, пожалуй, поножи, вероятно, из темно-зеленой или коричневой материи, как мое платье. Ее одежды упали...

– Я не понимаю *ad imos*.

– *Imus* – очень архаичное слово. Это превосходная степень от *inferus*, нижний. *Ad imos* – до самого низа. Здесь, буквально – до самого конца ее ног, что в переводе звучит не очень вразумительно. Слово использовано для эмфазы: поэт поражен. Чтобы передать это, можно найти некоторые варианты, скажем так: «Одежды упали к самым ее ногам». Смысл же – совершенно. Она была совершенно обнажена. Продолжай, Питер. Не теряй времени.

– Вниз к ее ногам и действительно открыли...

– Была открыта, обнажена, явилась взору, как *vera*. *Vera dea*.

– Истинная богиня...

– Правильно. А как связано с предложением *incessu*?

– Не знаю.

– Питер, право, это досадно. Ведь ты же будешь учиться в колледже. *Incessu* – значит «идя», «ступая». Поступью она была истинная богиня. Поступь здесь надо понимать как манеру держаться, как стиль; божественность – это своего рода стиль. Строки стихов преисполнены тем сиянием, которое нежданно пролилось на Энея. *Ille ubi matrem agnovit* – он узнал свою мать. Венеру. Венеру с ее ароматом амброзии, вихрем волос, струящимися одеждами, розовой кожей. А ведь он видит только, как она *avertens*, как она поворачивается и уходит прочь. Смысл отрывка в том, что, лишь когда она поворачивается и уходит, он видит ее во всем ее блеске, видит ее подлинное величие, видит, что она ему не чужая. Так часто бывает в жизни. Любовь приходит слишком поздно. А дальше идут трогательные строки – он кричит ей вслед: «О, почему, почему не дано мне коснуться тебя, поговорить непритворно с тобой?»

На месте учительницы появилась Ирис Осгуд, девушка плакала. Слезы катились по щекам, мягким и гладким, как бока породистой белой коровы, и она, глупая, даже не вытирала их. Ирис была из тех дурочек, которые не пользовались у нас в классе успехом, но все же, когда

она была близко, внутри у меня что-то дрожало. Ее полная, расплывающаяся фигура порождала во мне смутные желания; чтобы их заглушить, я обычно отпускал шуточки, давал волю языку. Но сегодня я был измучен, мне хотелось только приклонить голову на ее глупость, как на подушку.

– Отчего ты плачешь, Ирис?

Сквозь слезы она пролепетала:

– Он порвал на мне блузку. Теперь ее хоть выбрось. Что я маме скажу?

И я увидел, что одна ее грудь, стекающая вниз, как жидкое серебро, в самом деле обнажена до розовой сморщенной пуговки; я не мог отвести от нее глаз, она казалась такой незащитной.

– Не беда, – сказал я ей благодушно. – Ты на меня погляди. Рубашка совсем разлезлась.

И это была правда: на груди у меня остались только лохмотья да прилипшие кое-где красные нитки. Мой псориаз был у всех на виду. Выстроилась очередь, и они проходили мимо меня друг за другом – Бетти Джен Шиллинг, Фэтс Фраймойер, Глория Дэвис, пряча улыбку, диабетик Билли Шупп все мои одноклассники. Наверно, встретились в автобусе. Каждый рассматривал мои струпья и молча отходил. Некоторые печально качали головами; одна девочка сжала губы и зажмурилась; кое у кого глаза были распухшие и заплаканные. Ветер упал, вершины гор у меня за спиной безмолвствовали. Скала, на которой я лежал, стала мягкой, как будто ее подбили ватой, и я почувствовал острый химический запах, заглушаемый искусственным ароматом цветов...

Последним подошел Арни Уорнер, староста выпускного класса, председатель ученического совета, капитан футбольной и бейсбольной команд. У него были глубоко посаженные глаза, красивая, как у бога, шея и мускулистые покатые плечи, мокрые – только что из-под душа. Он наклонился, разглядывая струпья на моей груди, и опасно коснулся одного указательным пальцем.

– Ого, старик, – сказал он. – Что это у тебя? Сифилис?

Я попытался объяснить:

– Нет, это аллергическое состояние, незаразное, не бойся...

– А к доктору ты ходил?

– Ты не поверишь, но доктор сам...

– Кровь идет? – спросил он.

– Только если расчесать, – пролепетал я, готовый пресмыкаться перед ним, только бы вымолить прощение. – Так приятно почесать их, когда читаешь или сидишь в кино...

– Ну и ну, – сказал он. – Сроду такой гадости не видал. – Он, нахмурясь, пососал указательный палец. – Вот я до тебя дотронулся и теперь тоже заболел. Скорей сделайте мне укол.

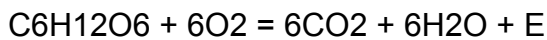
– Честное слово, провалиться мне, если вру, это не заразно...

– Скажем со всей прямоотой, – заявил он, и по тому, как глупо-торжественно прозвучали эти слова, я понял, что он, должно быть, хороший председатель ученического совета, – не пойму, как тебя с этим в школу пускают. Если это сифилис, то через стульчаки в уборной...

Я закричал:

– Где мой отец?

Он появился передо мной и написал на доске:



Это был последний, седьмой урок. Мы устали. Он обвел "E" кружком и сказал:

– Энергия – это жизнь. Буква "E" означает жизнь. Мы поглощаем углеводы и кислород, сжигаем их, как сжигают старые газеты в печке, и выделяем углекислый газ, воду и энергию. Когда этот процесс прекращается, – он перечеркнул знак равенства, – прекращается и это, – он дважды перечеркнул "E", – и ты становишься, что называется, трупом. Человек превращается в бесполезную кучу химических веществ.

– Но разве невозможен обратный процесс? – спросил я.

– Спасибо, Питер, за этот вопрос. Да. Прочтите равенство наоборот, и вы получите фотосинтез, происходящий в растениях. Они потребляют влагу, углекислоту, которую мы выдыхаем, и солнечную энергию, а производят углеводы и кислород, мы же едим растения и снопа потребляем углеводы – так происходит круговорот веществ. – Он повертел пальцем в воздухе. – Все в мире крутится, а когда остановится – этого никто не знает.

– Но откуда же берется энергия? – спросил я.

– Это очень интересный вопрос, – сказал отец. – У тебя светлая голова, как у твоей матери, надеюсь, что ты не унаследуешь мою уродливую внешность. Энергия, необходимая для фотосинтеза, черпается из атомной энергии солнца. Всякий раз, когда мы думаем, двигаемся или дышим, мы используем какую-то частицу золотого солнечного света. Через пять миллиардов лет или около того, когда энергия солнца истощится, мы все сможем лечь на покой.

– Но отчего ты хочешь на покой?

В его лице теперь не было ни кровинки; между нами вдруг появилась прозрачная пленка; отец очутился в другой плоскости, и мне приходилось кричать, чтобы он меня слышал. Он повернулся медленно-медленно, лоб его, преломляясь в прозрачной среде, колебался и растягивался. Губы шевельнулись, и через несколько секунд до меня донеслось:

– А?

Он смотрел мимо, словно не мог найти меня.

– Не уходи от нас! – крикнул я и был рад, когда хлынули слезы, когда голос мой начал рваться от горя; я бросал слова с каким-то торжеством, упиваясь своими слезами, которые хлестали меня по лицу, как концы лопающихся веревок. – Папа, не надо! Куда ты? Неужели ты не можешь простить нас и остаться?

Верхняя часть его туловища изогнулась, заточенная в искривленной плоскости; галстук, грудь рубашки и отвороты пиджака загибались вверх по дуге, а голова на ее конце была втиснута в угол, где стена сходилась с потолком, – в затянутый паутиной угол над доской, который никогда не обметали. Его искаженное лицо глядело на меня сверху вниз печально,



отрешенно. Но все же в глазах был проблеск внимания, и я продолжал звать:

– Подожди! Да подожди же меня!

– А? Я слишком быстро иду?

– Послушай, что я тебе скажу!

– А?

Голос его был таким глухим и далеким, что я захотел пробраться ближе к нему и вдруг почувствовал, что плыву вверх, ловко рассекая воду, широко разводя руками, и мои ноги трепещут, как гибкие плавники. Это ощущение так взволновало меня, что я почти утратил дар речи. Задыхаясь, я нагнал его и сказал:

– Я еще надеюсь.

– Правда? Горжусь тобой, Питер. А у меня вот никогда надежд не было. Должно быть, это у тебя от мамы, она настоящая женщина.

– Нет, от тебя, – сказал я.

– Обо мне не думай, Питер. Пятьдесят лет – срок немалый. Кто за пятьдесят лет ничему не научился, тот никогда уж не научится. Мой старик так и не узнал, что его погубило: он оставил нам Библию и кучу долгов.

– Нет, пятьдесят лет – это немного, – сказал я. – Это совсем мало.

– Ты в самом деле надеешься, а?

Я закрыл глаза; во мне между безгласным "я" и дрожащей тьмой образовалась брешь неведомой ширины, но, конечно, не больше дюйма. Я без труда переступил ее, стоило только солгать.

– Да, – сказал я. – И перестань, пожалуйста, глупить.

7

Колдуэлл поворачивается и закрывает за собой дверь. День да ночь, сутки прочь. Он устал, но не жалуется. Уже поздно, шестой час. Он долго просидел в классе, разбирая и пересчитывая билеты на баскетбол; одной пачки не хватало, и он, шаря в ящиках, нашел и перечитал отзыв Зиммермана. Это сразу вывело его из равновесия. Он глядел на эту голубоватую бумажку, как в небо, и у него кружилась голова. Кроме того, он проверил сегодняшние контрольные работы. Бедняжка Джуди Ленджел, не дано ей. Слишком уж она старается, он сам от этого всю жизнь страдал. Когда он идет к лестнице, боль, притихшая было, оживает и накрывает его своим крылом. Одному даны пять талантов, другому два, третьему один. Но все равно, возделывал ли ты виноградник целый день или всего час, когда тебя призовут к расчету, плата одна. Он вспоминает эту притчу, и в ушах у него звучит голос отца, отчего ему становится еще тоскливее.

– Джордж.

Он видит поодаль какую-то тень.

– А? Это вы. Что вы здесь делаете так поздно?

– Да так, пустяками занимаюсь. Что остается старой деве? Заниматься пустяками. – Эстер Апплтон стоит, сложив руки на девственной, прикрытой кружевными оборками груди, в дверях своего класса; ее класс, двести второй, напротив двести четвертого. – Гарри сказал, что вы вчера были у него.

– К стыду своему должен признаться, действительно был. А больше он ничего не сказал? Мы ждем результатов рентгена или еще какой-то чертовщины.

– Не надо волноваться.

Сказав это, она как бы делает шаг к нему, и он опускает голову.

– Почему не надо?

– Это бесполезно. Вот и Питер места себе не находит, я заметила это сегодня на уроке.

– Бедный мальчик, он не выспался этой ночью. У нас машина сломалась в Олтоне.

Эстер откидывает выбившуюся прядь назад и ловким движением среднего пальца засовывает поглубже карандаш, воткнутый в узел волос на затылке. Волосы ее блестят, полумрак скрадывает седину. Она невысокая, полногрудая, широкая в кости и, если смотреть спереди, располневшая. Но сбоку ее талия выглядит поразительно тонкой, так прямо она держится, осанка у нее такая, будто она непрерывно вздыхает всей грудью. На ее блузке золотая брошь в виде стрелы.

– Он был сам не свой, – говорит она и снова, в который уж раз в жизни, пристально вглядывается в лицо этого человека, который высится над ней в темном коридоре; это странное, бугристое лицо навсегда останется для нее тайной.

– Как бы он простуду не схватил, пока я его доведу домой, – говорит Колдуэлл. – Я знаю, так оно и будет, да что поделаешь? Мальчик из-за меня заболеет, а я мчусь сам не знаю куда и остановиться не могу.

– Он не такой уж хилый, Джордж. – И, помолчав, она добавляет:

– В некоторых отношениях он крепче своего отца.

Колдуэлл почти не слышит ее голоса, как будто это его собственная мысль.

– В детстве, когда я жил в Пассейике, – говорит он, – меня никогда не клали с простудой в постель. Утрешь нос рукавом, а если в горле запершит, прокашляешься. В первый раз в жизни я слег, когда заболел инфлюэнцей в восемнадцатом году; ну и в переплет я попал тогда. Б-р-р!

Эстер чувствует, что его терзает боль, и кладет руку на золотую стрелу, унимая беспокойный трепет в груди. Она столько лет работает с ним рядом, в соседнем классе, что у нее такое чувство, как будто она не раз спала с ним. Как будто в молодости они были любовниками, но давно уже расстались и не очень задумывались почему.

А Колдуэлл ощущает только, что в ее присутствии ему как-то особенно легко. Им одновременно исполнилось пятьдесят, и в глубине души, бессознательно, они считают это

совпадение очень важным. Он не хочет уходить от нее, не хочет спускаться по лестнице; болезнь, сын, долги, невыносимое бремя земли, которое жена взвалила на него, – он жаждет поделиться с ней своими затруднениями. И Эстер тоже хочет этого: хочет, чтобы он рассказал ей все. И она всем своим существом тянется навстречу этому желанию; словно освобождаясь от многолетней привычки к одиночеству, она облегчает грудь, вздыхает. Потом говорит:

– Питер весь в Хэсси. Он умеет добиваться своего.

– Надо было устроить ее на сцену, в водевилях играть. Там ей было бы лучше, – говорит Колдуэлл мисс Апплтон громко и серьезно. – Не жениться на ней надо было, а просто стать ее антрепренером. Но у меня духу не хватило. Так уж я был воспитан – когда видишь женщину, которая тебе хоть капельку нравится, ни о чем и думать не смей, кроме как сделать ей предложение.

И это значит: «А жениться мне надо было на такой женщине, как вы. Вы».

Хотя Эстер сама этого хотела, теперь ей тревожно и неприятно; мужчину, чей силуэт темнеет перед ней, захлестывает смятение, кажется, сейчас оно затопит и ее. Слишком поздно; ее уже с места не стронешь. Она смеется, как будто он просто пошутил. И от ее смеха кажется, будто зеленые шкафчики, уходящие вдаль по стене, охватывает жуть. Вентиляционными отдушинами они ошеломленно уставились в стену напротив, где висят в рамках фотографии давным-давно не существующих бейсбольных и легкоатлетических команд.

Эстер выпрямляется, вздыхает всей грудью, снова поправляет пучок на затылке и спрашивает:

– А в какой колледж вы думаете определить Питера?

– Я об этом никогда не думал. Я только о том думаю, что мне это не по карману.

– Может быть, он поступит в художественное училище или в колледж свободных искусств?

– Это уж пускай они с матерью решают. О таких вещах они между собой договариваются. А я этого боюсь до смерти. Я только одно могу сказать мальчик знает жизнь еще меньше, чем я в его возрасте. Сыграй я сейчас в ящик, они с матерью засядут в своей дыре, а есть, наверно, будут цветы с обоев. Нет, я не могу позволить себе умереть.

– Еще бы, это слишком большая роскошь, – говорит Эстер. Апплтоновская желчность у нее проявляется лишь изредка, в неожиданно едкой иронической фразе. Она еще раз смотрит в это загадочное лицо, хмурится, чувствуя болезненный трепет у себя в груди, и хочет уйти, расставаясь не столько с Колдуэллом, сколько со своей тайной.

– Эстер.

– Да, Джордж?

Ее голова с гладкими, туго стянутыми волосами, как полумесяц, блестит в свете, сочащемся из дверей класса. Она улыбается ему нежно, радостно и грустно, и со стороны всякий решил бы, что когда-то он был ее любовником.

– Спасибо, что дали мне излить душу, – говорит он. И добавляет:

– Я хочу сделать вам одно признание. Пока не поздно. За все эти годы, что я здесь работаю, не раз, когда ребята меня вконец измучают, я уходил из класса и шел сюда, к питьевому фонтанчику, просто чтобы услышать, как вы произносите французские слова. Это было для меня важнее, чем глоток свежей воды, – услышать, как вы говорите по-французски. Это

всегда меня ободряло.

Она ласково спрашивает:

– А теперь вы тоже измучены?

– Да. Измучен. Этот лютый мороз меня доконал.

– Сказать что-нибудь по-французски?

– Богом клянусь, Эстер, я буду вам от души благодарен.

На ее лице появляется галльское оживление – щеки, как яблоки, губы сморщены, – и она произносит, медленно, со вкусом выговаривая дифтонг в начале фразы и носовой звук в конце, словно смакует два напитка:

– Dieu est tres fin.

Наступает секунда молчания.

– Еще, – просит Колдуэлл.

– Dieu-est-tres-fin. Эти слова всегда помогают мне жить.

– Бог очень... очень добр?

– Oui &lt;да (фр.)&gt;. Очень добр, очень прекрасен, очень строен, очень изящен. Dieu est tres fin.

– Да. Конечно, он такой чудесный старый джентльмен. Не знаю, что было бы с нами без него.

Словно по уговору, они отворачиваются друг от друга.

Но Колдуэлл успевает снова повернуться и остановить ее.

– Огромное вам спасибо, – говорит он. – Я хочу чем-нибудь вас отблагодарить. Я прочту вам стихи, которые не вспоминал вот уж лет тридцать. Мы читали их еще в Пассейике, и, кажется, начало я помню.

– Попробуйте.

– Сам не знаю, зачем я морочу вам голову.

Колдуэлл, как школьник, вытягивает руки по швам, сжимает кулаки, чтобы сосредоточиться, щурит глаза, припоминая, и объявляет:

– Джон Оллин Макнаб. «Песнь Пассейика».

Он откашливается.

– Создатель храм земли воздвиг,

Столь дивно славен и велик,

И род людской покорен будь

Тому, кто начертал твой путь.

По руслам рек стремится вода  
Свой бег неведомо куда,  
Прочли мы прошлого скрижаль,  
Но скрыта будущего даль.

Он молчит, припоминая, не может вспомнить и улыбается.

– Забыл. А мне казалось, я больше помню.

– Немногие упомянули бы и столько. Не слишком веселые стихи, правда?

– Они словно для меня написаны, вот что забавно. Их может понять только тот, кто вырос у реки.

– М-м. Пожалуй, вы правы. Спасибо за стихи, Джордж.

И она решительно уходит в свой класс. На миг ей кажется, что золотая стрела у воротника сдавила ей горло и вот-вот задушит ее. Она рассеянно проводит рукой по лбу, глотает слюну, и это ощущение исчезает.

Колдуэлл идет к лестнице, пьяный от скорби. Питер. Ему надо дать образование, и, как ни верти, ответ один – деньги, а их не хватает. И потом его кожа, и слабое здоровье. Хорошо, хоть контрольные работы Колдуэлл сегодня проверил, мальчик проспал завтра лишних десять минут. Так не хочется поднимать его с постели. Сегодня баскетбольный матч, и раньше одиннадцати им домой не попасть, а вчера они ночевали в этом злополучном клоповнике, и теперь Питеру не миновать новой простуды. Каждый месяц простуда, как по календарю, и хотя, говорят, кожа тут ни при чем, Колдуэлл в этом сомневается. Все взаимосвязано. У Хэсси он ничего не замечал, пока они не поженились, у нее только одно пятно на животе, а у мальчика – прямо несчастье: сыпь на ногах, на руках, на груди, даже на лице, хотя он думает, что там почти ничего нет, в ушах струнья, как засохшая мыльная пена; он, бедняга, про это и не знает. Блаженство в неведении. Во время кризиса, когда Колдуэлл возил мальчика в коляске, он был испуган, дошел до края пропасти, по когда сын поворачивал к нему свое веснушчатое личико, мир снова казался прочным. А теперь это лицо в пятнах, с девически нежными глазами и ртом, узкое, как клинок, тревожное и насмешливое, преследует Колдуэлла, ранит его сердце.

Будь у него сила воли, он надел бы тогда широкие брюки и выпустил жену играть в водевилях. Но и в театрах были увольнения, как в телефонной компании. Всюду увольнения. Кто подумал бы, что «бьюик» подведет как раз тогда, когда им так нужно было добраться домой? Его всегда все подводит, как его отца на смертном одре подвела вера: «Забудут навеки».

Номера с 18001 по 18145: этих билетов на баскетбол недостает. Он обшарил все шкафы и ящики, перерыл все бумаги, а нашел только голубоватый листок с отзывом Зиммермана – клочок неба, от которого у него в животе такая боль, будто он защемил палец в двери. Р-раз – и готово. Что же, он не зарыл свой талант в землю, он извлек свечу из-под спуда, и все увидели, какая она – сгоревшая свеча.

Только что ему пришла утешительная мысль. Но какая? Он стал пробиваться назад, по бурым валунам своей памяти, в поисках этой драгоценной мысли. Да, вот она. Блаженство.

Блаженство в неведении.

Аминь.

Стальные решетки окон на лестничной площадке между этажами, на которых застыли твердые, как сама сталь, бугорки грязи, почему-то удивляют его. Словно стена, распахиваясь окном, говорит какое-то слово на чужом языке. С тех пор как пять дней назад Колдуэлл понял, что может умереть, проглотил эту мысль, как иногда проглатываешь мошку, все вокруг обрело странно изменчивую силу тяготения, от которой поверхности всех вещей то застывают на миг, как свинец, в недолгом постоянстве, то начинают легкомысленно трепыхаться, как шарф на ветру. Но он среди этих распадающихся поверхностей старается твердо вести свою линию.

\*\*\*

Таков его план:

Зайти к зубному врачу.

Гаммел.

Позвонить Хэсси.

Быть здесь в 16:15, к началу игры.

Забрать машину и поехать с Питером домой.

Он толкает стеклянную дверь и идет по пустому коридору. Повидаться с Гаммелом, позвонить Хэсси. В полдень Гаммел еще не нашел подержанного карданного вала взамен того, который сломался на странной маленькой стоянке между фабрикой Эссика и железнодорожными путями; он обзвонил все склады металлического лома и автомобильные магазины в Олтоне и Западном Олтоне. Ремонт, наверно, обойдется долларов в двадцать – двадцать пять, надо будет сказать Хэсси, она как-нибудь выкроит эти деньги, в конце концов, для нее это лишь капля в море, все высасывает этот ее неблагодарный клочок земли, восемьдесят акров у него на шее, земля, холодная как лед, неблагодарная земля, которая впитывает его кровь, как дождь. А Папаша Крамер разом запикивает в рот целый ломоть хлеба. Позвонить Хэсси. Она будет беспокоиться; он знает, что по телефону его и ее беспокойства переплетутся, как два провода. Не заболел ли Питер? Не упал ли Папаша Крамер с лестницы? Что показал рентген? Он не знает. Весь день он собирался позвонить доку Апплону, но что-то в нем противится, он не хочет доставлять старому хвосту это удовольствие. Блаженство в неведении... Но к зубному врачу все-таки придется пойти. Вспомнив об этом, он трогает больной зуб языком. В своем теле он находит боль любой формы и цвета: пронзительно приторные уколы зубной боли; тупой, привычный нажим бандажа от грыжи; жгучий яд, терзающий его кишки; покалывание искривленного ногтя на ноге, впившегося в соседний палец; пульсирующая боль над переносицей, оттого что он слишком напрягал глаза за последний час; и родственная ей, но совсем иная боль в голове, как будто от кожаного шлема после свалки на футбольном поле в Лейке. Хэсси, Питер, Папаша Крамер, Джуди Ленджел, Дейфендорф – обо всех он думает. Повидать Гаммела, позвонить Хэсси, сходить к зубному врачу, быть здесь к 16:15. Он предчувствует, что скоро с него снимут оболочку, очистят его. Только одно ему нравилось в жизни – смотреть, как топорщатся медные проволочки, обнаженные, живые и блестящие, когда, зачищая провод, сорвешь старую грязную резину. Это сердце провода. Колдуэллу всегда страшно было

хоронить его глубоко под землей, как будто он хоронил живое существо. Темное крыло так плотно окутывает его, что кишки сводит судорога: там засел паук. Б-р-р! Из водоворота его мыслей то и дело всплывает мысль о смерти. Лицо у него пылает. Ноги становятся как ватные, сердце и голова вспухают от страха. Неужели смерть для него – вот эта белая ширь? Теплый пот заливает лицо, все тело точно слепнет; он безмолвно молит – хоть бы чье-нибудь лицо показалось. Длинный блестящий коридор, освещенный шарами плененного света, переливается оттенками меди, янтаря, воска. Знакомый коридор, до того знакомый, что странно, как это он за пятнадцать лет не вытоптал тропинку на этих досках, и все же до сих пор чуждый, такой же чуждый, как и в тот жаркий летний день, когда Колдуэлл, который в то время недавно женился, только что стал отцом и все еще сохранял мягкий нью-джерсийский выговор, в первый раз пришел к Зиммерману. Зиммерман ему понравился. Сразу понравился – массивный, нескладный, хитроватый, он напомнил Колдуэллу одного странного человека, с которым отец вместе учился в семинарии; по воскресеньям он заходил, бывало, в гости и никогда не забывал принести лакричных конфет для «юного Колдуэлла». Конфеты для Джорджа и лента для Альмы. Непременно. Так что в конце концов маленькая резная шкатулка на тумбочке у Альмы доверху наполнилась лентами. Зиммерман понравился Колдуэллу, и, видимо, сам он ему тоже понравился. Они проехали насчет Папаши Крамера. Он уже не помнит, в чем была соль шуток, но улыбается, вспоминая, как они шутили пятнадцать лет назад. Шаги Колдуэлла становятся тверже. Подобно тому как иногда Нежданно-негаданно поднимается ветерок, его вдруг освежает мысль, что умирающий не мог бы держаться так прямо.

Наискосок от стеклянного шкафа со спортивными кубками, который переливается бесчисленными бликами, – уютный кабинет Зиммермана, он закрыт. Но когда Колдуэлл проходит мимо, дверь вдруг распахивается, и оттуда выходит миссис Герцог. Она удивлена не меньше его: ее глаза широко раскрываются под узкими очками в коричневой роговой оправе, шляпа с павлиньим пером сбилась набок. Для Колдуэлла, с высоты его возраста, она еще молодая женщина; ее старший сын только в седьмом классе. Из-за этого мальчишки всех учителей буквально трясет. Мамаша пролезла в школьный совет, хочет самолично следить за обучением своих детей. Колдуэлл учитель и поэтому в душе презирает таких матерей, которые всюду суют нос; они не представляют себе, что такое образование – дебри, дьявольская путаница. Яркая помада у нее на губах размазана, губы не улыбаются, а приоткрыты в откровенном удивлении, как щель в почтовом ящике, когда заест крышку.

Колдуэлл нарушает молчание. Мальчишеская дерзость, забытая с детства, просыпается оттого, что его чуть не ударили по носу дверью, и он, морщась, говорит ей, миссис Герцог, члену школьного совета:

– Фу ты, так выскочить из дверей, ну прямо как кукушка из часов!

Выражение оскорбленного достоинства делает ее смешной – ведь ей сорока еще нет. От такого приветствия она застывает на миг, ухватившись за дверную ручку. А он, не глядя на нее, идет дальше по коридору. И только когда он толкает двойные двери с зарешеченным стеклом и начинает спускаться по лестнице вдоль желтой стены, с которой уже соскоблили ругательство, сердце у него падает. Теперь он пропал. И какого дьявола эта шлюха там делала? Он чувствовал, что в кабинете, за стеной, сидит Зиммерман и тучи сгущаются; чувствовал дух Зиммермана сквозь замочную скважину. Видно было, что эта женщина распахнула дверь, думая лишь о том, что осталось в тылу, и не ожидала атаки с фронта. А у Колдуэлла положение такое, что ему никак нельзя нажать нового врага. Билеты, номера с 18001 по 18145, отзыв Зиммермана, где черным по голубому сказано, что он ударил ученика в классе, а теперь еще это: наскочил на Мим Герцог, когда у нее размазана помада на губах. Комок, подкативший к горлу, душит его, и, выйдя на улицу, он вдыхает свежий воздух со звуком, похожим на рыдание. Лохматые, скомканные облака нависли низко и чуть не задевают за шиферные крыши домов. Крыши лоснятся, блестят загадочно и многозначительно. В воздухе чувствуются торопливые шаги судьбы. Вскинув голову и

раздувая ноздри, Колдуэлл ощущает неодолимое желание рвануться вперед, галопом проскакать мимо гаража Гаммела, с ржанием вломиться в парадную дверь первого же олинджерского дома, вырваться через черный ход, промчатся через кустарник по бурому, спаленному морозом склону Шейл-хилл и лететь дальше, дальше, через холмы, такие ровные и голубые издали, все вперед и вперед, на юго-восток, через шоссейные дороги и реки, скованные льдом, твердые, как асфальт на этих дорогах, пока наконец он не упадет, вытянув мертвую голову в сторону Балтимора.

\*\*\*

Кафе Майнора опустело. Остались трое: сам Майнор, Джонни Дедмен и этот дикий эгоцентрик Питер Колдуэлл, сын учителя естествознания. Все, кроме неприкаянных и лишенных крова, в этот час сидят дома. Без двадцати шесть. Почта за стеной уже закрылась. Миссис Пэссифай, еле волоча слабые ноги, опускает решетки на окошках, задвигает ящики, где пестрят разноцветные марки, складывает подсчитанные деньги в сейф ложнокоринфского стиля. Задняя комната смахивает на полевой госпиталь, где под наркозом темноты без сознания лежат серые почтовые мешки, распластанные, уродливые и выпотрошенные. Она вздыхает и подходит к окну. Прохожему с улицы ее большое круглое лицо показалось бы нелепо распухшим лицом ребенка, пытающегося выглянуть в маленький иллюминатор – золоченое "О" в изогнувшемся дугой слове «ПОЧТА».

А рядом, за стеной, Майнор туго затыкает грубым белым полотенцем дышащие паром глотки стаканов из-под кока-колы, а потом ставит их на салфетку, которую расстелил рядом с раковиной. Каждый стакан еще выдыхает в холодный воздух редкие белые струйки. А за окном, которое начинает туманиться, вдоль трамвайных путей течет поток автомобилей, торопящихся домой, и дорога подобна ветке, усеянной сверкающими плодами. В кафе почти пусто, как на сцене во время антракта. Здесь разгорелся спор. Майнор так и кипит: его волосатые ноздри похожи на клапаны парового котла.

– Майнор! – кричит ему Питер из-за своего столика. – У вас устарелые взгляды. Ничего плохого в коммунизме нет. Через двадцать лет он будет и у нас, тогда вы станете как сыр в масле кататься.

Майнор отворачивается от окна, блестя лысиной, он взбешен.

– Да, если б старик ФДР &lt;Франклин Делано Рузвельт&gt; не сыграл в ящик, тогда конечно, – говорит он и злобно смеется, раздувая ноздри. – Но он то ли сам удавился, то ли от сифилиса помер. Говорю вам, это суд божий.

– Майнор, вы же сами этому не верите. Не может человек в здравом уме этому верить.

– Нет, верю, – говорит Майнор. – У него все мозги уже прогнили, когда он в Ялту ездил, иначе мы не попали бы в такую заваруху.

– В какую заваруху? В какую, Майнор? Наша страна заправляет всем миром. У нас есть здоровенная бомба и здоровенные бомбардировщики.

– Р-р-р, – Майнор отворачивается.

– Какая заваруха? Какая же, Майнор? Какая?

Он снова поворачивается и говорит:

– И года не пройдет, как русские будут во Франции и в Италии.



– Ну и что? Ну и что, Майнор? Коммунизм неизбежен так или иначе. Это единственный способ уничтожить бедность.

Джонни Дедмен, сидя за отдельным столиком, курит восьмую сигарету «Кэмел» за последний час и пропускает одно колечко дыма сквозь другое. Неожиданно он выкрикивает «война!» и барабанит пальцем по коричневому выключателю, висящему на шнуре у него над головой.

Майнор возвращается в свою тесную щель за стойкой, оттуда удобней разговаривать с мальчиками, сидящими в темных углах за столиками.

– Не надо было останавливаться, когда мы дошли до Эльбы, взяли бы Москву, раз уж случай такой вышел. У них все прогнило, тут бы нам и не зевать, ведь русский солдат самый трусливый в мире. А крестьяне встретили бы нас с распростертыми объятиями. Прав был старик Черчилль, когда предлагал это. Конечно, он мошенник, но умен, как черт. Он не любит Старого Джо. Никто в мире, кроме короля Франклина, не любит Старого Джо.

Питер говорит:

– Майнор, да вы не в своем уме. А как же Ленинград? Разве русские там трусили?

– Победили не они. Нет, не они. Победило наше оружие. Наши танки. Наши пушки. Пожалуйста, получите: бесплатная посылка от вашего дружка ФДР. Он ограбил американский народ, чтобы спасти русских, а они повернули и вот-вот полезут через Альпы в Италию.

– Он хотел разбить Гитлера, Майнор. Вы что, забыли? Адольфа Г-И-Т-Л-Е-Р-А.

– Обожаю Гитлера, – заявляет Джонни Дедмен. – Он и сейчас живет в Аргентине.

– Майнор его тоже обожал, – говорит Питер тонким голосом и от злости чувствует жар во всем теле. – Правда, Майнор? Ведь вы считали Гитлера хорошим человеком?

– Никогда не считал, – говорит Майнор. – Но я вам вот что скажу, по мне, уж лучше Гитлер, чем Старый Джо Сталин. Вот уж действительно дьявол во плоти. Верьте моему слову.

– Майнор, отчего вы против коммунизма? Они бы вас работать не заставляли. Вы слишком старый. И больной.

– Бах! Бах! – орет Джонни Дедмен. – Надо было нам сбросить атомную бомбу на Москву, Берлин, Париж, Францию, Италию, Мехико-Сити и Африку. Ба-бах! Обожаю этот грибок.

– Майнор! – говорит Питер. – Майнор. Отчего вы так нещадно эксплуатируете нас, бедных подростков? Отчего вы такой безжалостный? У вас механический бильярд поставлен так, что никто, кроме Дедмена, не может попасть в лузу и сыграть еще разок бесплатно, но ведь он гений.

– Да, я гений, – подтверждает Дедмен.

– Они и в бога, в творца всего сущего, не верят, – говорит Майнор.

– А кто в него верит? – восклицает Питер, краснея за себя, но не в силах остановиться, так хочется ему поддеть этого человека, который со своей непроходимой республиканской глупостью и упрямой звериной силой воплощает все то в мире, что убивает его отца; только не дать Майнору отвернуться, оставить, так сказать, ход за собой. – Вы и сами не верите. И я не верю. Никто не верит. Факт. – Но теперь, произнеся эти хвастливые слова, Питер чувствует, что чудовищно предал отца. Ему представляется, как отец, оглушенный ударом, падает в яму. Он с жадностью, так что у него даже во рту пересыхает, ждет возражений Майнора, все равно каких, чтобы в неразберихе спора как-нибудь окольным путем отступить.

Теперь он всей душой стремится отречься от своих слов.

– Да, ты прав, – говорит Майнор просто и отворачивается. Путь назад отрезан.

– Через два года, – подсчитывает вслух Джонни Дедмен, – будет война. Я буду майором. Майнор – старшим сержантом. А Питер будет чистить картошку на кухне, за помойными ведрами.

Он осторожно выпускает огромное кольцо дыма, а потом – вот чудо! сжимает губы и сквозь дырочку, тесную, как замочная скважина, пропускает маленькое колечко, которое проходит через большое. И в тот же миг оба кольца расплываются, облако дыма теперь похоже на руку, тянущуюся к электрическому проводу. Дедмен вздыхает – скучающий творец.

– Мозги у него прогнили, когда он в Ялту поехал! – кричит Майнор от дальнего конца стойки. – И Трумэн в Потсдаме дурака сваял. Он по дурацки даже галантерейный магазин содержать не мог, в трубу вылетел, и сразу после этого он стал управлять Соединенными Штатами.

Дверь отворяется, и из темноты на пороге материализуется фигура в круглой шапочке.

– Питер здесь? – спрашивает вошедший.

– Мистер Колдуэлл, – говорит Майнор сдержанным басом, которым он обращается только ко взрослым, – да, он здесь. Только что он объявил себя безбожником и коммунистом.

– Это он просто так, шутки ради. Вы же сами знаете. Никого во всем городе он не уважает больше Майнора Креца. Вы мальчику как отец родной, и не думайте, что мы с его матерью этого не ценим.

– Папа! – говорит Питер, краснея за отца.

Колдуэлл, помаргивая, идет к столикам, он как будто не видит сына. Он останавливается у столика Дедмена.

– Кто это? А, Дедмен. Тебе еще не выдали аттестат?

– Наше вам, Джордж, – говорит Дедмен. Колдуэлл не ждет слишком многого от своих учеников, но хоть бы обращались они к нему как положено, с уважением. Конечно, они все отлично понимают. Глупая доброта всегда рождает умную жестокость. – Говорят, ваши пловцы опять проперли. Какое же они место заняли? Восьмидесятое?

– Ребята устали, – говорит Колдуэлл. – И потом, когда карта бита, крыть нечем.

– Постойте-ка, у меня есть карты, – говорит Дедмен. У него румянец во всю щеку, длинные ресницы изогнуты. – Смотрите, какие у меня карты, Джордж.

Он запускает руку в карман зеленой, цвета травы, рубашки и достает порнографическую колоду.

– Убери прочь! – кричит Майнор из-за стойки. В свете лампы его белая лысина блестит, высохшие стаканы из-под кока-колы рассыпают холодные искры.

Колдуэлл как будто не слышит. Он идет к столику, за которым сидит его сын и курит сигарету с ментолом. Словно не замечая сигареты, он садится напротив Питера и говорит:

– Ну и странная же история со мной сейчас приключилась.

– Какая? И что с машиной?

– Машину, представь себе, починили. Не знаю, как Гаммелу это удастся; он, что называется, мастер своего дела. Всю жизнь меня выручал. – Новая мысль приходит ему в голову, и он поворачивается:

– Дедмен! Ты еще здесь?

Дедмен, поднеся колоду ко рту, дует в нее. Он поднимает голову. Глаза его блестят.

– Ну, чего вам?

– Почему бы тебе не бросить школу и не наняться к Гаммелу? Ведь ты, если память мне не изменяет, прирожденный механик.

Дедмену не по душе это неожиданное участие. Он говорит:

– Я войны жду.

– Так ты до страшного суда будешь ждать, мальчик, – говорит ему учитель. – Не зарывай свой талант в землю. Дай воссиять своему светильнику. Будь у меня твои способности, мой бедный сын каждый день ел бы икру.

– У меня привод.

– И у Бинга Кросби был привод. И у апостола Павла. Но их это не остановило. Так что не ищи себе оправданий. Поговори с Элом Гаммелом. В этом городе он мой самый близкий друг, и я был в худшем положении, чем ты, когда он мне помог. Тебе только восемнадцать, а мне было тридцать пять.

Питер нервничает, неуклюже затягивается, но, стесняясь отца, гасит сигарету, не докурив и до половины. Он пытается переменить разговор, потому что знает – Дедмен будет потом рассказывать этот случай как анекдот.

– Папа, что же с тобой случилось?

Дым наполняет легкие сладким ядом, и его захлестывает волна отвращения ко всей этой пошлой, никчемной, надоевшей путанице. Где-то далеко есть другой город, там он будет свободен.

Отец говорит понизив голос, так, чтобы никто, кроме Питера, не слышал.

– Иду я десять минут назад по коридору, вдруг дверь кабинета Зиммермана распахивается, и, как ты думаешь, кто вылетает оттуда? Миссис Герцог.

– Ну и что? Она же член школьного совета.

– Не знаю, стоит ли говорить это тебе, но, пожалуй, ты уже не ребенок. По ней видно было, что они там занимались любовью.

Питер недоверчиво хихикает.

– Любовью?

Он снова хихикает и жалеет, что погасил сигарету, теперь ему это кажется лицемерием.

– По женщине это сразу видно. По лицу. И по ней тоже видно было, пока она меня не заметила.

– Но как это? Она была совсем одетая?

– Конечно. Но шляпка сбилась набок. И помада размазана.

– Ого!

– Вот именно – ого! Мне это видеть не полагается.

– Ну, ты-то чем виноват – просто шел по коридору.

– Не важно, виноват или нет; этак рассуждать – виноватых вообще не было бы. Факт тот, сынок, что я попал в беду. Зиммерман пятнадцать лет играл со мной в кошки-мышки, а теперь кончено.

– Ну, папа. Ты всегда бог весть что выдумаешь. Наверно, они там говорили о делах, ты же знаешь, Зиммерман принимает посетителей во всякое время.

– Ты не видел, какие у нее были глаза, когда она меня заметила.

– Ну, а ты что?

– Я ласково ей улыбнулся и пошел своей дорогой. Но тайное стало явным, и она это знает.

– Папа, ну подумай сам. Может ли быть что-нибудь между ней и Зиммерманом? Она ведь уже старая.

Питер не понимает, почему отец улыбается.

А Колдуэлл говорит:

– В городе о ней чего только не болтают. Она на добрых десять лет моложе мужа. Нашла себе такого, который уже сколотил капиталец.

– Но, папа, у нее же сын в седьмом классе. – Питер в отчаянии, что отец не видит очевидного: ведь женщины, заседающие в школьном совете, бесполое, пол – это только у молодых. Он не знает, как объяснить это, не обидев отца. Получится как будто намек, и у него язык не поворачивается.

Отец так стискивает коричневые бородавчатые руки, что костяшки пальцев желтеют. Он говорит со стоном:

– Я чувствовал, что Зиммерман там, в кабинете, грозный как туча. И сейчас чувствую, он давит меня.

– Да ну тебя, папа, – сердится Питер. – Это просто смешно. Чего ты делаешь из мухи слона? Зиммерман совсем не такой, каким ты его воображаешь. Он просто слюнявый старый болван, который не прочь пощупать девочек.

Отец поднимает глаза, лицо у него удивленное, дряблое.

– Будь я так уверен в себе, как ты, Питер, – говорит он, – я устроил бы твою мать на сцену играть в водевилях, и ты никогда не родился бы на свет. – Пожалуй, это самая большая резкость, какую сын слышал от него за всю жизнь. Щеки мальчика вспыхивают. Колдуэлл говорит:

– Надо позвонить маме. – И встает из-за столика. – Никак не могу отделаться от мысли, что Папаша Крамер упал с лестницы. Буду жив – непременно перила поставлю.

Он идет к стойке, Питер за ним.

– Майнор, – говорит Колдуэлл, – я не разобью вам сердца, если попрошу вас разбить мне десять долларов? – Протягивая ему бумажку, Колдуэлл спрашивает:

– Так как по-вашему, скоро русские доберутся до Олинджера? Наверно, они сейчас уже садятся в трамвай в Эли.

– Яблочко от яблони недалеко падает, а, Майнор? – кричит Джонни Дедмен со своего места.

– Вам как разменять? – спрашивает Майнор угрюмо.

– Пятерку, четыре по доллару, три по двадцать пять центов, два десятицентовика и один никель, – говорит Колдуэлл. – Надеюсь, они сюда придут. Это было бы самой большой удачей для нашего города с тех пор, как отсюда ушли индейцы. Они поставят нас к стенке у почты, и все старые клячи, вроде нас с вами, избавятся от страданий.

Майнор не хочет слушать. Он сердито фыркает, а Колдуэлл спрашивает тонким голосом, с тоской и, как всегда, пылливо:

– Ну, а по-вашему, где выход? Ведь мы слишком глупы, чтобы умереть без посторонней помощи.

По обыкновению, он не получает ответа. Он молча берет деньги и дает Питеру пять долларов.

– Это зачем?

– купишь себе поесть. Человек – млекопитающее, которое должно есть. Не может же Майнор кормить тебя бесплатно, хотя я знаю, он человек благородный и сделал бы это с дорогой душой.

– Но откуда у тебя деньги?

– Это неважно.

И Питер сразу догадывается, что отец опять позаимствовал деньги из доверенного ему школьного спортивного фонда. Питер не разбирается в денежных делах отца, знает только, что они запутаны и из рук вон плохи. Еще ребенком, четыре года назад, он видел во сне, будто отца судили. Отец, чья нагота была прикрыта только картонной коробкой из-под макарон – под ней виднелись его тонкие желтые ноги, – бледный как смерть, шатаясь, спускался по лестнице муниципалитета, а толпа олинджерцев осыпала его бранью и насмешками, бросая в него какими-то темными, студенистыми комками, которые ударялись в коробку с глухим стуком. И как всегда бывает во сне, когда человек разом автор и действующее лицо, бог и Адам, Питер понял, что в муниципалитете только что кончился суд. Отца признали виновным, лишили всего имущества, высекли и швырнули на самое дно, как последнего бродягу. Он был такой бледный – Питер знал, что позора ему не пережить. И Питер крикнул во сне: «Нет! Вы не поняли! Стойте!» Его детский голос был слаб. Он попытался громко объяснить злобной толпе, что отец не виноват, рассказать, как много он работал, как он метался, места себе не находил; но его отбрасывали пинками, никто не хотел слушать. Так он и проснулся, ничего не объяснив. И сейчас, в кафе, у него такое чувство, словно с отца содрали кусок кожи и он кладет этот кусок в бумажник, чтобы потратить на бифштексы, лимонный коктейль, механический бильярд и шоколад с орехами, который так ему вреден.

Телефон-автомат висит на стене возле полки с комиксами. Опустив десятипентовик и никель, Колдуэлл вызывает Файртаун.

– Хэсси? Мы в кафе... Машину починили. Карданный вал был сломан... Эл думает, долларов

двадцать, но еще не подсчитал, сколько за работу. Скажи Папаше, Эл о нем справлялся. Папаша еще не упал с лестницы, а?.. Ну ты же знаешь, я пошутил, надеюсь, он жив-здоров... Нет, нет, у меня секунды свободной не было, а через пять минут мне нужно быть у зубного врача... Нет, Хэсси, признаться, я боюсь услышать его приговор... Знаю... знаю... Ну, наверно, часам к десяти. В доме хлеба нет? Я купил тебе вчера бутерброд по-итальянски. Он так и лежит в машине... А? Как будто ничего, я только что дал ему пятерку, пускай поест... Сейчас, – Колдуэлл передает трубку Питеру. – Мама хочет с тобой поговорить.

Питер недоволен – ведь она тем самым вторгается в кафе, этот центр его самостоятельной жизни. Голос матери звучит слабо и сурово, как будто, загнав его в этот металлический ящик, телефонная компания ее оскорбила. Чувства матери всегда передаются Питеру, и теперь, когда они переносятся по проводам, он чувствует, что сам съезживается.

– Да, – говорит он.

– Как он тебе кажется, Питер?

– Кто?

– Как кто? Папа, конечно. Кто же еще?

– Не то он устал, не то волнуется. Сама знаешь, у него не разберешь.

– Я ужасно беспокоюсь, а ты?

– Ну конечно, еще бы.

– Почему он не позвонил доку Апплтоу?

– Наверно, думает, что рентгеновский снимок еще не проявили. – Питер смотрит на отца, как бы ожидая подтверждения. Но тот расшаркивается перед Майнором.

– ...я вовсе не думал смеяться над вами, когда говорил о коммунистах, я их люблю не больше вашего, Майнор.

Телефонная трубка слышит это и спрашивает:

– С кем это он?

– С Майнором Крепом.

– Тянет его к таким людям, – с горечью произносит слабый женский голос в ухо Питеру.

– Они говорят о русских.

В трубке раздается что-то похожее на кашель, и Питер понимает, что мать плачет. У него падает сердце. Он ищет, что бы такое сказать, и его взгляд, как муха, садится на гипсовый кусок собачьего кала.

– А что собака? – спрашивает он.

Слышно, как мать громко дышит, стараясь овладеть собой. Голос ее между нервными всхлипываниями становится неестественно твердым, каменеет.

– Все утро была в доме, а после завтрака я ее выпустила. Она опять гонялась за скунсом, а потом вернулась. Дедушка на меня дуется, не выходит из комнаты. Когда в доме нет хлеба, он всегда хандрит.

– Как думаешь, поймала Леди скунса?

– Наверно. Она скалила зубы, будто смеялась.

– Папа говорит, что идет к зубному врачу.

– Да. Только теперь уже поздно.

Новая волна безмолвных слез ударяет Питеру в ухо: он ясно видит мокрые, покрасневшие глаза матери. И чувствует слабый запах травы и каши.

– Вовсе не обязательно поздно, – говорит Питер. Это звучит напыщенно и неискренне, но должен же он что-то сказать. Номера телефонов, написанные мальчишками и девчонками над аппаратом, сливаются и вертятся у него перед глазами.

Мать вздыхает:

– Вот что, Питер...

– Да?

– Береги папу.

– Постараюсь. Но это не так-то просто.

– Разве? Он тебя очень любит.

– Ладно, постараюсь. Позвать его опять?

– Нет. – Она молчит, потом, как настоящая актриса, свободно чувствуя себя на сцене, так что, пожалуй, в фантазиях отца насчет театра есть крупинка здравого смысла, повторяет дрожащим голосом, многозначительно: Нет.

– Ладно, значит, увидимся часов в одиннадцать.

Общение с матерью без ее успокаивающего присутствия мучительно для Питера. Она чувствует это, и ее голос становится еще более обиженным, слабым, далеким и окаменевшим.

– По сводке, будет снег.

– Да, это чувствуется.

– Ну что ж, Питер, повесь трубку, нечего тебе терять время со старухой матерью. Ты хороший мальчик. Не волнуйся.

– Ладно, ты тоже. Ты хорошая женщина.

Что это он сказал собственной матери? Он вешает трубку, удивляясь самому себе. Его струпья чешутся от этого кровосмесительного разговора он слышал по телефону только голос женщины, с которой его связывают общие тайны.

– Ну, как по-твоему, она расстроена? – спрашивает отец.

– Немножко. Наверно, дед там на нее тоску нагоняет.

– Да, это он умеет. – Колдуэлл поворачивается к Майнору и объясняет: Моему тестю восемьдесят четыре года, и он мастер нагонять тоску, так что хоть в петлю. Нагоняет тоску

прямо через замочную скважину. Старик крепкий как дуб, он еще нас с вами похоронит.

– Р-р, – тихо ворчит Майнор, подавая стакан молока с шапкой пены. Колдуэлл выпивает молоко в два глотка, ставит стакан, вздрагивает, слегка бледнеет и подавляет отрыжку.

– Господи, – говорит он. – Молочко, видно, не туда попало. – Слово «молочко» он все еще выговаривает мягко, как в Нью-Джерси. Он проводит языком по передним зубам, будто хочет их очистить. – А теперь я пошел к доктору Зубодеру.

Питер спрашивает:

– Пойти с тобой?

По-настоящему имя и фамилия зубного врача Кеннет Шройер, его кабинет в двух кварталах от школы, по другую сторону трамвайных путей, напротив теннисных кортов. У Шройера всегда с девяти утра до шести вечера включено радио, по которому передают рекламные радиопостановки для домашних хозяек. Летом, по средам и воскресеньям, он переходит трамвайную линию в ослепительно белых брюках и превращается в одного из первых теннисистов округа. В теннис он играет куда лучше, чем лечит зубы. Его мать работает в школьном кафетерии.

– Избави бог, – говорит Колдуэлл. – Чем ты мне поможешь, Питер? Все равно я уже развалина. Не стоит и беспокоиться о такой старой рухляди. Оставайся здесь, в тепле, с друзьями.

И Питер начинает выполнять наказ матери беречь отца с того, что провожает взглядом этого истерзанного, измученного болью человека, который в своем расстегнутом кургузом пальто и вязаной круглой шапочке, натянутой на уши, выходит в темноту на новую муку.

Джонни Дедмен дружелюбно кричит из-за своего столика:

– Слышь, Питер! Когда ты и твой отец стояли против света, я не мог даже разобрать, где кто.

– Он выше ростом, – резко говорит Питер.

Сейчас, когда Дедмен разыгрывает из себя доброго и дружелюбного малого, он не интересуется Питера. Приближается вечер, и Питер чувствует в себе могучие силы порока. В кармане у него пять долларов, он ощущает их вес и с торжеством говорит Майнору:

– Два бифштекса. Без кетчупа. Стакан молока, хоть у вас в нем половина воды, и пять никелей для механического бильярда, хоть он у вас и жульнический.

Питер возвращается за свой столик и снова закуривает ментоловую сигарету, которую погасил, не докурив. Радостно глотает он этот полярный холод; он красуется на пустой сцене, в кафе Майнора, уверенный, что весь мир смотрит на него. Он может делать что хочет, и детская мечта о свободе так волнует его, что сердце бьется вдвое быстрее и вот-вот разорвется, обагрив кровью полумрак кафе. Прости меня.

\*\*\*

– Милый. Подожди.

– А?

– Неужели нельзя найти другое место, кроме твоего кабинета?



– Нет. Во всяком случае, зимой.

– Но нас видели.

– Тебя, а не нас.

– Но он все понял. У него на лице было написано, что понял. И испугался он не меньше моего.

– Колдуэлл ничего не знает наверняка.

– А ты ему доверяешь?

– До сих пор вопрос о доверии не вставал между нами.

– А теперь?

– Я ему доверяю.

– По-моему, напрасно. Нельзя ли его выставить?

Он хохочет, а она смущается. Вот так всегда – до нее не сразу доходит, что она сказала смешную глупость. Он говорит:

– Но я ведь не всемогущ. Этот человек работает пятнадцать лет. У него есть друзья. И стаж.

– Но он же не на месте, правда?

Ему неприятно, не по себе, когда она спорит и настаивает в его объятиях. Просто удивительно, как женская глупость всякий раз заново раздражает его.

– Ты думаешь? Это не так-то легко определить. Он проводит с ними в классе положенное время, а это главное. И, кроме того, меня он не подведет. Нет, не подведет.

– Отчего ты его защищаешь? Ему ничего не стоит погубить нас обоих.

Он снова смеется.

– Ну, ну, моя птичка. Погубить человека не так просто.

Хотя порой, когда она начинает тревожиться, ему это неприятно, сама ее близость для него огромное облегчение, и он, отдыхая всей душой, говорит бездумно, не утруждая себя, слова срываются с губ сами по себе, как вода течет сверху вниз, как газ засасывается в пустоту.

Он чувствует, что она становится злобной и колючей в его объятиях.

– Не нравится мне этот человек. Не нравится мне его дурацкая мальчишеская улыбочка.

– Просто ты, когда видишь его, чувствуешь себя виноватой.

Она вкрадчиво допытывается:

– А разве мы должны чувствовать себя виноватыми?

В ее вопросе звучит неподдельный страх.

– Безусловно. Но не сейчас.

Она улыбается, и от этого рот у нее становится мягким, и, целуя ее, он чувствует, что после

долгой жажды омочил наконец губы. Поцелуи не утоляют эту жажду, а только разжигают ее, и каждый поцелуй заставляет желать нового, еще более жаркого, втягивает его в водоворот растущей и вздымающейся страсти, и это не кажется ему жестоким, напротив, он видит в этом щедрый и непререкаемый промысел Природы.

\*\*\*

Боль, как дерево, пускает корни у него в челюсти. Подожди, подожди! Кенни должен бы подождать еще несколько минут после укола новокаина. Но уже конец дня, он устал и спешит. Кенни был одним из первых учеников Колдуэлла, учился у него еще в тридцатые годы. А теперь тот же самый мальчик, только сильно облысевший, уперся коленом в подлокотник зубоучебного кресла, чтобы было сподручней, и орудует щипцами, стискивает зуб, выворачивает его, крошит, как кусочек мела. Колдуэлл боится, что зуб раздробится в щипцах и останется торчать у него во рту обнаженным и оборванным нервом. Боль просто невыносимая: целое дерево, все в цветах, и каждый цветок рассыпает в мертвенно-синем воздухе грозди ярких, сверкающих желто-зеленых искр. Он открывает глаза, не веря, что это может продолжаться так долго, но горизонт застилает мутная розовая пелена – это рот врача, плотно сжатый и перекошенный, пахнущий чесноком; безвольный рот. Мальчик хотел стать доктором медицины, но не доучился и вот стал живодером. Колдуэллу кажется, что боль, распускающаяся у него в голове, – результат какого-то изъяна в его собственной работе, потому что он не сумел вложить в эту мятущуюся душу сочувствие и терпение; и он смиренно приемлет боль. Дерево становится невообразимо густым; ветви и цветы сливаются в единый серебряный султан, конус, столб боли, вздымающийся до самого неба, а в основании столба замурован череп Колдуэлла. Это пронзительно чистое серебро, в нем ни следа, ни капли, ни грана, ни крупички примеси.

– Ну вот, – Кеннет Шройер вздыхает с облегчением. Его руки дрожат, спина в испарине. Он показывает Колдуэллу трофей, зажатый в щипцах. Колдуэлл, словно спросонья, соображает не сразу. Это маленький тусклый костяной обломок в бурых и черных пятнышках, с тонкими розовыми выгнутыми ножками. Он так ничтожен, что его яростное сопротивление щипцам кажется теперь просто нелепым.

– Сплюньте, – говорит врач.

Колдуэлл поспешно наклоняет голову к желтой плевательнице, и струйка крови окрашивает прозрачную воду. Кровь, смешанная со слюной, отливает оранжевым. Ощущение, что голова у него из чистого серебра, сменяется воздушной легкостью. Страх и подавленность улетучились через дыру в десне. И вдруг он чувствует нелепую благодарность за все сущее, за чистое сияние округлых краев эмалированной плевательницы, за блестящую изогнутую трубочку, из которой туда брызжет вода, за маленькое ржавое пятнышко с хвостом, как у кометы, которое крошечная Харибда выгрызла там, где иссякает сила струи: благодарность за едкие зубоучебные запахи, за звяканье инструментов, которые Кенни кладет в стерилизатор, за радиоприемник на полке, из которого сквозь треск сочатся дрожащие звуки органа. Диктор объявляет речитативом: «Я-люблю-приключения», и орган снова исступленно устремляется вперед.

– Вот досада, – говорит Кенни, – корни у вас крепкие, а сами зубы никуда.

– Такая уж моя судьба, – говорит Колдуэлл. – Ноги крепкие, а голова слабая.

Язык его касается пузырчатой мякоти. Он сплевывает еще раз. Как странно – вид собственной крови почему-то его ободряет.

Стальным инструментом Кенни ковыряет зуб, навсегда вырванный из родной почвы и, как

звезда, повисший высоко над полом. Кенни выковыривает из него кусок черной пломбы, подносит к носу и нюхает.

– М-да, – бормочет он. – Безнадежно. Наверно, он вас сильно беспокоил?

– Только когда я вспоминал о нем.

Диктор по радио объясняет:

– В прошлый раз мы оставили дока и Реджи в подземной обезьяньей столице. (Звуки обезьяньей болтовни, скулеж, печальное повизгивание.) И вот док, повернувшись к Реджи (звуки затихают), говорит:

Док. Надо нам выбираться отсюда. Принцесса ждет!

Чиппи, чип. Уи, уи-и-и.

Кенни дает Колдуэллу две таблетки анацина в целлофановом пакетике.

– Примите, если будет беспокоить, когда новокаин перестанет действовать.

«Да он и не начинал действовать», думает Колдуэлл. Прежде чем уйти, он сплевывает в последний раз. Десна кровоточит уже меньше, струйка крови стала тоньше и бледнее. Он робко касается языком скользкой воронки. И вдруг ему становится жалко зуба. День да ночь – и зуб прочь. (Нет, в нем явно пропадает поэт.)

\*\*\*

Вот Геллер идет по коридору! Топ-топ, хлоп-бам-шлеп!! Как любит он свою широченную швабру!!!

Мимо женской уборной проходит он, кропотливо рассыпая крошки красного воска и растирая его до блеска, мимо сто тринадцатого класса, где мисс Шрэк высоко поднимает Искусство, зримое зеркало незримой славы божией, мимо сто одиннадцатого, где под рваными черными чехлами притаились пишущие машинки, и лишь кое-где высовывается наружу рычаг, словно призрачная блестящая рука, мимо сто девятого, где висит большая глянцевиная желтая карта древних торговых путей, по которым везли через Европу при Каролингах пряности, янтарь, меха и рабов, мимо сто седьмого, откуда пахнет сернистым газом и сероводородом, мимо сто пятого, сто третьего, мимо всех этих закрытых дверей с матовыми стеклами напротив зеленых шкафчиков, ряды которых исчезают в бредовой перспективе, идет Геллер, равномерно сметая пуговицы, пух, монетки, тряпочки, фольгу, шпильки, целлофан, волосы, нитки, мандариновые косточки, зубья от гребешков, белую шелуху со струпьев Питера Колдуэлла и все недостойные крупички, и хлопья, и кусочки, и крошки, и всякий прах, из которого строится мир, – все собирает он. И тихонько мурлычет себе под нос старинную песенку. Он счастлив. Школа принадлежит ему. Все часы на этом огромном деревянном пространстве разом щелкают: 6:10. В своем подземном чертоге огромная топка под котлом, собравшись с силами, проглатывает разом четверть тонны твердого блестящего угля пенсильванский антрацит, древние лепидодендроны, чистое спрессованное время. Сердце топки пылает белым пламенем, туда можно заглянуть через слюдяной глазок.

Геллер всем своим заглубелым сердцем любит школьные коридоры. Величайшим праздником в его жизни был тот день, когда его перевели сюда из сторожей начальной школы, где малыши, объевшись сладостями, каждый день оставляли лужи вонючей рвоты, которые надо было подтирать и засыпать хлорной известью. Здесь такого безобразия нет, только вот пишут неприличные слова на стенах да иногда нагадят на полу в какой-нибудь из

мужских уборных.

В коридоре витают увядшие запахи, оставленные людьми и их одеждой. Питьевые фонтанчики закрыты. Батареи отопления урчат. Хлопает боковая дверь; это один из баскетболистов со спортивным чемоданчиком вошел и спустился в раздевалку. У главного входа остановились мистер Колдуэлл и мистер Филиппс, один высокий, другой низенький, и, по обыкновению, как клоуны Альфонс с Гастоном, норовят пропустить друг друга вперед. Геллер нагибается и сметает в широкий совок серую кучу пыли и пуха, в которой кое-где мелькают газетные обрывки. Он идет в угол и высыпает мусор в большую картонную коробку. Потом, взявшись за швабру, двигается дальше и скрывается за углом, топ-шлеп.

Он идет!!!!

\*\*\*

– Джордж, я слышал, вам в последнее время нездоровится, – говорит Филиппс коллеге. Дойдя до стеклянного шкафа, где светло, он с удивлением видит, что изо рта у Колдуэлла стекает струйка крови. Почти всегда у Колдуэлла что-нибудь не в порядке, какая-нибудь небрежность, и это втайне огорчает Филиппса.

– Когда как, – говорит Колдуэлл. – Слушайте, Фил, меня беспокоит эта недостающая пачка билетов. Номера с 18001 по 18145.

Филиппс думает и, думая, по привычке подвигается боком то в одну, то в другую сторону, как будто он на бейсбольном поле.

– Да это же просто бумажки, – говорит он.

– Так ведь и деньги тоже бумажки, – говорит Колдуэлл.

И вид у него такой больной, что Филиппс советует:

– Вы бы приняли что-нибудь.

Колдуэлл стоически сжимает губы.

– Все обойдется, Фил. Вчера я ходил к доктору и на рентген.

Филиппс подвигается в другую сторону.

– Что же показал рентген? – спрашивает он и глядит на свои ботинки, как бы проверяя, не развязались ли шнурки.

И словно для того, чтобы заглушить тихий, многозначительный голос Филиппса, Колдуэлл буквально кричит:

– Я еще не узнавал! Минуты свободной не было!

– Джордж! Могу я говорить с вами как друг?

– Давайте. Вы никогда со мной иначе и не говорили.

– Вы до сих пор не научились одному – беречь себя. Сами понимаете, мы уже не молоды, как до войны. Нам нельзя жить так, будто мы молодые.

– Фил, иначе я жить не умею. Я останусь ребенком, пока в гроб не лягу.

Филиппс смеется чуть натянуто. У него уже был год стажа, когда Колдуэлл пришел в школу, и, хотя они работают вместе давно, Филиппс все еще в глубине души чувствует себя как бы старшим наставником Колдуэлла. И в то же время он не может избавиться от смутного чувства, что Колдуэлл, в котором столько сумбурного и неожиданного, вдруг совершит чудо или по крайней мере скажет что-то удивительное и необычайно важное.

Он спрашивает:

– Вы про Оки слышали?

Этот умный, почтительный, сильный, красивый юноша, один из тех, что радуют сердце учителя, кончил школу в тридцатых годах – некогда таких, как он, было много в Олинджере, но теперь, при общем падении нравов, становится все меньше.

– Говорят, он погиб, – отвечает Колдуэлл. – Но подробностей не знаю.

– Дело было в Неваде, – говорит Филиппс, перекладывая тяжелую пачку книг и тетрадей в другую руку, – он был авиационным инструктором, и его ученик сделал ошибку. Оба разбились.

– Ну не глупо ли? Всю войну прошел без единой царапины и угробился в мирное время.

Глаза у Филиппса – мужчины маленького роста чувствительней высоких предательски краснеют, как только речь заходит о чем-нибудь грустном.

– Печально, когда молодые умирают, – говорит он.

Он любит таких складных и красивых учеников как родных сыновей, а собственный его сын неуклюж и упрям.

Колдуэлл заинтересовался: голова Филиппса с пробором посередине вдруг представляется ему крышкой шкатулки, где могут быть заперты бесценные сведения, которые ему так нужны. Он спрашивает серьезно:

– Вы думаете, возраст имеет какое-то значение? Думаете, они меньше готовы к смерти? А вы готовы?

Филиппс пытается сосредоточиться на этой мысли, но у него ничего не выходит, словно он сближает одинаковые полюса двух магнитов. Они отталкиваются.

– Не знаю, – признается он. И добавляет:

– Как говорится, всему свой срок.

– Мне от этого не легче, – говорит Колдуэлл. – Я не готов, и мне чертовски страшно. Как же быть?

Оба молча ждут, пока пройдет Геллер со своей шваброй. Уборщик кивает им, улыбается и на этот раз проходит не останавливаясь.

Филиппс никак не может заставить себя сосредоточиться, он опять с облегчением уходит прочь от неприятной темы. Он пристально смотрит в грудь Колдуэллу, словно увидел там что-то интересное.

– А с Зиммерманом вы говорили? – спрашивает он. – Может быть, самое лучшее взять отпуск на год?

– Не могу я себе это позволить. А сынишка? Как он будет до школы добираться? Ведь ему

придется ездить автобусом вместе со всякими деревенскими скотами.

– Ничего с ним не случится, Джордж.

– Сильно сомневаюсь. Я должен его все время поддерживать, бедный мальчик еще не нашел себя. Так что пока я вынужден держаться. Ваше счастье, что ваш сын нашел себя.

Это жалкая лесть, и Филиппс качает головой. Глаза у него краснеют еще больше. У Ронни Филиппса, который теперь учится на первом курсе Пенсильванского университета, блестящие способности к электронике. Но еще в школе он открыто смеялся над отцовским пристрастием к бейсболу. Ему было досадно, что слишком много драгоценных часов в его детстве потрачено на эту игру по настоянию отца.

Филиппс говорит нерешительно:

– Кажется, Ронни знает чего хочет.

– И слава богу! – восклицает Колдуэлл. – А мой бедный сынишка хочет, чтоб ему весь мир поднесли на блюдечке.

– Я думал, он хочет стать художником.

– О-ох, – вздыхает Колдуэлл; яд расплзается по его кишкам. Для обоих дети – больное место.

Колдуэлл меняет разговор.

– Выхожу я сегодня из класса, и вдруг меня осенило нечто вроде откровения. Пятнадцать лет учительствую и вот наконец додумался.

Филиппс нетерпеливо спрашивает:

– Что же это?

Он заинтересован, хотя уже не раз оставался в дураках.

– Блаженство в неведении, – изрекает Колдуэлл. И, не видя на выжидающе сморщенном лице своего друга радостного озарения, повторяет громче, так что голос его эхом отдается в пустом, теряющемся вдали коридоре: Блаженство в неведении. Вот какой урок я извлек из жизни.

– Не дай бог, если вы правы! – поспешно восклицает Филиппс и собирается уйти в свой класс. Но еще с минуту оба учителя стоят рядом, отдыхая в обществе друг друга и находя сомнительное удовольствие в том, что каждый обманул надежду другого, но ни один не в обиде. Так два коня в одном стойле жмутся друг к другу во время грозы. Колдуэлл был бы серым в яблоках Битюгом, ничем не примечательным и, может быть, совсем смирным, по кличке Серый, а Филиппс – резвым, маленьким гнедым скакуном с изящным хвостом и красивыми точеными копытами – почти пони.

Колдуэлл говорит напоследок:

– Мой старик умер, не дожив до моего возраста, и я не хотел бы подвести сына, как он.

Рывком, так что скрипят и трещат ножки, он двигает к двери ветхий дубовый столик: за этим столиком он будет продавать билеты на матч.

\*\*\*

Панический крик несется по залу и поднимает пыль в самых дальних классах огромной школы, а многие тем временем еще берут билеты и текут через дверь в ярко освещенный коридор. Юноши, нелепые и причудливые как химеры, с ушами, покрасневшими от мороза, выпучив глаза, разинув рты, проталкиваются вперед под сверкающими шарами ламп. Девушки в клетчатых пальто, розовощекие, веселые, пестрые и почти все неуклюжие, как вазы, сделанные рассеянным гончаром, зажаты в жаркой тесноте. Грозная, душная, слепая толпа глухо погромыхивает, колыхается, вибрирует; звенят молодые голоса.

– Тогда я говорю – что ж, не повезло тебе, старик.

– ...Слышу, что стучишь, а не пуцу...

– Я и думаю: ну, это уж подлость.

– А она, сука, перевернулась и – хоть бы хны – говорит: «Давай еще».

– Ну подумай, как может одна бесконечность быть больше другой?

– Кто говорит, что он это говорил, хотела бы я знать?

– По ней это сразу видно, потому что родинка у нее на шее тут же краснеет.

– По-моему, он просто в себя влюблен.

– А коробка с завтраком – фюить!

– Скажем так: бесконечность равна бесконечности. Правильно?

– А я услышала, что она сказала, и говорю ему: что такое, ничего не понимаю.

– Если не может остановиться, лучше б и не начинал.

– Он только рот разинул, серьезно.

– Когда это было, тыщу лет назад?

– Но если взять только нечетные числа, все, какие существуют, и сложить их, все равно получится бесконечность, правильно? Дошло до тебя наконец?

– Это где было-то, в Поттсвилле?

– ...Я в ночной рубашке, тоню-у-сенькой...

– Не везет? – говорит. А я ему: да, тебе не везет.

– Наконец-то! – кричит Питер, увидев Пенни, которая идет по проходу через зал. Она пришла одна, его девушка пришла одна, пришла к нему одна; от круговорота этих простых мыслей сердце его бьется сильнее. Он кричит ей: «Я тебе место занял!» Он сидит в середине ряда, место, занятое для нее, завалено чужими пальто и шарфами. Она отважно пробирается меж рядов, нетерпеливо поджав губы, заставляет сидящих встать и пропустить ее, со смехом спотыкается о вытянутые ноги. Пока убирают пальто, ее прижимают к Питеру, который привстал со своего места. Их ноги неловко переплетаются; он игриво дует ей в лицо, и волосы у нее над ухом шевелятся. Ее лицо и шея безмятежно блестят среди рева и грохота, и она стоит перед ним, сладкая, аппетитная, лакомая. А все потому, что она такая маленькая. Маленькая и легкая, он может поднять ее без труда, как пушинку; и это тайно как бы поднимает его самого. Но вот убрано последнее пальто, и они садятся рядышком в уютном

тепле, среди веселой суматохи.

Игроки бегают посреди зала, по гладким блестящим доскам. Мяч описывает в воздухе высокие кривые, но не долетает до потолка, где лампы забраны металлическими решетками. Раздается свисток. Судьи останавливают часы. Вбегают девушки, которые выкрикивают приветствия спортсменам, в желтых свитерах с коричневыми "О" и выстраиваются друг за другом, образуя словно бы железнодорожный состав.

– О! – взывают они, как семь медных сирен, держа друг друга за локти, так что их руки составляют один огромный поршень.

– О-о-о-о! – жалобно стонет Эхо.

– Эл.

– Эл! – подхватывают зрители.

– И.

– Ай-и-и! – раздается из глубины. У Питера дух захватывает, он искренне взволнован, но пользуется случаем и хватает девушку за руку.

– Ух, – говорит она, довольная. Кожа у нее все еще холодная с мороза.

– Эн.

– Хрен! – сразу подхватывает зал по школьной традиции. Приветственный крик вихрем проносится по рядам, крутится все стремительней, взмывает вверх, и всем кажется, будто он уносит их куда-то далеко, в другой мир.

– Олинджер, Олинджер, ОЛИНДЖЕР!

Девушки убегают, игра возобновляется, и огромный зал теперь похож на самую обыкновенную комнату. Комнату, где все друг друга знают. Питер и Пенни переговариваются.

– Я рад, что ты пришла, – говорит он. – Сам не думал, что так обрадуюсь.

– Что ж, спасибо, – говорит Пенни сухо. – Как твой отец?

– Психует. Мы и дома-то не ночевали. Машина сломалась.

– Бедный Питер.

– Нет, мне было даже интересно.

– Ты брешь?

– Нет. А что? Уже пора?

– Нет. Но у тебя на ухе какая-то корка вроде засохшего бритвенного крема.

– Знаешь, что это?

– Что? Это интересно!

– Это моя тайна. Ты не знала, что у меня есть тайна?

– У всех есть тайны.



– Но у меня особенная.  
– Какая же?  
– Сказать не могу. Придется показать.

– Питер, это же просто смешно.

– Значит, не хочешь? Боишься?

– Нет. Тебя я не боюсь.

– Прекрасно. И я тебя тоже.

Она смеется.

– Ты никого не боишься.

– Вот и не правда. Я всех боюсь.

– Даже своего отца?

– Ух, его особенно.

– Когда же ты покажешь мне свою тайну?

– Может, и не покажу вовсе. Это ужасная штука.

– Ну пожалуйста, Питер, покажи. Пожалуйста.

– Пенни.

– Что?

– Ты мне очень нравишься.

Он не говорит: «Я тебя люблю» – боится, а вдруг это не так.

– И ты мне тоже.

– Но я тебе разонравлюсь.

– Нет. Ты нарочно глупости говоришь?

– Может быть. Ну ладно, покажу тебе после первой игры. Если духу хватит.

– Вот теперь я тебя боюсь.

– А ты не поддавайся. Знаешь, у тебя такая чудесная кожа.

– Ты так часто это говоришь. Почему? Кожа как кожа. – Он не отвечает и гладит ее по руке. Она отнимает руку. – Давай смотреть. Кто ведет?

Он поднимает голову, смотрит на новые часы и электрическое табло подарок выпускников 1936 года.

– Они.

И она, вдруг превратившись в маленькую фурию с накрашенными губами, кричит:

– Давай, давай!

Игроки из детских команд, пятеро в олинджерской форме, коричневой с золотом, и пятеро из Западного Олтона, в синей с белым, носятся как ошалелые, словно склеенные резиновыми подошвами со своими цветными отражениями в блестящих досках пола. Каждый шнурок, каждый волос, каждая напряженная гримаса кажутся нарочитыми, неестественными, как у звериных чучел в большой ярко освещенной витрине. И в самом деле, баскетбольное поле отделено от скамей воображаемым стеклом; хотя игрок может поднять голову и увидеть девушку, с которой провел вечер накануне (он помнит, как она пицала и как у него потом пересохло во рту), она сейчас бесконечно далека от него, и то, что произошло в темной, неподвижной машине, вполне могло ему только присниться. Марк Янгерман тыльной стороной волосатой руки стирает пот со лба, видит летящий на него мяч, поднимает руки, ловит тугий шар, прижимая его к груди, поворачивает голову в другую сторону, чтобы обмануть противников, обходит защитника Западного Олтона и, выиграв мгновение, на бегу забрасывает мяч в сетку. Счет сравнялся. Раздается такой крик, что кажется, все души переполняет ужас.

\*\*\*

Колдуэлл разбирает корешки билетов, когда к нему на цыпочках подходит Филиппс и говорит:

– Джордж, вы сказали, у вас не хватает билетов.

– Да, с восемнадцать тысяч первого по восемнадцать тысяч сто сорок пятый.

– Кажется, я знаю, куда они девались.

– Господи, у меня просто гора с плеч.

– Их, по-видимому, взял Луис.

– Зиммерман? На кой черт ему воровать билеты?

– Т-сс! – Филиппс красноречиво указывает глазами на дверь директорского кабинета. Он словно щеголяет таинственностью. – Вы же знаете, он ведет старшие классы в кальвинистской воскресной школе.

– Конечно. Его там чуть не на руках носят.

– А вы заметили, что преподобный Марч здесь?

– Да, я его пропустил. Не взял с него денег.

– Ну так вот. Он здесь потому, что человек сорок из воскресной школы получили бесплатные билеты и пришли сюда все как один. Я предложил ему место на трибуне, но он отказался, объяснил, что лучше встанет у стены и будет присматривать за мальчиками; почти половина их из Эли, где нет кальвинистской церкви.

Ага, вот она; Вера Гаммел! Ее длинное желтое пальто не застегнуто, узел рыжих волос разваливается, шпильки выпадают, бежала она, что ли? Она улыбается Колдуэллу и кивает Филиппсу; Филиппс, этот щуплый человечек, единственный, кто не вызывает у нее никаких чувств. Колдуэлл – дело другое: он словно будит в ней спящий материнский инстинкт. Всякий высокий мужчина кажется ей союзником, до того она простодушна. И наоборот, всякий мужчина ниже ее ростом как будто враг ей. Колдуэлл, дружелюбно приветствуя Веру,

поднимает бородавчатую руку; ему приятно смотреть на нее. Когда миссис Гаммел здесь, он чувствует, что не вся школа отдана во власть зверей. У нее мальчишеская фигура: плоская грудь, длинные ноги, тонкие веснушчатые руки, в которых есть что-то волнующее и даже тревожное. Извечная женская округлость заметна только в линиях бедер; только эти бедра, словно вылепленные из гипса, выпукло очерчиваясь под синим спортивным костюмом, и выделяют ее среди учениц. Женщина расцветает медленно: сначала первоцвет, потом – расцвет и снова расцвет, еще пышнее. Жизнь до поры до времени медлительна. И пока что детей у нее нет. Ее низкий лоб, белое пятно между двумя отливающими медью прядями, нахмурен; нос – длинный и острый; лицо чем-то напоминает мордочку хорька, а улыбается она, очаровательно обнажая десны.

Колдуэлл окликает ее.

– Ваши девочки играли сегодня? – спрашивает он.

Вера – тренер женской баскетбольной команды.

– Я прямо оттуда, – бросает она не останавливаясь. – Наши продули. Я только дала Элу поужинать и решила пойти посмотреть, как сыграют мальчики.

Она идет по коридору к дверям зала.

– Да, эта женщина любит баскетбол, – говорит Колдуэлл.

– Эл слишком много работает, – говорит Филиппс угрюмо, – вот она и скучает.

– Но вид у нее веселый, а для меня в моем состоянии это главное.

– Джордж, ваше здоровье меня беспокоит.

– Бог любит веселые трупы, – говорит Колдуэлл с напускной жизнерадостностью и решается взять быка за рога. – Так в чем же секрет этих билетов?

– Собственно, никакого секрета и нет. Преподобный Марч сказал, что Луис предложил для поощрения раздать билеты ученикам воскресной школы, которые до Нового года не пропустили ни одного занятия.

– И для этого он, как вор, залез ко мне в стол и украл мои билеты.

– Тише. Билеты не ваши, Джордж. Билеты школьные.

– Да, но я козел отпущения, мне за них отвечать.

– Это просто бумажки, так на них и смотрите. Пометьте у себя в книгах: «Благотворительность». В случае чего я вас поддержу.

– А вы не спросили Зиммермана, куда девались еще сто билетов? Вы говорите, пришло сорок человек. Не мог же он еще сотню раздать, ведь тогда даже четырехлетние малыши из кальвинистских ясель приползли бы сюда на четвереньках с бесплатными билетами.

– Джордж, я понимаю, вы расстроены. Но незачем преувеличивать. С Зиммерманом я не разговаривал, да и ни к чему это, по-моему. Напишите: «Благотворительность», и конец. Конечно, Луис ни с кем не считается, но здесь дело чистое.

Прекрасно понимая, что надо послушаться благоразумного дружеского совета, Колдуэлл все же позволяет себе еще одну тираду:

– За эти билеты можно было бы взять девяносто долларов чистых денег, и я возмущен, что

их подарили нашей драгоценной кальвинистской школе.

Он возмущается искренне. Весь Олинджер, кроме мелких общин, вроде католиков, свидетелей Иеговы и баптистов, разделен на два больших лагеря, мирно соперничающих между собой, – лютеран и кальвинистов, причем лютеране многочисленней, а кальвинисты богаче. Сам Колдуэлл из пресвитерианской семьи, но во время кризиса он принял веру жены, стал лютеранином и при всей своей терпимости действительно не доверяет кальвинистам, которые в его представлении связаны с Зиммерманом и Кальвином, а те в свою очередь со всем темным, бездушным и деспотическим на свете.

\*\*\*

Вера входит в зал через широкие двери, распахнутые настежь и удерживаемые резиновыми клиньями, которые, когда надо закрыть двери, выбивают ногой из аккуратных латунных гнезд. В дальнем углу она видит преподобного Марча, он стоит, прислонившись к куче складных стульев, которые во время собраний, спектаклей и заседаний родительского совета расставляют посреди зала, там, где сейчас баскетбольное поле. Несколько мальчиков в грубошерстных брюках, болтая ногами, сидят на этой куче вопреки всем правилам; здесь же, позади скамей, толпятся мужчины, мальчишки и несколько девочек – вытягивая шеи, они смотрят через головы передних, а некоторые залезли на стулья, стоящие между открытыми дверьми. Двое парней лет по двадцать пять робко здороваются с Верой и расступаются перед ней. Они ее знают, а она никак не может их вспомнить. Это бывшие знаменитости из тех, кого много лет, пока они не женятся, или не запьют, как это было со многими, или не поступят на работу где-нибудь очень уже далеко от города, тянет в школу на спортивные состязания, как собаку тянет туда, где она когда-то зарыла лакомую кость. С каждым разом все более постаревшие и обрюзгшие, они упорно появляются здесь, зачарованные непрерывной сменой – в зале и на дворе, осенью, зимой и весной – новых молодых и еще не известных школьных спортсменов, которые возникают как призраки, а потом сами незаметно присоединяются к ним и тоже становятся зрителями. Держатся они робко и приниженно, совсем не так, как ученики на трибунах; там лица, волосы, ленты, яркая одежда сплетаются в единую ткань, в сверкающее живое знамя. Вера щурит глаза, и толпа распадается на дрожащие цветные молекулы. словно поляризованные колебанием, совершающимся перед ними, эти частицы при ее появлении и в самом деле колеблются, нацеливаясь друг на друга острыми невидимыми кончиками. И чувствуя это, Вера полна гордости, спокойствия и уверенности. Она не спешит удостоить взглядом преподобного Марча, тоже восхищенного медно-золотой звонкой россыпью, которая облекает ее и сквозь колышущуюся тесноту сияет ему прямо в глаза.

Этот священник – высокий красавец со смуглым худым лицом и гладкими черными изысканно подстриженными усами. Он нашел себя во время войны. В тридцать девятом году он, совсем еще молодой и не искушенный в жизни, окончил семинарию на северо-востоке Пенсильвании – ему тогда не было и двадцати пяти лет. Он чувствовал себя слабым, как женщина, его одолевали сомнения. Богословие придавало этим сомнениям определенность и глубину. Оглядываясь назад, он видел, что, если отбросить влияние матери, вся его религиозность, из-за которой он стал священником, была лишь болезненным отблеском его робости перед женщиной. Его металлический голос вдруг срывался в церкви на высоких нотах, и от этого его туманные проповеди казались смешными. Он боялся своих церковных старост и презирал свою миссию. В сорок первом году война помогла ему найти выход. Он пошел в армию добровольцем, но не капелланом, а простым солдатом. Так он надеялся избежать вопросов, на которые не мог ответить. И ему это удалось. Он переплыл через океан, и фурии не угнались за ним. Его произвели в лейтенанты. В северной Африке он и пятеро под его командой продержались семь дней, хотя у них было всего три фляги воды. В Анцио снаряд вырыл воронку шириной в восемь футов на том самом месте, откуда он перебежал

полминуты назад. В холмах под Римом он получил чин капитана. И к концу войны на нем не было ни единой царапины. Он закалился, окреп, лишь голос остался прежним. И как это ни нелепо, он вернулся к своему смиренному призванию. Но было ли это нелепо? Нет! Очистившись от окалины, он обнаружил под ней материнскую веру, закаленную огнем до несокрушимой твердости, необычную, но реальную, как кусок остывшего шлака. Он был жив. Жизнь – ад, но этот ад прекрасен. А все прекрасное принадлежит богу. Хотя голос Марча по-прежнему слаб, его молчание исполнено силы. Глаза его, черные как угли, блестят над острыми, смуглыми скулами; усы, оставшиеся от густой щетины военных времен, он носит гордо, как шрам. На людях он неизменно появляется в своем белом воротнике, словно это знак различия. Вере, когда она потихоньку подходит к нему по коридору мимо открытых дверей, его воротник кажется таким романтичным, что у нее перехватывает дыхание: это нож чистейшей белизны, лезвие абсолюта, приставленное к его горлу.

– Сегодня вы молились не за нас, – шепчет она на одном дыхании.

– А, здравствуйте. Значит, ваши девочки проиграли?

– М-м... да. – Она уже притворяется, что ей скучно, и действительно в сердце закрадывается скука. Она смотрит на игру и, засунув руки в карманы, потряхивает золотые лепестки своего пальто.

– Вы всегда приходите, когда играют мальчики?

– Конечно. Мне интересно. Вы играли когда-нибудь в баскетбол?

– Нет. В юности бог не дал мне способностей. Я всегда был последним.

– Сомневаюсь.

– Это и есть примета истины.

Она морщится от этого наставительного пасторского тона, вздыхает и объясняет нехотя в ответ на его нетерпеливое молчание:

– Понимаете, кто поработает здесь учителем, уже не может без школы. Это профессиональная болезнь. Если окна освещены, так и тянет сюда.

– Вы ведь живете в двух шагах.

– М-м...

Его голос вызывает у нее досаду. Неужели это закон природы, думает она, что у рослых мужчин жалкие голоса? Неужели так суждено, чтобы всякую встречу отравляла крупица разочарования? И в отместку она дразнит его:

– Вы сильно изменились с тех пор, как были последним.

Он коротко смеется, лишь на миг обнажая табачного цвета зубы, словно долго смеяться ему не позволяет чин: это смех капитана.

– Последние станут первыми, – говорит он.

Она несколько озадачена, не понимая намека, но все же чувствуя по тому, как он довольно сжимает точеные смуглые губы, что какой-то намек тут есть. Она смотрит в сторону и, как всегда, когда боится показаться глупой, щурит темно-карие глаза, зная, что от этого их бархатная глубина становится еще прекраснее.

– А почему?... – Она прикусывает губу. – Нет, лучше не спрашивать.

– О чем?

– Неважно. Я забыла, с кем говорю.

– Нет, прошу вас. Сказано – ищите и обрящете.

Подсыпая в разговор соль богохульства, он надеется поймать, удержать ее, эту золотую голубку, этого рыжего воробья. Он чувствует, что она сейчас спросит, почему он не женат. Нелегкий вопрос; он сам порой искал на него ответ. Быть может, дело в том, что война показывает женщин в неприглядном свете. Цена на них падает, и оказывается, что их можно купить совсем дешево – ночь за плитку шоколада. Да и эту цену устанавливают не они, а мужчины. И когда поневоле поймешь это, не спешишь покупать. Но сказать ей это нельзя.

Действительно, именно этот вопрос вертелся у нее на языке. Уж не предпочитает ли он нечто другое? Она не доверяет священникам и холеным мужчинам. А он – то и другое. Она спрашивает:

– Почему вы здесь? Раньше я ни разу не видела вас на состязаниях, вы приходили сюда только на общую молитву.

– Я пришел, – отвечает он, – пасти сорок нечестивых овечек из моей воскресной школы. Не знаю уж отчего, но Зиммерман в прошлое воскресенье вдруг как манной осыпал их билетами на баскетбол.

Она смеется.

– И все-таки – почему?

Все, что в ущерб Зиммерману, наполняет ее радостью.

– Почему?

Его черные брови красиво изгибаются над круглыми глазами, зрачки при ярком свете кажутся не черными, а крапчатыми, темно-серыми, как будто в хрусталик подмешан порошок. Он смотрел в лицо опасности, видел много ужасного, и это волнует Веру. Ее грудь мягко вздымается, она с трудом удерживается, чтобы не прижать к ней руки. На ее влажных губах уже дрожит смех, прежде чем он с шутливым возмущением начинает спрашивать.

– А что со мной делают? – нарочно сурово говорит он, слегка выкатывая глаза. – Почему женщины в моем приходе пекут хлебы для церкви раз в месяц и продают их друг другу? Почему городские пьяницы, что ни день, разыгрывают меня по телефону? Почему мои прихожане являются по воскресеньям в модных шляпах слушать, как я рассуждаю о писании?

Успех превосходит все ожидания, теплый водоворот ее смеха возносит его к облакам, и он продолжает в том же духе, как некогда безрассудно храбрый и сильный индеец сиукс в полном наряде танцевал военный танец вокруг знака, предупреждающего о минах. Хотя его вера нерушима и крепка, как металл, она и мертва, как металл. И хотя он может когда угодно взять и взвесить ее, у нее нет рук, чтобы его удержать. И теперь он ее высмеивает.

А Вера тоже рада, что вызвала его на этот разговор; он показывает ей церковь, словно быстро прокручивает старый немой фильм, – пустой дом, куда люди по привычке приходят, раскланиваются и говорят «спасибо», словно сам хозяин там. Радужные пузырьки поднимаются из ее живота к легким и весело лопаются в горле; право, только этого она и хочет, только это и нужно ей от мужчины – чтобы он умел ее рассмешить. В смехе

возрождается ее юность, ее невинность. Губы, очерченные вишневой помадой, которая еще не стерлась, раскрываются, давая выход веселью; блестят десны, на раскрасневшемся лице запечатлено оживление – это лик Горгоны, но только красивый, полный жизни. Мальчик в грубошерстных штанах, который залез на кучу складных стульев и плывет на этом шатком плоту по океану беспокойной толпы, наклоняется посмотреть, что там еще за шум. Он видит под собой рыжую голову, словно чудовищную оранжевую рыбу, которая, поблескивая, кругами петляет над крашеными деревянными планками. Изнемогая от смеха, Вера откидывается назад. Крапчатые глаза священника туманятся, его четкие губы робко и недоуменно морщатся. Он тоже откидывается назад; стулья сложены неровно, образуя уступ не выше каминной доски, о который он облакачивается, собрав остатки своего капитанского хладнокровия. Так он заслоняет ее от толпы; они словно уединяются.

«...И так часто он, сраженный вечной раной любви, бросается в твои объятия и, приподнявшись, закинув назад стройную шею (*tereti service*), не сводя глаз с тебя, богиня (*inhians in te, dea*), насыщает любовью жадный взор и впивает дыхание твое!» &lt;из поэмы Тита Лукреция Кара «О природе вещей»&gt;

\*\*\*

Встреча юношеских команд окончена. Хотя лицо Марка Янгермана пылает, хотя он тяжело дышит и тело у него скользкое, как у лягушки, олинджерцы проиграли. Гул толпы меняет тон. Многие встают. А те, кто вышел на улицу, видят, что идет снег. Эта благосклонность небес всякий раз поражает заново. Благодаря ей мы оказываемся в облаках рядом с Юпитером Плювием. Что за толпа! Что за толпа крошечных снежинок валом валит на землю в желтом царстве света над входом! Атомы, атомы, атомы без числа. На ступенях уже лежит пушистый слой. Машины на шоссе замедляют ход, стеклоочистители постукивают, фары горят, осыпаемые бесконечной лавиной блесков. Кажется, будто снег падает только там, где струится свет. Трамвай, идущий в сторону Олтона, словно тащит за собой шлейф медленно оседающих светлячков. Какое красноречивое безмолвие царит в мире! Под огромным сиреневым куполом бушующего ночного неба Олинджер превращается в новый Вифлеем. За блестящими окнами плачет младенец-бог. Из ничего родилось все. Стекла, словно облепленные изнутри соломой из его яслей, заглушают крик. Мир не слышит и продолжает жить по-прежнему. Город с белыми крышами кажется скопищем заброшенных храмов; вдали они сливаются, сереют, тают. Шейл-хилл не виден. Над головой низко нависает желтизна; а на западе, над Олтоном, встает рубиновое сияние. С зенита струится бестрепетный сиреневый свет, словно в нем растворен блеск луны и звезд и сквозь этот раствор пропущен слабый электрический ток. Едва уловимое ощущение тяжести, угрозы вызывает радостное волнение. Воздух с резким свистом легко устремляется вниз, это педалированная нота, нижнее «до» вселенской бури. Фонари выстроились вдоль трамвайных путей, образуя сверкающую авансцену, на которой снег, сметаемый и раздуваемый легким ветерком, как актер, замирает и падает. Верхние воздушные потоки сдерживают снег, но он освобождается и, как пылкий влюбленный, бросается вниз в объятия земли; он то гуще, то реже, и кажется, будто огромные, теряющиеся в вышине ноги шагают по воздуху. Метель идет. Метель идет, но не уходит.

Оставшиеся в школе не знают о перемене погоды, но, как рыба, подхваченная океанским течением, они чувствуют какую-то перемену. В зале становится оживленней. Предметы вокруг не просто видны, они резко бросаются в глаза. Голоса звучат громче. В сердцах просыпается дерзость. Питер ведет Пенни к выходу, и они оказываются в коридоре. Обещание, которое он ей дал, бьется у него в мозгу, но она, видимо, все забыла. Он слишком молод, чтобы различать те тонкости, те неуловимые оттенки на лице женщины, которые выражают ожидание и согласие. Он покупает ей кока-колу, а себе лимонада в ларьке, открытом ученическим советом. Вокруг ларька оживленно; их притискивают к стене. Здесь

висят в хронологическом порядке фотографии прежних спортивных команд. Пенни пьет из бутылки, оттопырив мизинец, а выпив, облизывает губы и смотрит на него глазами, которые блестят свежей зеленью.

Питер думает о своих пятнах, эта тайна мучительна; открыть ее или нет? Сблизит ли это их, если он заставит ее разделить свой стыд; станет ли Пенни, прикованная к нему жалостью, его рабыней? И вправе ли он, такой молодой, иметь рабыню? Погруженный в эти жестокие расчеты, он поворачивается спиной своей огненной рубашки к толпе, которая колышется и бурлит вокруг ларька. Вдруг железная хватка стискивает его руку выше локтя – наверно, кто-нибудь из сотни этих идиотов.

Но это мистер Зиммерман, директор. Он и Пенни схватил за руку, стоит и улыбается, не отпуская их.

– Попалась парочка, – говорит он, словно о двух птичках.

Питер сердито тянет руку. Пальцы директора сжимаются сильнее.

– Он становится похож на своего отца, – говорит Зиммерман Пенни, и, к ужасу Питера, Пенни улыбается в ответ на ухмылку директора. Зиммерман ростом ниже Питера, но выше Пенни. Вблизи его голова, асимметричная, облысевшая, кивающая, кажется огромной. Нос у него картошкой, глаза водянистые. Мальчика захлестывает злоба, когда он смотрит на этого дурака.

– Мистер Зиммерман, – говорит он. – Позвольте задать вам один вопрос.

– Ну вылитый отец с его вечными вопросами, – говорит Зиммерман Пенни и отпускает руку Питера, а ее все держит. На ней розовый шерстяной свитер почти без рукавов, и плечи ее словно нагие бедра. Толстые пальцы старика сжимают прохладную кожу, большой палец тихонько поглаживает руку девушки.

– Я хотел вас спросить, – говорит Питер, – в чем состоит гуманистическая ценность естественных наук?

Пенни нервно хихикает, лицо ее стадо глупым. Зиммерман спрашивает:

– Откуда ты взял эту фразу?

Питер зашел слишком далеко. Он краснеет, чувствуя; что предал отца, но гордость не дает ему остановиться.

– Из отзыва, который вы написали о моем отце.

– Он показывает тебе мои отзывы? И ты думаешь, это правильно?

– Не знаю. Но что касается его, касается и меня.

– Боюсь, что он возлагает на твои плечи непосильное бремя. Питер, я глубоко ценю твоего отца. Но ты, конечно, сам понимаешь – ты ведь умный мальчик, – что иногда он склонен к безответственности.

Из всех возможных обвинений это кажется Питеру самым несправедливым. Его отец, бледный, пошатывающийся, сходящий по ступеням как слепой, несостоятельный должник в картонной коробке...

– Тем большую ответственность, – продолжает Зиммерман мягко, накладывает это на окружающих.



– По-моему, он только и думает об ответственности, – говорит Питер, загипнотизированный медленными ласкающими движениями большого пальца Зиммермана по руке Пенни. Она покоряется ему; Питер вдруг словно прозрел. И этой шлюхе, этой кукле он готов был рассказать о своих драгоценных пятнах!

Рот Зиммермана еще шире растягивается в улыбке.

– Конечно, ты смотришь на него иначе, чем я. Я сам точно так же смотрел на своего отца.

Они многое видят одинаково, эти двое; оба видят в других людях лишь почву для самоутверждения. Это сродство делает возможной борьбу между ними. Питер чувствует дружелюбие, переплетающееся с враждебностью, доверие, смешанное со страхом. Но директор просчитался, когда искал близости; отчужденность и молчание всегда берут верх. Питер смотрит ему в лицо и, едва удержавшись от непоправимой дерзости, отворачивается. Он чувствует, что шея у него краснеет сбоку, как у матери.

– Он только и думает об ответственности, – говорит он об отце. – Как раз сейчас пришлось сделать рентген желудка, но он гораздо больше беспокоится о какой-то несчастной книжке билетов на баскетбол, которая куда-то запропастилась.

Зиммерман быстро переспрашивает:

– Билетов? – и Питер с удивлением чувствует, что, кажется, сквитался с ним. Директор поворачивает голову, и его морщины проступают яснее; это его старит. Питер торжествует при мысли, что у него, мстителя за отца, есть это превосходство над врагом: ему больше лет дано прожить. Сейчас, здесь, он ничтожен и бессилён, зато в перспективе будущего он могуч. Зиммерман что-то шепчет, кажется, он растерян. – Надо будет поговорить с ним, бормочет он как бы про себя.

Да, Питер зашел слишком далеко. От страха, что он совершил непоправимое предательство, у него ноет в животе, как в детстве, когда он, опаздывая, бежал вдоль трамвайных путей в начальную школу.

– Может быть, не надо? – Его голос становится тонким, умоляющим, совсем детским. – Понимаете, я не хочу, чтоб у него были из-за меня неприятности.

Теперь уже перевес на другой стороне. Зиммерман отпускает руку Пенни и, сложив пальцы для щелчка, подносит их к лицу Питера. Это ужасный миг: Питер моргает, ошеломленный. У него перехватывает дыхание. Рука скользит мимо его лица и легонько щелкает по фотографии, висящей над плечом Питера на стене.

– Это я, – говорит Зиммерман.

На фотографии школьная спортивная команда 1919 года. На всех спортсменах старомодные черные фуфайки, а на капитане белые брюки и соломенная шляпа. Даже деревья на заднем плане – те самые, что растут у дороги в богадельню, только тогда они были пониже – кажутся старомодными, как искусственные цветы. Во многих местах фотография пожелтела. Морщинистый палец Зиммермана, твердый и блестящий, с отполированным ногтем, его теперешний палец, уперся в крошечное тогдашнее лицо. Питер и Пенни вынуждены взглянуть на фотографию. Любопытно, что Зиммермана сразу можно узнать, хотя в то время он был куда стройнее и с густой черной шевелюрой. Массивный нос неуклюже торчит над чуть искривленными губами, не совсем параллельными линии бровей, отчего на молодом лице застыло выражение тяжелой тупости, бесконечной настороженности и упорной жестокости, которая и теперь, в зрелом возрасте, помогает ему без труда укрощать даже самых отпетых и дерзких.

– Да, это вы, – говорит Питер растерянно.

– Мы никогда не проигрывали.

Палец, такой близкий, вездесущий, опускается. Не сказав больше ни слова, Зиммерман поворачивается к ним огромной спиной и отходит. Ученики теснятся, давая ему дорогу.

Вестибюль пустеет, начинается матч старшеклассников. От пальцев Зиммермана на обнаженной руке Пенни остались желтые следы. Она с гримаской отвращения трет руку.

– Прямо хоть ванну принимай, – говорит она. И тут Питер понимает, что действительно любит ее. Они были одинаково беспомощны в руках Зиммермана. Он ведет ее по коридору, словно хочет вернуться в зал; но в конце коридора толкает двойную дверь и увлекает девушку вверх по темной лестнице. Это запрещено. По вечерам, когда бывают состязания, на дверь обычно вешают замок, но на этот раз сторожа забыли ее запереть. Питер опасливо озирается, но все, кто может их остановить, ушли в зал смотреть следующую игру.

Вот они уже на первой площадке, снизу теперь их не видно. Лампочка над входом для девочек, за окном, забранном стальной решеткой, бросает вверх косые ромбы света, рассеивая темноту, так что можно видеть. Надо, чтобы Пенни могла видеть. Ее обнаженные руки кажутся серебряными, красные губы черными. И его рубашка тоже кажется черной. Он расстегивает один рукав.

– Это очень печальная тайна, – говорит он. – Но я люблю тебя, и ты должна знать все.

– Подожди.

– Что такое?

Он прислушивается, думая, что она услышала чьи-то шаги.

– Ты понимаешь, что говоришь? За что ты меня любишь?

Тишину разрывает рев толпы – кажется, будто вокруг них бушует океан. Здесь, на площадке, неуютно и холодно. Питер вздрагивает и уже сам боится того, что затеял.

– Я люблю тебя, – говорит он, – потому что... помнишь, я рассказывал тебе свой сон... так вот, когда ты превратилась в дерево, мне хотелось плакать и молиться.

– Наверно, ты любишь меня только во сне.

– Почему же?

Он касается ее лица. Серебро. А губы и глаза черны, недвижны и кажутся жуткими, как прорези в маске.

Она говорит нежно:

– Ты, наверно, считаешь меня глупой?

– Да, раньше я так думал. Но теперь нет.

– Я некрасивая.

– Теперь ты красивая.

– Не целуй меня. Помаду размажешь.

– Дай руку поцелую. – Он целует ей руку, а потом засовывает ее себе в расстегнутый рукав. – Чувствуешь, какая у меня странная рука?

– Теплая.

– Нет. Там есть шероховатости. Пощупай.

– Да... есть немножко. Что это?

– То самое.

Питер закатывает рукав и показывает ей руку с внутренней стороны; пятна кажутся сиреневыми в холодном рассеянном свете. Их меньше, чем он сам ожидал.

Пенни спрашивает:

– Что это? Сыпь?

– Эта штука называется псориаз, она у меня с рождения. Ненавижу эту гадость.

– Питер!

Он потупился и чуть не плачет, но ее рука поднимает его голову. Глаза у него сухие, и все же ему как будто на самом деле стало легче.

– Это у меня на руках и на ногах, а хуже всего на груди. Хочешь покажу?

– Мне все равно.

– Я, наверно, теперь тебе противен. Отвратителен. Хуже, чем прикосновение Зиммермана.

– Питер, ты просто хочешь, чтобы я тебе возражала. Покажи, что у тебя на груди.

– Показать?

– Да. Ну что же ты? Я хочу видеть.

Он поднимает рубашку и фуфайку и стоит в полусвете полуобнаженный. Он чувствует себя как невольник перед бичеванием или как статуя умирающего раба, которую Микеланджело не до конца освободил от каменного покрова. Пенни наклоняется и смотрит. Ее пальцы касаются холодеющей кожи.

– Как странно, – говорит она. – Будто гроздь.

– Летом все проходит, – говорит он, опуская рубашку. – Когда вырасту, буду зимой всегда жить во Флориде и избавлюсь от этого.

– Это и была твоя тайна?

– Да. Прости меня.

– Я ожидала чего-нибудь похуже.

– Куда уж хуже. Когда светло, это просто уродство, а что поделаешь остается разве только прощения просить.

Она смеется, и в его ушах будто звенит серебряный колокольчик.

– Вот глупый. Я знала, что у тебя какая-то кожная болезнь. Это и на лице заметно.

– Господи, неужели? Очень заметно?

– Нет. Совсем не видно.

Он знает, что она лжет, но не хочет доискиваться правды. Вместо этого он спрашивает:

– Значит, для тебя это не важно?

– Конечно, нет. Ты же не виноват. Это – часть тебя.

– Ты действительно так думаешь?

– Если б ты знал, что такое любовь, ты бы и не спрашивал.

– Какая ты хорошая!

Принимая ее прощение, он становится на колени в углу лестничной площадки и прижимает лицо к ее платью у живота. Коленам становится больно, и он ниже опускает голову. А руки его сами скользят вверх по серебру, подтверждая то, что он почувствовал лицом сквозь материю, и это кажется ему чудовищным и восхитительным: там, где сходятся ее ноги, нет ничего. Ничего – только сквозь шелк чувствуется легкая, влажная округлость. Вот она, величайшая тайна мира, эта невинность, эта пустота, эта таинственная выпуклость, нежно упругая под своей шелковой оболочкой. Сквозь шерсть юбки он целует свои пальцы.

– Не надо, – просит Пенни и робко тянет его за волосы. А он прячется от нее в ней самой, крепче вдавливая лицо в эту впадину; но даже теперь, когда лицо его прижимается к самому сокровенному, глухая, тревожная мысль о смерти отца закрадывается ему в голову. Так он предает Пенни. И когда она, с трудом удерживаясь на ногах, снова повторяет: «Пожалуйста, не надо», он уступает, оправдываясь перед собой тем, что в ее голосе слышится искренний страх. Вставая, он смотрит не на нее, а мимо, в окно, и видит новое чудо:

– Снег идет.

\*\*\*

В уборной Колдуэлл с удивлением читает слово «жена», нацарапанное на стене большими квадратными буквами. Присмотревшись пристальней, он обнаруживает, что буквы переправлены: там, где было "о", теперь "е", там, где "п", теперь "н". "Ж" и "а" остались. Пытливый до последнего мгновения своей жизни, он воспринимает как некое открытие, что это слово всегда можно так переправить. Но кто сделал это? Психология мальчика (а это должен быть мальчик), который переправил слово, осквернил саму скверну, ему не понятна. И это угнетает его; выходя из уборной, он пытается проникнуть в голову мальчишки, представить себе его руку, и, когда он идет по коридору, ему кажется, будто то, что он не может представить себе эту мальчишескую руку, больше всего его тяготит. Мог ли это сделать его сын?

Зиммерман, видимо, подждал его. В коридоре почти пусто; Зиммерман бочком идет к нему от двери, ведущей на сцену.

– Джордж.

«Он знает».

– Джордж, вы, кажется, беспокоитесь насчет этих билетов?

– Я не беспокоюсь, мне все объяснили. Я записал их на счет благотворительности.

– Мне казалось, я говорил вам об этом. Видимо, я ошибся.

– Да нет же, я напрасно шум поднял. Помрачение рассудка, вот как это называется.

– Кстати, у меня был прелюбопытный разговор с вашим сыном Питером.

– А? Что же он вам сказал?

– Сказал многое.

«Мим Герцог, он знает, что я знаю, все пропало, история выплыла наружу, теперь уж не скроешь. Раз навсегда, назад хода нет, блаженство в неведении». Рослый учитель чувствует, что весь холодеет с ног до головы. Усталость, пустота и чувство тщетности всех усилий охватывает его как никогда. Его тело старается освободиться от этой хватки, ладони и лоб становятся липкими, но это даже не пот, а какая-то плотная пленка.

– Он не хотел причинить мне неприятность. Бедный мальчик не знал, что делает, – говорит Колдуэлл директору.

Боль, сама неустанная боль словно изнемогла в нем.

Зиммерман, как через просвет в облаках, видит, что Колдуэлл боится истории с миссис Герцог, и ликует, чувствуя себя в безопасности, хозяином положения. Он легко, как бабочка над лужайкой, порхает над страхом, сковавшим это бугристое, осунувшееся лицо.

– Меня поразило, – говорит он будто вскользь, – как Питер о вас заботится. Мне кажется, он считает, что работа в школе слишком подрывает ваше здоровье.

«Вот и топор, спасибо богу хоть за эту милость, сейчас мучение кончится». У Колдуэлла мелькает мысль – будет ли приказ об увольнении на желтой бумажке, как в телефонной компании.

– Значит, он так считает?

– И может быть, мальчик прав. Он такой проницательный.

– Это у него от матери. Лучше б он унаследовал мою слабую голову и ее красоту.

– Джордж, я хочу поговорить с вами откровенно.

– Говорите. Это ваша обязанность.

Волна головокружения и мучительной тревоги захлестывает учителя; ему хочется взмахнуть руками, закружиться, упасть на пол и заснуть – что угодно, только не стоять здесь, не сносить, не терпеть все это от самодовольного негодяя, от которого ничего не скроешь.

Зиммерман превзошел самого себя в профессиональной ловкости. Его благожелательность, тончайшие оттенки такта, сочувственная предупредительность неиссякаемы. От всей его фигуры так и веет заслуженным начальственным авторитетом.

– Если когда-нибудь, – говорит он тихим и ровным голосом, – вы почувствуете, что не можете работать дальше, пожалуйста, придите ко мне и скажите прямо. Продолжать работать в таком случае – значило бы оказать плохую услугу и самому себе, и ученикам. Мне не трудно будет выхлопотать вам отпуск на год. Вы считаете это позором. Напрасно. Год почитать, подумать – что может быть естественней для учителя в самой середине трудового пути. Ведь вам всего пятьдесят лет. Школе это ущерба не нанесет; теперь, когда столько людей

вернулось из армии, учителей достаточно, не то что во время войны.

Пыль, рвань, плевки, бедность, всякая дрянь из сточных канав, весь хлам и хаос из-за пределов прочного, надежного мира ворвались сквозь дырочку от этого последнего маленького укола. Колдуэлл говорит:

– Господи, да если я уйду из школы, мне одна дорога – на свалку. Больше я ни на что не гожусь. И никогда не годился. Я никогда не читал. Никогда не думал. Всегда боялся этого. Мой отец читал и думал, а на смертном одре потерял веру.

Зиммерман снисходительно останавливает его движением руки.

– Если вас беспокоит этот последний отзыв, помните, что мой долг – быть правдивым. Но я говорю правду, как сказано у апостола Павла, любя.

– Я знаю. Вы были бесконечно добры ко мне все эти годы. Не пойму, чего ради вы со мной нянчились, но это так.

Он подавляет в себе желание солгать, уверить Зиммермана, что он не видел, как Мим Герцог, растрепанная, вышла из его кабинета. Но это было бы глупо. Он же видел. Будь он проклят, если станет попрошайничать. Уж если приходится становиться под расстрел, надо хоть пройти перед солдатами без чужой помощи.

– Никаких поблажек вы не получали, – говорит Зиммерман. – Вы отличный учитель.

Сказав эти невероятные слова, Зиммерман поворачивается и уходит, ни словом не обмолвившись про Мим и про увольнение. Колдуэлл не верит своим ушам. Может быть, он недослышал? Может, топор был такой острый, что он ничего не почувствовал, может, пуля прошла сквозь него, как сквозь призрак? Что же Зиммерман все-таки имел в виду?

Директор оборачивается:

– Ах да, Джордж.

«Вот оно. Кошка и мышь».

– Насчет этих билетов.

– Да.

– Не говорите ничего Филиппсу. – Зиммерман подмигивает. – Вы же знаете, какой он вздорный человек.

– Хорошо. Я понимаю.

Дверь директорского кабинета закрывается, белеет матовое стекло. Колдуэлл не знает, отчего колени его дрожат, а руки словно отнялись – то ли от облегчения, то ли это болезнь дает о себе знать. Надо снова как-то волочить ноги, а они никак не слушаются. Его торс плывет по коридору. Свернув за угол, учитель вспугнул Глорию Дэвис. Кеджерайз тискал ее в углу. Ну, этот-то видал виды, мог бы придумать что-нибудь получше. Колдуэлл не обращает на них внимания и проходит в зал мимо кучки своих бывших учеников – один из них Джексон, фамилии других он не может припомнить; они стоят и разинув рты следят за игрой. Ходячие мертвецы, у них даже не хватило ума, покончив счеты со школой, держаться от нее подальше. Он вспоминает, что Джексон всегда приходил к нему после уроков, нудно рассказывал про свои планы и свою любовь к астрономии, говорил, что сам делает телескоп из картонных трубок для бандеролей и увеличительных стекол, а теперь этот несчастный не имеет специальности, пошел в ученики к водопроводчику, получает 75 центов за час и все

пропивает. Ну что можно сделать, как избавить их от такой судьбы? Он сторонится бывших учеников эти понурые фигуры напоминают ему цельные освежаванные туши, висевшие на крюках в холодильнике большого отеля в Атлантик-Сити, где он когда-то работал. Дохлятина. Свернув в сторону, он сталкивается нос к носу со старым Кенни Клэглom, младшим полицейским, – этот седой, прилизанный человек с бегающими бесцветными глазами и ласковой старушечьей улыбкой, торжественно щеголяющий в синем мундире, получает пять долларов за вечер дежурства в школе; он стоит возле бронзового огнетушителя, и обоим им одна цена – в случае чего оба, вероятно, будут только плевать. От Клэгла много лет назад ушла жена, и он до сих пор не знает почему. А если б узнал, то наверняка умер бы на месте.

Отбросы, гниль, пустота, шум, смрад, смерть; спасаясь от этого многоликого призрака, Колдуэлл, благодарение богу, набрел на преподобного Марча – священник, одетый в черное, с белым воротником, стоял в углу, прислонившись к куче складных стульев, рядом с Верой Гаммел.

– Мы, кажется, не знакомы, – говорит Колдуэлл. – Я Джордж Колдуэлл, преподаю здесь естествоведение.

Приходится Марчу перестать любезничать с Верой, пожать протянутую руку и сказать смиренно, пряча улыбку под короткими подстриженными усиками:

– В самом деле, мы как будто не встречались, но я, конечно, слышал о вас и знаю вас в лицо.

– Я лютеранин и не принадлежу к вашей пастве, – объясняет Колдуэлл. Надеюсь, я не помешал вам с Верой. Дело в том, что я очень смущен духом.

С беспокойством посмотрев на Веру, которая отвернулась и, того гляди, ускользнет, Марч спрашивает:

– Вот как? Из-за чего же?

– Вообще я многого не могу понять. Вот, скажем, оправдание делами. Я никак не найду в этом толк и очень хотел бы узнать вашу точку зрения.

Глаза Марча бегают, он не смотрит в лицо собеседнику, а оглядывает толпу, ищет, кто бы избавил его от этого взъерошенного долговязого маньяка.

– Наша точка зрения не очень отличается от лютеранской, – говорит он. Надеюсь, когда-нибудь все дети реформации воссоединятся.

– Поправьте меня, если я ошибаюсь, ваше преподобие, – говорит Колдуэлл, – но, насколько я понимаю разницу, лютеране утверждают, что надо уповать на Иисуса Христа, а кальвинисты говорят: что бы с тобой ни случилось, все предопределено заранее.

Злой и растерянный, Марч нетерпеливо протягивает руку к Вере и чуть ли не хватает ее, чтобы она не убежала из-за этого дурацкого вмешательства.

– Смешной разговор, – говорит он. – Ортодоксальный кальвинизм – а я считаю себя в общем и целом ортодоксом – так же христоцентричен, как и лютеранское вероучение. Пожалуй, даже больше, поскольку мы не признаем святых и какое бы то ни было субстанциальное пресуществление в таинстве причастия.

– Я сын священника, – объясняет Колдуэлл. – Мой старик был просвитерианином, и, насколько я понял с его слов, есть избранные и есть простые смертные; что дано одним, то другим не дано и никогда дано не будет. Но по тупости своей никак не возьму в толк, почему сперва были созданы простые смертные. Я нахожу этому только одно объяснение – богу

нужно было упечь кого-то в ад.

Олинджерские баскетболисты увеличивают счет, и Марч должен повышать голос до крика, чтобы Колдуэлл его слышал.

– Предопределение, – кричит он, – уравнивается бесконечной милостью божией!

Шум стихает.

– Вот этого я и не понимаю, – говорит Колдуэлл. – Не вижу, в чем же бесконечная милость божия, если она ничего не меняет. Может быть, она и бесконечна, но только на бесконечно далеком расстоянии – иначе я не могу себе это представить.

Выражение темных глаз Марча становится все более злым и страдальческим – Вера каждую секунду может уйти.

– Но это же нелепо! – кричит он. – Баскетбольный матч не место для таких разговоров. Почему бы вам не зайти как-нибудь ко мне, мистер...

– Колдуэлл. Джордж Колдуэлл. Вера вот меня знает.

Вера поворачивается к ним с широкой улыбкой.

– Вы что-то сказали обо мне? Я ничего не смыслю в богословии.

– Мы уже кончили, – говорит преподобный Марч. – У нашего друга мистера Колдуэлла весьма своеобразное и ошибочное представление о бедном, несправедливо опороченном Жане Кальвине.

– Да я ничего о нем не знаю, – возражает Колдуэлл, и его голос становится жалобным, тонким и неприятным. – Я просто пытаюсь разобраться.

– Зайдите ко мне с утра в любой день, кроме среды, – говорит Марч. – Я дам вам почитать превосходные книги.

И он снова решительно переносит свое внимание на Веру, обратив к Колдуэллу красивый и уверенный профиль, словно отчеканенный на римской монете.

«Ишь, доморощенные аристократы, перед ними сам Нерон щенок», – думает Колдуэлл отходя. Придавленный и одурманенный тенью смерти, он медленно, словно прозрачный хищник, который влачит свои ядовитые щупальца сквозь могучие толщи океанских глубин, двигается за спинами зрителей и ищет глазами сына. Наконец он видит голову Питера справа, в одном из передних рядов. – «Бедняжке нужно постричься». На сегодня обязанности Колдуэлла окончены, он хочет взять Питера и ехать домой. Человеческие существа, которые всегда восхищали его, теперь ему отвратительны – кишат, как микробы, в этом жарком и душном зале. Даже бесплодная ферма Хэсси хороша в сравнении с этим. А на дворе валит снег. И сынишке не мешало бы выспаться.

Но рядом с Питером еще одна круглая белокурая головка. Колдуэлл узнает девятиклассницу Фоглмен. Два года назад у него учился ее брат, эти Фоглмены такой народ, с потрохами сожрут, а кости на помойку выбросят. Бездушные немцы, бр-р. Ему приходит в голову, что она неспроста сидит рядом с Питером. Возможно ли, ведь он мальчик умный. Но тут же Колдуэлл вспоминает, что не раз видел Питера и Пенни вместе в коридорах, то там, то здесь. У питьевого фонтанчика – они стояли там и смеялись. В дальнем крыле школы у шкафчика в задумчивых позах. В двери, как в раме, слившихся в один темный силуэт на фоне матового света. Видел, но ничего не понимал. А теперь вот понял. И ему становится еще тоскливее в его одиночестве. Поднимается оглушительный шум – счет в пользу Олинджера



увеличивается, и слепое неистовство четырьмястами языков лижет сведенные судорогой внутренности учителя.

Олинджер выигрывает.

Питер, почти не отрываясь, смотрит на баскетбольную площадку, но едва видит игроков, перед его внутренним взором все еще живет воспоминание, он прижимается лицом к волнующей пустоте меж ног Пенни. Кто поверил бы, что ему, совсем еще мальчишке, хоть на миг будет дана эта милость? Кто поверил бы, что гром не грянет и демоны мщенья не проснутся? Кто в этом набитом битком, ярко освещенном зале мог вообразить, к какой беспредельной тьме прикидал он губами? Воспоминание об этом как теплая маска у него на лице, и он не смеет повернуться к своей любимой, боясь, что она увидит жуткую бороду и закричит от страха и стыда и лицо ее покроют мурашки.

\*\*\*

Когда они с отцом наконец выходят из школы и шагают сквозь снег, Питеру кажется, что вся эта снежная прорва рождена его кощунством. В своем всепроникающем кружении ветер то и дело сердито швыряет звонкую льдистую россыпь в его теплое лицо. Питер отвык от снега. Это беспредельный ропот, несущийся со всех сторон. Он смотрит на небо, и его глаза встречают что-то розовато-лиловое, сиреневое, приглушенное, желто-жемчужное. Мало-помалу, приглядываясь, начинаешь воображать, что белая пелена – это кончик крыла, а потом вырисовывается и все крыло, с крошечными перышками, и уже кажется, что это крыло объяло все вокруг, распростерлось во всю ширь невидимого горизонта и дальше, за его пределы. Теперь, когда глаза настроились на эту частоту, куда ни глянь, везде все тот же белый трепет. Город и каждый дом в городе осажены бесчисленной ропщущей ратью.

Питер останавливается под высоким фонарем, сторожащим ближний угол автомобильной стоянки. Он с недоумением смотрит себе под ноги. На белизне снега, уже устилающего землю, роятся, как мошкара, какие-то черные крапинки. Они мечутся в разные стороны и исчезают. Исчезают, кажется, все в одной точке. Проследив за ними взглядом, он видит, как они несутся к этой точке; чем они дальше, тем быстрее их полет. Он следит за несколькими из них: все исчезают. Это кажется сверхъестественным. Но вот в голову Питеру приходит разумное объяснение, и он успокаивается. Это тени снежинок, отбрасываемые фонарем, который светит у него над головой. Прямо под фонарем трепетное падение их проецируется в виде беспорядочных колебаний, но вокруг, там, где лучи света ложатся косо, скорость тени, которая мчится к месту встречи со своей снежинкой, пропорционально возрастает. Тени стекаются из бесконечности, замедляют полет и, пронзительно черные в свой последний миг, исчезают, едва породившие их снежинки целуют белую поверхность. Это зрелище зачаровывает Питера; мир, во всей его многообразной, бесконечно изменчивой красоте, он воспринимает теперь пригвожденным, растянутым, распятым, как бабочка, на рамке непреложной геометрической истины. По мере того как гипотенуза приближается к вертикали, катет треугольника уменьшается все медленнее: это закон. Целеустремленные тени снежинок похожи на муравьев, суесящихся на каменном полу высокого замка. Питер чувствует себя ученым и бесстрастно старается найти в космографии, которой его учил отец, аналогию между наблюдаемым явлением и красным смещением спектральных линий, благодаря которому нам кажется, что звезды удаляются со скоростью, прямо пропорциональной их расстоянию от нас. Быть может, и здесь подобная же иллюзия, быть может, – он пытается представить себе это – звезды в самом деле медленно движутся через конус поля зрения, ось которого образуют наши земные телескопы. Все в мире висит, как пыль в заброшенном мезонине. Пройдя еще несколько шагов до того места, где свет фонаря сливается с общим трепетным сумраком, Питер как бы достигает грани, за которой скорость теней беспредельна и маленькая вселенная разом кончается и становится бесконечной. У

него ноют ноги от холода и сырости, и это омрачает космические размышления. Словно выйдя из тесной комнаты, он заново ощущает простор города, по которому гуляют огромные вихри, прыгая с неба, словно поднимая прощальный тост.

Он заползает в машину, как в пещеру, садится рядом с отцом и, стянув мокрые ботинки, подбирает под себя ноги в сырых носках. Отец быстро выезжает задним ходом со стоянки и по переулку едет к Бьюкенен-роуд. Сначала он слишком спешит и на малейшем подъеме задние колеса пробуксовывают.

– А, черт, – говорит Колдуэлл. – Дрянь наше дело.

От всех откровений этого дня нервы Питера обнажены, он взвинчен.

– А почему мы не уехали два часа назад? – спрашивает он. – Теперь нам не одолеть Пиллюлю. Чего ради ты торчал в школе до конца игры, хотя билеты давным-давно были проданы?

– Разговаривал с Зиммерманом. – Колдуэлл отвечает сыну не сразу, боясь, как бы это не прозвучало упреком. – Он сказал, что говорил с тобой.

Чувствуя свою вину, Питер отвечает резкостью:

– Поневоле заговоришь, если он сцапал меня в коридоре.

– И ты сказал ему про недостающие билеты.

– К слову пришлось. А больше я ничего не говорил.

– Ей-ей, мальчик, я не хочу стеснять твою свободу, но это ты все же напрасно.

– А что за беда? Это же правда. Значит, ты не хочешь, чтоб я говорил правду? Хочешь, чтобы я всю жизнь врал?

– А ты... конечно, теперь это не важно... Но... сказал ты ему, что я видел, как миссис Герцог выходила из его кабинета?

– Ясное дело – нет. Я и думать про это забыл. И все забыли, кроме тебя. Ты, видно, воображаешь, что весь мир против тебя сговорился.

– Я никогда не мог понять Зиммермана до конца, в этом, наверно, мое несчастье.

– Там и понимать-то нечего. Он просто-напросто зарвавшийся старый развратник, который сам не соображает, что делает. Все, кроме тебя, это знают. Папа, почему ты такой... – Он хотел сказать «глупый», но спохватился, вспомнив четвертую заповедь. – ...такой мнительный? Во всем видишь смысл, которого нет. Почему? Почему ты не успокоишься? Ведь этак никаких сил не хватит!

Мальчик со злостью бьет коленом по щитку, и крышка перчаточного ящика звенит. Голова отца чернеет смиренной тенью, втиснутой в крохотную шапчонку, которая для Питера воплощает всю отцовскую приниженность, нескладность, легкомыслие и упрямство.

Колдуэлл вздыхает и говорит:

– Не знаю, Питер. Наверно, отчасти это наследственное, а отчасти благоприобретенное.

Голос у него бесконечно усталый – видимо, он объясняет это из последних сил.

«Я убиваю отца», – думает Питер, пораженный.

Снег падает все гуще. Снежинки, осыпая фары, искрятся, кружатся, исчезают, и на их месте сверкают все новые блестки. Их лавина не оскудевает. Встречных автомобилей почти нет. За богадельней светящиеся окна домов редуют, тонут в метели. Печка начинает работать, и ее тепло как бы подчеркивает их оторванность от мира. Дуги, описываемые стеклоочистителями, становятся все короче, и вот уже отец с сыном смотрят вперед, в пургу, сквозь две узкие щелки. Мотор фырча несет их вперед, в ловушку.

Когда они спускаются по склону мимо еврейского кладбища, где похоронен Эб Кон, знаменитый олтонский гангстер времен «сухого закона», машину заносит. Колдуэлл быстро вертит непослушный руль и выравнивает ее. Наконец они благополучно добираются до Сто двадцать второго шоссе, где кончается Бьюкенен-роуд. Справа от них поднимается Пиллюля, растворяясь в снежной пелене. Буксирный грузовик, словно дом на колесах, проплывает мимо в сторону Олтона, постукивая снеговыми цепями испуганно и быстро, как пулемет. Когда его красные огни, мерцая, исчезают, они остаются одни на шоссе.

Подъем становится все круче. Колдуэлл включает первую скорость и едет так, пока колеса не начинают буксовать, потом переходит на вторую. Машина, вспахивая снег, поднимается еще на несколько десятков шагов; потом колеса снова буксуют, и Колдуэлл в отчаянии включает третью скорость. Мотор глохнет, Колдуэлл рывком дергает ручной тормоз, чтобы не скатиться вниз. Они проехали больше половины склона. Теперь, когда мотор умолк, слышны тоскливые вздохи ветра. Колдуэлл снова заводит мотор, но задние колеса не находят опоры в снегу; тяжелый старый «бьюик» того и гляди скатится к низкой проволочной загородке на обочине. В конце концов Колдуэллу ничего другого не остается, как открыть дверцу, высунуться из нее и при розовом отблеске задних фонарей, этом единственном освещении, спустить машину вниз задним ходом. Он пятится так мимо поворота на Олинджер до ровного участка между Пиллюлей и следующим невысоким холмом по пути в Олтон.

И хотя теперь, взяв разгон, машина быстрее преодолевает первую половину подъема, она буксует и останавливается, чуть-чуть не доехав до того места, где застряла в первый раз. Их прежний след двумя бороздами темнеет при свете фар.

И вдруг от их голов ложатся вперед длинные тени. Какая-то машина поднимается на холм. Ее фары увеличиваются, сверкают, врываются в метель, как крик, и огибают их; это новенький зеленый «додж». Гремя цепями, он проезжает мимо, преодолевает самую крутую часть склона, прибавляет скорость и исчезает. Неподвижные фары «бьюика» освещают отпечатки цепей на появившихся колеях. А снег, падая, все искрится.

– Придется и нам надеть цепи, – говорит Питер отцу. – Тут всего ярдов двадцать одолеть, и выедем на нашу дорогу. А на Файр-хилл подъем не такой крутой.

– Заметь, этот негодяй не предложил взять нас на буксир.

– Еще чего. Он и сам-то насилиу взобрался.

– Я на его месте поступил бы не так.

– Но таких, как ты, больше нет, папа! Таких, как ты, на свете больше нет!

Он уже кричит, видя, что отец, сжимая руль, уронил голову на руки. Питера пугает эта поза отчаяния. Он хочет ободрить отца, но слова, невысказанные, застревают у него в горле. Наконец он спрашивает робко:

– А цепи у нас есть?

Отец выпрямляется и говорит:

– Есть, да только здесь нам их не надеть, машина соскользнет с домкрата. Надо опять спуститься на ровное место.

Он снова открывает дверцу, высовывается и подает машину назад, вниз, по снегу, розовеющему в свете задних фонарей. Снежинки, влетая в открытую дверцу, колют Питеру лицо и руки. Он засовывает руки в карманы куртки.

У подножия холма оба выходят. Они открывают багажник и пытаются поднять домкратом задние колеса. Переносной лампочки у них нет, и дело подвигается с трудом. Снег на обочине глубиной дюймов в шесть, и, пытаясь поднять над ним колеса, они слишком высоко выдвигают рейку домкрата. Машина заваливается набок, а рейка пулей взлетает вверх и падает посреди шоссе.

– О черт! – говорит Колдуэлл. – Этак и угробиться недолго.

Он не двигается, и Питер сам подбирает рейку. Держа ее в одной руке, он ищет на обочине камень, чтобы подложить под передние колеса, но вся земля занесена снегом.

Отец стоит, глядя на верхушки сосен, которые, словно черные ангелы, парят высоко над ними среди метели. Питеру кажется, что мысль отца описывает широкие круги, как коршун, рыщущий в лиловатом тумане неба. Потом она возвращается на землю, отец с сыном вместе подводят домкрат под бампер, и на этот раз им удается поднять колеса. Но тут оказывается, что они не умеют закреплять цепи. В темноте ничего не видно, и онемевшие на морозе пальцы не справляются с делом. Питер долго смотрит, как отец ползает в снегу вокруг колеса. Ни одна машина не проходит мимо них. Движение по Сто двадцать второй линии прекратилось. Вот отец совсем уж было закрепил цепь, но тут она соскальзывает у него под рукой. С рыданием или проклятием, заглушенным ветром, Колдуэлл выпрямляется и обеими руками швыряет спутанную паутину железных звеньев в мягкий снег. Цепь пробивает в снегу ямку, словно упавшая птица.

– Надо сперва закрепить изнутри защелку, – говорит Питер.

Он откапывает цепь, становится на колени и заползает под машину. Он уже представляет себе, как отец скажет матери: «Я ума не мог приложить, что делать, а мальчик берет цепи, лезет под машину и закрепляет их намертво, просто удивительно, откуда у него такие технические навыки». Колесо скользит в руках. Несколько раз, когда Питер уже напяливает на шину громоздкую кольчугу, колесо лениво поворачивается и стряхивает ее с себя, как раздевающаяся девушка – платье. Отец держит колесо, и Питер начинает сначала. Под кузовом воняет резиной, застарелой ржавчиной, бензином, маслом, и эти запахи похожи на угрожающий шепот. Питер вспоминает, как машина завалилась с домкрата, живо представляет себе, как рессоры и ось разможат ему голову. Одно хорошо – тут внизу ни ветра, ни снега.

Вся хитрость в том, чтобы закрепить маленькую защелку. Он находит эту защелку и на ощупь определяет, как она закрепляется. Ему почти удается справиться с ней. Остается дожать самую малость. Он жмет так сильно, что по всему его телу приходит дрожь; низ живота ноет; металл глубоко врезается в пальцы. Он молится и с ужасом чувствует, что металл все равно не уступит, как ни была бы ничтожна эта уступка. Защелка упорствует, Он визжит в отчаянии:

– Никак!

Отец кричит:

– Ну ее к черту! Вылезай!

Питер послушно встает, стряхивает с себя снег. Они с отцом растерянно смотрят друг на

друга.

– Не выходит, – говорит он, как будто это не ясно само собой.

Отец говорит:

– Ты справлялся куда лучше меня. Садись, поедem ночевать в Олтон. Семь бед – один ответ.

Они кладут цепи в багажник и пытаются опустить домкрат. Но даже этот путь к отступлению отрезан. Рычажок, который должен менять направление домкрата, беспомощно болтается на своей оси. Каждый поворот рукоятки поднимает машину все выше. Снег летит в лицо; вой ветра рвет барабанные перепонки; терпеть больше нет сил. Кажется, сама метель всей своей шуршащей, колеблющейся тяжестью повисла на этом проклятом испорченном домкрате.

– Сейчас я ему покажу, – говорит Колдуэлл. – Отойди-ка, сынок.

Он залезает в машину, заводит мотор и подает машину вперед. На миг рейка домкрата сгибается в дугу, и Питер ждет, что она, как стрела, полетит в метель. Но сам бампер не выдерживает нагрузки, и машину вдруг бросает на рессоры с таким звуком, как будто ломаются ледяные сосульки. Полукруглая впадина по нижнему краю заднего бампера навсегда останется на память об этой ночи. Питер собирает части домкрата, бросает их в багажник и садится рядом с отцом.

Пользуясь тем, что машину заносит, Колдуэлл быстро разворачивает ее и направляет в сторону Олтона. Но с тех пор, как они проехали по этой дороге, прошел час; снегу выпало еще на дюйм, и он не укатан, так как движение совсем прекратилось. Едва заметный подъем из низины за Пилюлей, такой пологий, что обычно, когда он проносится под автомобилем, его просто не замечаешь, теперь оказывается крутым и неприступным. Задние колеса непрерывно буксуют. Прозрачные щели в переднем стекле еще больше суживаются, покрываются пушистым налетом; небесные закрома, из которых густо сеялся снег, теперь совсем распахнулись. Трижды «бьюик» рвется вперед, пытаясь подняться на пологий склон, и всякий раз увязает в снегу. Наконец Колдуэлл дает полный газ, и задние колеса с визгом заносят машину в снежную целину, за обочину. Как раз на этом месте неглубокий овраг. Колдуэлл включает первую скорость и пытается вытащить машину, но снег цепко держит ее в своих призрачных объятиях. На губах у Колдуэлла выступает серебристая пена. В отчаянии он включает заднюю передачу, и машина, рванувшись назад, окончательно застревает. Он глушит мотор.

И среди треволнений наступает мирная тишина. По крыше машины пробегают легкий шелест, как будто на нее сыплют песок. Перегретый мотор тихонько постукивает под капотом.

– Надо идти пешком, – говорит Колдуэлл. – Вернемся в Олинджер и переночуем у Гаммелов. Это меньше трех миль. Дойдешь?

– Придется, – говорит Питер.

– Вот несчастье, на тебе даже галош нет.

– На тебе тоже.

– Ну, мне-то все равно, я человек конченный. – Помолчав, он добавляет: Не можем же мы здесь остаться.

– К черту, – говорит Питер. – Знаю. Все знаю, хватит говорить об этом. Хватит вообще говорить. Пойдем.

– Будь твой отец хоть немного мужчиной, мы одолели бы этот подъем.

– И застряли бы еще где-нибудь. Ты не виноват. Никто не виноват, господь бог виноват. Сделай одолжение, помолчи.

Питер выходит из машины и некоторое время идет впереди отца. Они шагают по колеям, оставленным их «бьюиком», вверх по холму, мимо еврейского кладбища. Питеру трудно ставить одну ногу прямо перед другой, как, говорят, ходят индейцы. Ветер заставляет его сутулиться. Здесь, под защитой сосен, он дует не очень сильно, но настойчиво, шевелит волосы и трогает голову Питера ледяными пальцами. Кладбище отделено от дороги серой каменной оградой; у каждого торчащего из снега камня выросла белая борода. Где-то под непроглядной пеленой уютно лежит в своем склепе с колоннами Эб Кон. И это почему-то успокаивает Питера. Ему кажется, что и его "я" тоже надежно укрыто под костяным куполом черепа.

На равнине за кладбищем сосны редют и ветер лютует, снова и снова пронизывая его насквозь. Питер становится совсем прозрачным – скелет из мыслей. С любопытством, словно бы со стороны, он смотрит, как его ноги, покорно, будто вьючный скот, бредут по сыпучему снегу; несоразмерность между длиной шагов и расстоянием до Олинджера так велика, что впереди у Питера целая бесконечность, неограниченный досуг. Он пользуется этим досугом и раздумывает о крайнем физическом напряжении. В этом явлении есть резкая простота. Сначала пропадают все мысли о прошлом и будущем, потом немеют чувства, переставая воспринимать окружающий мир. И, наконец, отключаются конечности – руки, ноги, пальцы. Если напряжение не исчезает, если упрямое стремление к чему-то лучшему еще живет в человеке, перестают ощущаться кончик носа, подбородок и сама голова; они не исчезают совершенно, а, так сказать, удаляются за пределы того ограниченного, минимального пространства, удивительно плотного и замкнутого, которое одно остается от некогда обширного и гордого царства человеческого "я". И Питер словно откуда-то издалека видит, как его отец, теперь идущий рядом с ним, прикрывая его своим телом от ветра, снимает с себя вязаную шапочку и натягивает ее на застывшую голову сына.

8

Любовь моя, слушай. Ты не спишь? Впрочем, неважно. В Западном Олтоне был городской музей, окруженный великолепным парком, где на каждом дереве висела табличка с названием. Черные лебеди, охорашиваясь, плавали парами по мутному озерцу, образованному у запруды неглубоким ручьем, который назывался здесь Линэйп. В Олинджере его называли Тилден-крик, но ручей был тот же самый. По воскресеньям мы с мамой часто ходили в музей, эту единственную доступную нам сокровищницу культуры, по тихой, тенистой дорожке, которая тянулась вдоль ручья от одного города до другого. Это пространство около мили, тогда еще не застроенное, было остатком прошлого. Мы пересекали старый ипподром, заброшенный и поросший травой, проходили мимо нескольких ферм с домами из плитняка – около каждого, как ребенок около матери, жалась беленькая пристройка, тоже из плитняка. Быстро перейдя шоссе, которое разветвлялось здесь на три дороги разной ширины, мы оказывались в узкой аллее музейного парка, где нас окружал совсем уже древний мир, Аркадия. Утки и лягушки наперебой хрипло и ликующе кричали на заболоченном озере, проглядывавшем сквозь заросли вишен, лип, акаций и диких яблонь. Мама знала все растения и всех птиц, она называла их мне, но я тут же их забывал, пока мы

шли по усыпанной гравием дорожке, которая кое-где расширялась, образуя маленькие круглые площадки с бассейнами, где купались птички, и скамьями, так что порой мы вспугивали обнявшуюся влюбленную парочку, и они смотрели нам вслед потемневшими, круглыми глазами. Один раз я спросил маму, что они делают, и она ответила со странной нежностью: «Вьют гнездышко».

А потом на нас веяло холодком с озера, слышались резкие солоноватые крики лебедей и сквозь легендарную черную листву высокого бука показывался бледно-желтый карниз музея, а над ним – сверкавшая на солнце стеклянная крыша с фисташково-зелеными рамами. Мы проходили через автомобильную стоянку, вызывавшую у меня чувство зависти и стыда, потому что у нас в то время автомобиля не было, шли по дорожке для пешеходов, среди детишек, которые несли пакетики с хлебными крошками для голубей, поднимались по широкой лестнице, где нарядные, по-летнему легко одетые люди щелкали фотоаппаратами и жевали бутерброды, развернув целлофановую обертку, и входили в высокий, как храм, вестибюль музея. Вход был бесплатный. В подвальном этаже летом занимался кружок любителей природы, тоже бесплатный. Один раз мама предложила мне пойти туда. На первом занятии все наблюдали, как змея в стеклянном ящике заглатывает живьем пищущую полевую мышь. А на второе занятие я уже не пошел. В нижнем этаже была выставка для школьников – застывшие чучела и древние эскимосские, китайские и полинезийские изделия, витрина за витриной, строго классифицированные, герметически закрытые. Была там еще безногая мумия, и вокруг нее всегда толпились люди. В детстве этот этаж внушал мне страх. Всюду смерть; кто подумал бы, что ее может быть так много? Второй этаж был отведен произведениям искусства, там все больше висели картины местных художников, хоть и неуклюжие, странные и не правильные, но сиявшие наивностью и надеждой – надеждой схватить и навсегда удержать нечто, возникающее всякий раз, как кисть касается полотна. А еще там были бронзовые фигурки индейцев и всяких богов, а в центре большого овального зала, у лестницы, посреди бассейна с черными краями, стояла обнаженная зеленая женщина в натуральную величину. Это был фонтан. Женщина держала у губ бронзовую раковину морского гребешка, и ее красивые губы были приоткрыты, подставлены струе, но фонтан был устроен так, что вода все время лилась через край раковины мимо ее губ. Вечно ожидающая, с маленькой грудью и непокорными зеленоватыми локонами, приподнявшись на носке одной ноги, она держала раковину в дюйме от лица, которое казалось спящим: веки опущены, губы раскрыты. В детстве мне было жалко смотреть на муки ее воображаемой жажды, и я становился так, чтобы видеть неизменный просвет шириной в дюйм, не дававший ее губам припасть к воде. Вода, как тонкая, трепещущая, жемчужно-зеленая лента, оторвавшись от раковины, завивалась спиралью и косо падала в бассейн с легким неумолчным плеском, и брызги иногда, под действием какой-то неуловимой силы, долетали до края бассейна, как снежинки, холодно покалывая мою руку, лежавшую на черном мраморе. Ее кроткое терпеливое ожидание, вечно неудовлетворенное, казалось мне невыносимым, и я убеждал себя, что по ночам, когда темнота окутывает мумию, и полинезийские маски, и орлов со стеклянными глазами, ее тонкая бронзовая рука делает едва уловимое движение, и она пьет. Я представлял себе, как в большом овальном зале, освещенном луной сквозь стеклянную крышу, на миг смолкает журчание воды. И на этом испытанном тогда чувстве чувстве, что с приходом ночи прозрачная лента воды исчезает и журчание ее смолкает, – я кончаю свой рассказ.

Неугомонный шум уличного движения, убаюкивая меня, плещет в окна нашей мансарды, в тонкие стекла, такие запыленные, что их нежная графитовая серость кажется природной, как на окнах собора. Неоновая вывеска кафетерия двумя этажами ниже, ритмично мерцая, окрашивает их в розовый цвет. Мои огромные полотна – как удивительно дорого обходятся холсты и краски и как удивительно они обесцениваются, превратившись в произведения искусства, кажутся против света какими-то фигурами с квадратными плечами. Ты дышишь в одном ритме с розовым мерцанием на стеклах. Твой гордый рот приоткрыт во сне, на верхней губе припухлость, словно след от удара, – признак твоей расы. Твой сон окроплен

невинностью, как ночь росой. Слушай: я люблю тебя, люблю твои гордые припухшие губы, строго поджатые, когда ты не спишь и бранишь меня, люблю твою темную кожу, которая всегда прощает мою, люблю следы вековой покорности в розовой патине твоих ладоней. Люблю твою шею, похожую на стебель тюльпана. Когда ты стоишь у печки, то, не замечая этого, покачиваешься, как пьющая курица. Когда ты идешь, обнаженная, к постели, твои ступни слегка повернуты внутрь, словно ты скована кандалами с кем-то, идущим позади. А в постели ты порой шепчешь мое имя, и меня наполняет непоколебимая уверенность в себе. Я радуюсь, что встретил тебя, радуюсь, горжусь, радуюсь; лишь вечерами я скучаю, да и то совсем немного, по неожиданному белому смеху, который, как зарница, вспыхивает там, где души пытаются свершить невозможное. Мой отец, как ни печальна была его судьба, жил среди такого смеха. Отец озадачил бы тебя. Он и меня всегда озадачивал. Его тело было для меня тайной, лучше всего я знал его ноги.

Послушай же. Послушай меня, моя повелительница. Я люблю тебя и хотел бы ради тебя быть негром с мудрым, черным, как вакса, лицом, с тугими, как барабан, щеками, носить большие, темные, преображающие до неузнаваемости очки, сидеть в три часа ночи в погребке, полном сиреневого полумрака, и забывать все, прислушиваясь лишь к тихому пению у себя в груди. Но до конца мне это не дано. Не дано целиком преобразиться. Последнюю грань мне не преодолеть. Я сын своего отца. По вечерам, когда редющий свет дня повисает вокруг, ожидая, пока небоскребы пронзят его стрелами своих теней, которые уже летят над решеткой улиц меж громадами домов, я вспоминаю отца и даже представляю себе его отца – с глазами, затуманенными сомнениями, и с седыми поникшими усами, – человека, которого я никогда не видел. Священник, учитель, художник – классическая картина вырождения.

Прости меня, потому что я тебя люблю, мы созданы друг для друга. Как тибетский лама, я покидаю свое тело и смотрю, поднявшись над кроватью, как мы, ян и инь &lt;в древней китайской философии мужское и женское начало в человеке&gt;, сливаемся в одно существо. Но вечером, в тот час, когда мы с отцом обычно ехали домой, я оглядываю эту комнатку, где пол отполирован нашими босыми ногами, где на потолке проступили пятна, словно континенты на старинной и неверной карте первооткрывателя, а по стенам стоят старательно размалеванные, стыдливо прикрытые полотна, которые напрасно я сам начинаю это подозревать – тщатся выразить невыразимое, и мне становится страшно. Я размышляю о нашей жизни с тобой, о днях, текущих независимо от восходов и закатов, о причудливых узорах все затихающего чувства, о всей этой обстановке, как на полустертой картине Брака, о тоскливой смеси фрейдистского и восточного сексуального мистицизма и думаю: «Неужели ради этого мой отец отдал жизнь?»

Лежа без сна рядом с тобой в розовой темноте, я словно возвратился в то далекое утро, когда проснулся в комнате для гостей у Веры Гаммел. Все сияло снежной белизной. Во сне я видел искаженное, словно отражение воткнутой в дно палки, отражение того, что произошло со мной перед тем наяву, – как мы, шатаясь, прошли последнюю милю, сквозь неунимавшуюся пургу; как отец барабанил в дверь темного дома, стучал, жалобно стонал и в отчаянии стискивал руки, и теперь его упорство уже не казалось мне дурацким или неистовым, оно было необходимым, совершенно необходимым мне, окоченевшему до бесчувствия; потом в белой, ярко освещенной кухне я увидел Веру Гаммел, она зевала и моргала от света, ее волосы рассыпались по плечам голубого халатика, руки она продела в рукава и, зевая, прижимала их к груди; с лестницы спустилась хромящая глыба – ее муж, который молча выслушал сбивчивые объяснения и бурную благодарность отца. Нас уложили в комнате для гостей, на старой расшатанной кровати, которая досталась мистеру Гаммелу в наследство от его матери Ханны, сестры моего деда. Она пахла перьями и крахмалом и была так похожа на гамак, что когда мы с отцом, раздевшись, легли, то должны были держаться за края, чтобы не скатиться к середине. Несколько минут я еще был в напряжении; казалось, все мое тело переполняли роящиеся белые атомы. А потом я услышал первые раскаты



отцовского храпа. Ветер за окном мощно вздохнул, и, словно этот шум, это шевеление объясняли все, я успокоился.

Комната сияла. За белыми рамами и муслиновыми занавесками, заколотыми белыми металлическими цветами, опрокинулась густая синева неба. Я подумал: «Этого утра еще никогда не было», и с ликованием почувствовал, что стою на носу корабля, рассекающего небесно-голубой океан времени. Я огляделся: отец исчез. Я лежал на середине кровати. Тогда я поискал глазами часы, но не нашел. Повернул голову налево, ожидая увидеть залитую солнцем дорогу, поле и почтовый ящик, но за окном была только кирпичная стена кафе. У окна стоял покоробившийся, словно гримасничавший, старинный комод, пузатый, со стеклянными ручками и тяжелыми витыми ножками, похожими на беспалые лапы карикатурного медведя. Белизна за окном оттеняла блестящие серебристые стебли и листья на обоях. Я закрыл глаза, прислушался, услышал, как где-то гудит пылесос, и, наверно, опять заснул.

Когда я снова проснулся, непривычное ощущение, что я в чужом доме, и что день такой ясный и здоровый после вчерашнего безумия, и вокруг так тихо (Почему меня не разбудили? А как же школа? Ведь сегодня среда?), не дало мне больше заснуть, и я, встав, кое-как оделся. Мои ботинки и носки, сушившиеся на радиаторе, были еще сырые. Среди чужих стен и коридоров, где на каждом повороте нужно было раздумывать и собираться с духом, меня охватила слабость. Я нашел ванную, плеснул себе в лицо холодной воды и потер мокрым пальцем зубы. Босиком я спустился с лестницы. Она была устлана ворсистой бежевой дорожкой, закрепленной под каждой ступенькой латунным прутком. Это был типичный олинджерский дом, прочный, добротный, устроенный по всем правилам, – именно в таком мне хотелось жить. Я чувствовал себя грязным и недостойным его в своей потускневшей красной рубашке и белье трехдневной давности.

Вошла миссис Гаммел в заколотом булавкой платочке и переднике, украшенном звездчатыми анемонами. Она несла изящную плетеную корзину для мусора и улыбнулась мне, сверкнув деснами.

– Доброе утро, Питер Колдуэлл! – приветствовала она меня.

И когда она полностью произнесла мое имя и фамилию, я почему-то почувствовал себя желанным гостем в доме. Она повела меня на кухню, и я, идя за ней, с удивлением заметил, что я одного с ней роста или даже на дюйм повыше. По олинджерским понятиям, она была высокая женщина, и мне она все так же казалась рослой богиней, какой предстала передо мной, когда я в первый раз пришел в школу щуплым семиклассником, едва доставая плечом до желобка для мела. Теперь она, видимо, считала меня взрослым. Я сел за кухонный столик с фаянсовой столешницей, и она подала мне завтрак, как жена. Она поставила передо мной большой бокал апельсинового сока, от которого на фаянс падала оранжевая тень, так что я заранее предвкушал удовольствие. Мне было приятно сидеть, потягивая сок, и поглядывать на нее. Она в синих домашних туфлях скользила от посудного шкафа к холодильнику, а оттуда к раковине так, словно все было вымерено по длине ее шагов; эта просторная, хорошо оборудованная кухня была так не похожа на тесную, наскоро устроенную каморку, где стряпала моя мать. И я не мог понять, почему одним людям удается решить хотя бы бытовые проблемы, тогда как другие, вроде моих родителей, обречены всю жизнь иметь никуда не годные автомобили и холодные дома без уборных. В Олинджер у нас никогда не было холодильника, его заменял старый деревянный ящик со льдом, и моя бабушка никогда не садилась с нами за стол, а ела, стоя у печки, руками и щурясь от дыма. В доме все делалось наспех, неразумно. И я понял причину глава семьи, мой отец, никогда не мог избавиться от мысли, что скоро опять придется переезжать на новое место. Этот страх или надежда постоянно тяготели над нашим домом.

– А папа где? – спросил я.

– Сама не знаю, Питер, – ответила она. – Ты что хочешь, пшеничные хлопья, рисовую запеканку или яйцо?

– Запеканку.

Овальные, цвета слоновой кости часы на стене показывали 11:10. Я спросил:

– А что в школе?

– Ты в окно глядел?

– Да. Снег перестал.

– По радио объявили, что его навалило шестнадцать дюймов. Все школы в округе закрыты. Даже приходская школа в Олтоне.

– Интересно, будет ли вечером тренировка по плаванию?

– Едва ли. А ты, наверно, очень по дому соскучился.

– Конечно. Кажется, век целый дома не был.

– Твой отец сегодня утром так смешно рассказывал про ваши приключения. Хочешь банан к запеканке?

– Ого! Еще бы, если только можно.

Вот она, разница между олинджерцами и нами: они могли запастись впрок бананы. В Файртауне отец редко их покупал – они сгнивали зелеными, не успев созреть. А банан, который она положила около моей тарелки, казался настоящим чудом. Его кожура была равномерно усеяна золотистыми крапинками, как на цветной журнальной вклейке в четыре краски. Я резал его ложечкой, и у каждого ломтика была посередке идеальная звездочка.

– А кофе ты пьешь?

– Пытаюсь каждое утро, да никогда не успеваю. Но я и так доставил вам кучу хлопот.

– Брось. Ты совсем как твой отец.

Это «брось», рожденное ощущением нашей близости, которую создал для меня другой, странным образом перенесло меня на несколько часов назад, когда я крепко спал на кровати моей двоюродной бабки Ханны, а отец рассказывал о наших приключениях и они слушали радио. Я подумал о том, был ли с ними и мистер Гаммел; подумал, отчего по дому разлилось это мирное, безмятежное сияние.

Я осмелился спросить:

– А где мистер Гаммел?

– На расчистке. Бедняга Эл с пяти утра на ногах. По контракту с городским управлением он должен помогать на расчистке улиц после снегопада.

– А-а. Интересно, как там наша бедная машина? Мы ее вчера у Пилюли бросили.

– Твой отец говорил. Когда Эл вернется, он отвезет вас туда на грузовике.

– До чего вкусная запеканка!

Она повернулась от раковины и удивленно улыбнулась.

– Да ведь это готовая!

Здесь, на кухне, чувствовалось ее немецкое происхождение. Миссис Гаммел всегда смутно ассоциировалась для меня с культурой, с Нью-Йорком и со всем прочим в этом роде, она выделялась среди других учителей и иногда даже красила ресницы. Но у себя дома она была самой обыкновенной местной женщиной.

– Как вам понравилась вчерашняя игра? – спросил я ее. Мне было неловко, а приходилось поддерживать разговор. Отца не было, и я воспользовался случаем применить на практике свои понятия о культурном поведении, чему он обычно мешал. Я все одергивал рукава рубашки, чтобы не была видна сыпь. Миссис Гаммел принесла мне два поджаристых тоста и янтарное яблочное желе на черной тарелочке.

– Да я почти и не смотрела. – Она засмеялась своим воспоминаниям. Преподобный Марч так меня забавлял. Он не то ребенок, не то старик, никогда не знаешь, с кем говоришь.

– У него ведь есть медали, да?

– Кажется. Он всю Италию прошел.

– Правда, любопытно, что после всего он опять стал священником?

Ее брови изогнулись. Интересно, выщипывает ли она их? Приглядевшись вблизи, я решил, что нет. Они у нее были тонкие от природы.

– По-моему, это хорошо. А как по-твоему?

– Да, конечно, хорошо. Я просто хотел сказать – ведь он там посмотрелся всяких ужасов.

– Ну, про войны, кажется, даже в Библии написано.

Не понимая, к чему она клонит, я на всякий случай засмеялся. Видимо, ей это было приятно. Она спросила ириво:

– А ты сам внимательно смотрел игру? Я, кажется, видела тебя рядом с этой девочкой Фоглмен.

Я пожал плечами.

– Должен же я был сидеть с кем-то рядом.

– Ну, Питер, берегись. Она на тебя так смотрела...

– Да на что я ей сдался!

Она шутливо погрозила мне пальцем, совсем по-нашему, по-деревенски.

– Но-но! Гляди не попадись.

Она сказала это совсем как мой дедушка, и я даже покраснел от удовольствия. Я стал мазать поблескивающее желе на тост, а она продолжала заниматься хозяйством.

Следующие два часа были для меня совершенно необычайны. Я провел их наедине с женщиной, поднявшейся на недостижимую высоту возраста, на такую высоту, что я даже не знал, сколько ей лет, но она была по меньшей мере вдвое старше меня. С женщиной, окруженной ореолом славы; легенды о ее любовных делах, как грязные монеты, ходили

среди школьных подонков. Со взрослой женщиной, которая владела имуществом и занимала положение в обществе. Ее присутствие ощущалось всюду. Она коснулась регулятора отопления, и на меня повеяло теплом. Ее шаги раздались наверху, и хрипло загудел пылесос. То она тихонько смеялась, то, передвигая мебель, заставляла ее скрипеть. Она порхала там, наверху, как птица, невидимая, порхает порой среди ветвей высоких лесных деревьев. Из всех углов дома на меня смотрела Вера Гаммел, она была каждой тенью, каждым изгибом полированного дерева; она жила в блеске зеркал, в дуновении, колыхавшем занавески, в пушистом ворсе подлокотников кресла, к которому я был словно пригвожден.

Я мрачно сидел в темной гостиной и, беря с блестящей полочки «Ридерс дайджест», читал все подряд. Читал до тех пор, пока совсем не одурел. Только две статьи я проглотил с нетерпением, они шли одна за другой: «Чудодейственное средство от рака» и «Десять доказательств бытия божия». Но меня ждало разочарование, которое было тем горше, что вспыхнувшая на миг надежда разбудила дремавшие опасения. Демоны страха терзали меня железными когтями. Несмотря на все заумные, трескучие фразы и на энциклопедическую солидность двойных столбцов, было ясно, что нет никаких доказательств, нет и чудодейственного средства. От страха перед словами во мне родилась отчаянная тоска по осязаемым вещам, и я схватил с кружевной салфетки на столике и крепко сжал в кулаке маленькую фарфоровую статуэтку улыбающегося эльфа с короткими пятнистыми крылышками. Синие комнатные тувельки быстро прошуршали по усталой дорожке лестнице, и миссис Гаммел стала готовить для нас второй завтрак. В ярко освещенной кухне я чувствовал себя неловко, боялся, что видны пятна на лице. Я подумал, будет ли невежливо, если я уйду, но все равно не мог бы заставить себя уйти из этого дома или хотя бы выглянуть из окна; и если бы я все-таки ушел, куда было мне идти и зачем? А отец как сквозь землю провалился. Я был растерян. Она заговорила со мной, болтала о всяких пустяках, но от ее слов мой страх ожил. Я тонул в блестящей глубине разделявшего нас стола; ей было смешно смотреть на меня. Она сняла с головы платок и стянула волосы конским хвостом. Когда я, помогая ей убирать со стола, носил тарелки к раковине, мы несколько раз коснулись друг друга. Так я провел эти два часа разрываясь между любовью и страхом.

Отец вернулся во втором часу. Мы с миссис Гаммел еще были на кухне. Она рассказывала мне, что хочет пристроить позади дома террасу; там она будет спокойно отдыхать летом вдали от уличного шума. Терраса будет увита зеленью, и я представил себя там вместе с ней.

Отец в своей круглой шапочке и отяжелевшем от сырого снега пальто походил на человека, который только что вылетел из пушки.

– Ну и дела, – сказал он. – Зима взяла свое.

– Где ты был? – спросил я. Я чуть не плакал, и голос у меня постыдно дрогнул.

Он посмотрел на меня так, словно только сейчас вспомнил о моем существовании.

– Тут, неподалеку, – сказал он. – В школе. Я не хотел будить тебя, Питер, решил дать тебе поспать. Ты ведь совсем измучился. Мой храп, наверно, мешал тебе?

– Нет. – Его пальто, брюки и ботинки были в снегу, значит, он всюду побывал, и я сгорал от зависти. Миссис Гаммел теперь смотрела только на него. Она смеялась, даже когда он молчал. Его бугристое лицо покраснелось. Он по-мальчишески шаловливо стянул с себя шапочку и, топая, отряхнул снег с ботинок на плетеном половичке у двери. Мне захотелось причинить ему боль, и я спросил со злостью:

– Что ты делал в школе? И почему так долго?

– Бог мой, я люблю этот дом, когда в нем нет учеников. – Он обращался не ко мне, а к миссис Гаммел. – Знаете, Вера, что надо сделать с этим кирпичным хлевом? Повыгонять оттуда всех учеников, и тогда мы, учителя, будем жить там одни; это единственное место, где я не чувствую, что кто-то сидит у меня на шее.

Она засмеялась и сказала:

– Пришлось бы кровати поставить.

– Мне ничего не надо, кроме простой армейской койки, – сказал он. – Два фута в ширину и шесть в длину. Когда я сплю с кем-нибудь вдвоем, с меня всегда одеяло стягивают. Это я не про тебя, Питер. Вчера я до того устал, что, наверно, сам стягивал с тебя одеяло. Так вот, ты спрашиваешь, что я делал в школе. Приводил в порядок журналы. В первый раз с Нового года полный ажур. Прямо гора с плеч. Если я завтра исчезну, новый учитель, бедняга, немедленно может принять дела. Р-раз – и готово. Вперед, друг, следующая остановка на свалке.

Я был вынужден засмеяться.

Миссис Гаммел подошла к холодильнику и спросила:

– Джордж, вы завтракали? Хотите бутерброд с ростбифом?

– Вера, вы бесконечно добры. Но, честно говоря, ростбиф мне не по зубам, вчера коренной вырвали. Чувствую я себя во сто раз лучше, но во рту у меня такая дыра, что туда может целая Атлантида погрузиться. Я выпил чашку бульона у Монни. Но, положи руку на сердце, признаюсь, если вы с Питером будете кофе пить, я бы тоже не отказался. Я забыл, пьет ли мой сын кофе.

– Как это забыл? – спросил я. – Дома каждое утро пытаюсь выпить, да разве успеешь.

– Господи, совсем из головы вон. Я пробовал дозвониться маме, но связь прервана. У нее в доме ни крошки еды, боюсь, как бы Папаша Крамер собаку не слопал. Если только он не упал с лестницы. Вот была бы удача: сейчас туда никакому доктору не добраться.

– А мы когда доберемся?

– Скоро, сынок, скоро. Время не ждет. – Он обратился к миссис Гаммел: Никогда не забирайте ребенка от матери. – И закусил губу, видимо, испугался, что вышла бестактность – ведь у нее, не знаю уж почему, детей не было. Подчеркнуто молча, как служанка, она поставила перед ним чашку горячего кофе. Завиток волос выбился из прически и скользнул по ее щеке красноречивее слов. Отец сказал ей, скрывая волнение:

– Я видел Эла на Спрус-стрит, он уже возвращается. Он там чудеса творил на своем грузовике. В этом городишке снегопад – настоящее бедствие. Но машины уже проходят всюду, кроме переулков и подножия Шейл-хилл, Господи, если б я управлял городом, мы бы целый месяц все на лыжах ходили. – Он весело потирал руки, представляя себе это зрелище. – Говорят, в Западном Олтоне вчера вечером трамвай с рельсов сошел.

Миссис Гаммел поправила волосы и спросила:

– Жертвы есть?

– Нет. Он хоть и сошел с рельсов, но не перевернулся. А отсюда трамваи пробились в Эли только к полудню. В Олтоне половина магазинов закрыта.

Я диву давался, представляя себе, как он разузнавал обо всем этом перелезал через

сугробы, останавливал грузовики, расспрашивал водителей, носился взад-вперед вдоль неровных белых хребтов в своем кургузом пальтишке, как сорванец-переросток. Наверно, пока я спал, он весь город обегал.

Я допил кофе, и странное безразличие, которому я до тех пор противился, завладело мной. Я уже не слушал, как отец рассказывает миссис Гаммел о своих приключениях. А потом вошел мистер Гаммел, серый от усталости, стряхивая снег с волос. Жена подала ему завтрак; поев, он посмотрел на меня и подмигнул:

– Хочешь домой, Питер?

Я надел куртку, носки, покоробившиеся сырые ботинки и вернулся на кухню. Отец отнес к раковине свою чашку и натянул на голову вязаную шапочку.

– Вы так великодушны, Эл. Мы с Питером этого не забудем. – А миссис Гаммел он сказал:

– Огромное спасибо, Вера, вы нас приняли как принцев.

И тут, дорогая моя, произошло самое странное в моем странном рассказе отец наклонился и поцеловал ее в щеку. Я смущенно опустил глаза, уставился на крапчатый линолеум пола и увидел, как ее ноги в синих туфельках поднялись на цыпочки, когда она с готовностью подставила щеку для поцелуя.

Потом пятки ее снова коснулись пола, и она сжала бородавчатую руку отца.

– Я рада, что вы пришли к нам, – сказала она ему так, как будто они были одни. – Хоть ненадолго этот пустой дом ожил.

Когда настала моя очередь благодарить Веру, я не посмел ее поцеловать и даже отвернулся, показывая, что у меня и в мыслях такого нет. Она улыбнулась и обеими руками взяла мою протянутую руку.

– У тебя всегда руки такие теплые, Питер?

Куст сирени во дворе у крыльца стал похож на оленье рога. Грузовичок Гаммела стоял возле бензоколонки; это был небольшой, кое-где заржавевший пикап марки «шевроле», с оранжевым отвалом для снега. Когда мы тронулись, мне показалось, что мотор ревет на множество разных ладов. Я сидел между отцом и Гаммелом; печки в кабине не было, и я радовался, что сижу между ними. Мы выехали на Бьюкенен-роуд. Наш прежний дом был весь в снегу, словно дворец деда-мороза, и стена, у которой я в детстве играл теннисным мячиком, сверкала на солнце. Детишки, бегавшие по улице, обтрясли снег с живых изгородей, но с каштанов еще низвергались время от времени стремительные белые каскады. За городом, на полях по склонам, за сплошной стеной грязных сугробов высотой в человеческий рост расстилалась снежная целина. Лесистые холмы, синие и бурые, по-прежнему вырисовывались вдаль, но краски были бледные, как на оттиске, сделанном, чтобы очистить клише.

Сейчас, рассказывая об этом, я снова чувствую ту усталость, которая одолевала меня тогда. Я сидел в кабине, пока отец с Гаммелом, смутно видимые в кадре переднего стекла, как два комика в старом немом фильме, откапывали наш «бьюик» – грузовики, расчищая сто двадцать второе шоссе, завалили его почти до крыши. У меня противно зудело в носу, першило в горле, и я чувствовал, что промозглая сырость в ногах мне даром не пройдет. Теперь на нас падала тень холма, потянул легкий ветерок. Солнечные лучи, золотые и длинные, освещали только верхушки деревьев. Гаммел уверенно завел мотор, умело надел на задние колеса цепи и закрепил их каким-то инструментом, похожим на плоскогубцы. А потом они двое, уже еле видимые, как два смутных пятна в синеватых сумерках, разыграли

пантомиму с бумажником, финала которой я так и не понял. Оба оживленно жестикулировали, а потом обнялись на прощание. Гаммел открыл дверцу, я окунулся в холодный воздух и кое-как добрал до нашего катафалка.

Когда мы ехали домой, мне показалось, что дни, прошедшие с тех пор, как я в последний раз видел эту дорогу, затянулись и сгладились, будто старый шрам. Вот Пилюля, вот поворот и глинистый откос, где мы посадили пассажира, вот и молочная ферма «Трилистник», где коровий навоз вывозил конвейер и из всех серебристых вентиляционных труб на крыше коровника шел пар, белея на фоне розового неба; а дальше – прямая, ровная дорога, где мы как-то раздавили зазевавшегося скворца, потом Галилея, бывшая гостиница «Седьмая миля» и рядом – магазин Поттейджера, где мы остановились купить еды. Методически, как аптекарь, подбирающий по рецепту лекарства, отец обошел полки, взял хлеб, сушеные персики, крекеры, пшеничные хлопья и сложил все это на прилавок перед Чарли Поттейджером, который когда-то был фермером, а вернувшись с Тихого океана, продал ферму и открыл этот магазин. Он записывал наш долг в коричневую пятицентовую книжечку и, хотя от одного расчета до другого сумма достигала шестидесяти долларов, никогда не прощал ни цента.

– А еще кольцо вон той свиной колбасы, которую мой тесть так любит, и полфунта копченой колбасы для моего сынишки, – сказал отец.

В тот день он что-то расщедрился, хотя обычно бывал скуп и брал еды только на один день, как будто надеялся, что завтра у нас станет меньше ртов. Он даже купил гроздь свежих бананов. Пока Поттейджер огрызком карандаша подводил итог, отец повернулся ко мне и спросил:

– Ты выпил лимонаду?

Я всегда пил здесь лимонад, как бы прощаясь с цивилизацией перед тем, как нырнуть в ту темную глушь, которая по какой-то нелепой ошибке стала нашим домом.

– Нет, – сказал я. – Мне неохота. Поедем.

– Бедный мой сынишка, – громко объявил отец кучке бездельников в красных охотничьих шапочках, которые даже в этот ненастный день собрались в магазине и жевали табак, – он две ночи дома не ночевал и хочет поскорей к маме.

Вне себя я выскочил из магазина. За дорогой озеро в снеговой оправе казалось черным, как обратная сторона зеркала. Наступили те ранние, сумерки, когда одни шоферы включают фары, другие – подфарники, а третьи едут еще без света. Отец гнал машину, как будто шоссе было совсем пустое. Кое-где его расчистили, и тогда цепи на колесах вызванивали какой-то иной мотив. На полпути вверх по Файр-хилл (церковь с маленьким крестом была словно нарисована чернилами на темно-синем небе) одна цепь соскочила и с грохотом билась о правое заднее крыло всю последнюю милю. Кучка фэйртаунских домишек мерцала сквозь темноту окнами нижних этажей, тусклыми, как тлеющие угли. Гостиница «Десятая миля» стояла темная, заколоченная.

Нашу дорогу не расчистили. В сущности, там были две дороги, одна шла через поля Эмиша, а другая, ответвлявшаяся от нее, – через нашу ферму и потом снова выходила к шоссе у пруда и конюшни Сайласа Шелкофа. Уехали мы по второй, нижней дороге, а вернулись по верхней. Отец с разгона врезался в сугроб, и наш «бьюик» увяз футов через десять. Мотор заглох. Отец выключил зажигание и погасил фары.

– Как же мы завтра отсюда выберемся? – спросил я.

– Не все сразу, – сказал он. – Сначала надо до дому добраться. Дойдешь?

– А что мне еще остается?

Заснеженная дорога серела длинной узкой полоской, криво очерченной двумя рядами молодых деревьев. Отсюда не было видно ни огонька. Над нашими головами, по светлому, еще беззвездному небу, плыли на запад редкие бледные облака, словно огромные мраморные хлопья, так медленно, что движение их казалось иллюзией, вызванной вращением земли. Я проваливался по щиколотки, и в ботинки набивался снег. Я пробовал идти по следам отца, но его шаги были слишком широки. Шум, доносившийся с шоссе, постепенно замер позади, и сгустилась тишина. Низко на небе горела одинокая звезда, такая яркая, что ее белый свет, казалось, грел меня.

Я спросил отца:

– Это какая звезда?

– Венера.

– Она всегда восходит первая?

– Нет. Зато гаснет иногда последней. Бывает, встанешь утром, солнце уже светит сквозь лес, а Венера еще висит над Эмишевым холмом.

– А можно по ней ориентироваться?

– Не знаю. Мне не приходилось. Интересно бы проверить.

Я сказал:

– Никогда не могу найти Полярную звезду. Мне все кажется, что не может она быть такой маленькой.

– Правильно. Я и сам не пойму, чего ради ее такой сделали.

Из-за пакета с покупками, который он нес, в его силуэте было что-то нечеловеческое, и мне, не чувствовавшему своих онемевших ног, мерещились впереди шея и голова коня, на котором я словно ехал верхом. Я посмотрел вверх и увидел, что синий купол очистился от мраморных хлопьев и начали робко загораться звезды. Молодые деревца, меж которых мы шли, расступились, и показался длинный, низкий, хмуро поблескивавший горб нашего верхнего поля.

– Питер?

Услышав его голос, я вздрогнул – мне казалось, будто я совсем один.

– Что?

– Ничего. Просто я хотел убедиться, что ты здесь.

– Где же мне еще быть?

– Да, ты прав.

– Дай мне пакет.

– Не надо, он легкий, хоть и неудобный.

– Зачем ты купил бананов, когда знал, что придется тащить их полмили?



– Безумие, – сказал он. – Наследственное безумие.

Это было его любимое объяснение.

Леди, заслышав наши голоса, принялась лаять за полем. Быстрые, глухие дуплеты звуков, как бабочки, летели к нам над самой землей, задевая пушистый покров, но не осмеливаясь взмыть вверх, к крутому гладкому своду, который простирался над Пенсильванией на сотни миль. С развилки дороги в ясный день бывало видно далеко-далеко, до самых синих отрогов Аллегейни. Мы спустились вниз, к подножию нашего холма. Сначала показались деревья сада, потом сарай, и, наконец, сквозь путаницу голых разлапистых ветвей мы увидели свой дом. Окна нижнего этажа светились, но, когда мы шли через пустой двор, я был уверен, что этот свет – обман, что дом вымер, а свет так и остался гореть. Отец сказал жалобно:

– Господи, так я и знал, что Папаша упадет с этой треклятой лестницы.

Но вокруг дома была протоптана дорожка, и от крыльца к насосу вели бесчисленные следы. Леди не была привязана, она выскочила из темноты, и в горле у нее клокотало рычание, но, узнав нас, она, как рыба из воды, вынырнула из снега и стала тыкаться мордой нам в лица, нежно и жалобно повизгивая. Вместе с нами она шумно ворвалась через двойную дверь в кухню и там, в тепле, от нее знакомо запахло скунсом.

Все было на месте: ярко освещенная кухня, стены медового цвета и две пары часов – красные, электрические показывали совсем уж несуразное время, потому что после метели света не было, но теперь они снова бойко шли, и мама, с ее большими руками и улыбкой на девическом лице, выбежала нам навстречу и взяла у отца пакет.

– Герои вы мои, – сказала она.

Отец принялся объяснять:

– Я пытался утром тебе дозвониться, Хэсси, но связи не было. Ну как, туго пришлось? Там, в пакете, бутерброд.

– Нам было совсем неплохо, – сказала она. – Папа напил дров, а я сварила сегодня суп из мясного концентрата с яблоками, как делала бабушка, когда у нас все продукты выходили.

И действительно, из печи божественно пахло вареными яблоками, а в камине плясал огонь.

– Да ну? – Казалось, отец был удивлен, что жизнь продолжалась и без него. – А как Папаша, ничего? Куда он запропастился?

С этими словами он вошел в соседнюю комнату, а там, на своем обычном месте, на диване, сидел мой дед, сложив на груди тонкие руки, и маленькая истрепанная Библия нераскрытая лежала у него на коленях.

– Так вы рубили дрова, Папаша? – громко спросил отец. – Вы живое чудо. Видно, бог воздает вам за какой-то праведный поступок.

– Джордж, не подумай, что я эг-гоист, но ты случайно не забыл привезти «Сан»?

Почтальон, конечно, не мог сюда добраться, и это было большим лишением для деда, который не мог даже поверить, что была метель, пока не прочтет об этом в газетах.

– Чтоб мне провалиться, Папаша! – крикнул отец. – Забыл. Сам не знаю, как это меня угораздило, видно, я совсем рехнулся.

Мама с собакой вошли в столовую вслед за нами. Леди, которая жаждала поделиться с

кем-то доброй вестью о нашем возвращении, вспрыгнула на диван и с маху ткнулась носом в ухо деду.

– Прочь, пр-р-очь! – крикнул он и встал, подхватив Библию.

– Звонил док Апплтон, – сказала мама отцу.

– Да ну? Разве телефон работает?

– Сегодня, когда починили электричество, пришел телефонный монтер. Я позвонила Гаммелам, и Вера сказала, что вы уже уехали. В первый раз она говорила со мной так любезно.

– Что же сказал Апплтон? – спросил отец, пристально разглядывая мой глобус.

– Сказал, что рентген ничего не обнаружил.

– А? В самом деле? Как думаешь, Хэсси, он меня не обманывает?

– Ты же знаешь, он никогда никого не обманывает. Снимок совершенно чистый. Он говорит, это все нервы. Находит, что у тебя легкая форма... я позабыла чего, но у меня записано. – Мама подошла к телефону и прочла по бумажке, лежавшей на телефонной книге:

– ...хронического колита. Мы с ним очень мило поговорили, но, судя по голосу, док стареет.

Я вдруг почувствовал себя бессильным, опустошенным; не снимая куртки, я сел на диван и откинулся на подушки. Я буквально валился с ног. Собака положила голову мне на колени и совала холодный как лед нос под мою руку. Шкура ее была пушистой с мороза, Фигуры родителей казались огромными и трагическими.

Отец повернулся – его большое лицо было напряжено, он все еще не решался развязать последний узелок, связывавший надежду.

– Он так и сказал?

– Но он считает, что тебе нужно отдохнуть. Говорит, что работа в школе – для тебя слишком большое напряжение, и, на его взгляд, тебе лучше бы заняться чем-нибудь другим.

– А? Черт возьми, да ведь это единственное, на что я гожусь, Хэсси. Единственный мой талант. Не могу я уйти из школы.

– Мы оба так и знали, что ты это скажешь.

– Как по-твоему, Хэсси, он что-нибудь смыслит в рентгеновских снимках? Знает ли этот старый обманщик, о чем говорит?

Я закрыл глаза и поблагодарил бога. Холодная сухая рука легла мне на лоб. Мамин голос сказал:

– Джордж! Что ты сделал с мальчиком? Он весь горит.

Из-за деревянной перегородки донесся приглушенный голос деда:

– Приятного сна.

Отец прошел по шатким доскам пола на кухню и крикнул наверх, вслед деду:

– Не сердитесь из-за газеты, Папаша! Завтра привезу. Верьте слову, до тех пор ничто не

изменится. Русские по-прежнему в Москве, а Трумэн по-прежнему на троне.

Мама спросила:

– Давно это с тобой?

– Не знаю, – ответил я. – С утра чувствую слабость и весь какой-то сам не свой.

– Поешь супу?

– Немножко, самую малость. Как хорошо, что у папы все в порядке, правда? Что у него не рак.

– Да, – сказала она. – Теперь ему придется что-нибудь другое придумать, чтоб его жалели.

На ее удлинённом лице, которое всегда так меня успокаивало, мелькнула горечь и тут же исчезла.

Я сделал попытку вернуться в тот маленький тайный мирок, мой и мамин, где мы всегда ласково подшучивали над отцом, и поддакнул ей:

– На это он мастер. Может быть, это и есть его талант.

Отец вернулся в комнату и объявил:

– Черт возьми, ну и характер у старика! Он не на шутку рассердился из-за того, что я не привез газету. Знаешь, Хэсси, он просто железный. Я на его месте уже лет двадцать лежал бы на кладбище.

Хотя меня клонило в сон и голова слишком кружилась, чтобы соображать, я все же заметил, что он увеличил срок своей жизни против обычного.

Родители накормили меня, уложили в постель и накрыли своим одеялом, чтобы я поскорее согрелся. Зубы у меня начали стучать, и я даже не пытался унять странную дрожь, от которой по всему телу роились холодные мурашки, а мама осыпала меня горячими, но беспомощными заботами. Отец стоял, растирая руки.

– Бедный мальчик слишком самолюбив, – сказал он стонущим голосом.

– Солнышко мое, – это, кажется, сказала мама.

Их голоса отдалились, затихли, и я уснул. Мне снились не они, не Пенни, не Дейфендорф, не Майнор Крец, не мистер Филиппс, в моем сне медленно кружился мир тех времен, когда никого из них еще не было, и только в отдалении мелькало удивленное и испуганное лицо бабушки, как в те минуты, когда она кричала мне, чтобы я слез с дерева, это лицо вместе со мной плыло в изменчивом, зыбком потоке неузнаваемого. И все время я слышал свой громкий недовольный голос, а когда проснулся, мне нестерпимо хотелось облегчиться. Голоса родителей внизу казались раздвоившимися продолжением моего собственного голоса. В окно лился лимонно-желтый утренний свет. Я вспомнил, как ночью, в забытьи, среди кошмаров, почувствовал вдруг на своем лице прикосновение руки и услышал голос отца из угла комнаты:

– Бедный сынишка, если б я мог отдать ему свое железное здоровье.

А теперь этот голос, высокий и напряженный, словно хлестал мать:

– Говорю тебе, Хэсси, я решил твердо. С волками жить, по-волчьи выть вот мой девиз. Эти негодяи не дают мне пощады, и я им не дам.

– Не очень-то это педагогично так рассуждать. Оттого у тебя все внутри и переворачивается.

– Иначе невозможно, Хэсси. Всякий другой путь равносителен самоубийству. Если я удержусь в школе еще десять лет, то получу пенсию за двадцатилетний стаж, и вопрос будет решен. Конечно, если Зиммерман с этой дрянью Герцог не выгонят меня в шею.

– Только потому, что ты видел, как она выходила из кабинета? Джордж, зачем так преувеличивать – хочешь нас всех с ума свести? Какая тебе радость, если мы сойдем с ума?

– Я не преувеличиваю, Хэсси. Она знает, что я знаю, и Зиммерман знает, что я знаю, что она знает.

– Как это, должно быть, ужасно – знать столько сразу.

Молчание.

– Да, – сказал отец. – Это ад.

Снова молчание.

– По-моему, доктор прав, – сказала мама. – Тебе надо уйти из школы.

– Ты рассуждаешь по-женски, Хэсси. А док Апплтон мелет вздор, должен же он что-то сказать. На что еще я гожусь? Меня больше никуда не возьмут.

– Если ты не найдешь другой работы, будем вместе вести хозяйство. – Ее голос стал робким и девически тонким; горло у меня сжалось от боли за нее. – У нас хорошая ферма, – сказала она. – Мы могли бы жить, как мои родители, ведь они были счастливы здесь. Правда, папа?

Дед не ответил. И тогда мама, чтобы заполнить молчание, начала нервно шутить.

– Подумай, Джордж, физический труд. Близость к природе. Да ты сразу человеком себя почувствуешь.

Теперь голос отца стал серьезным.

– Хэсси, я хочу быть с тобой откровенным, ведь ты мне жена. Я терпеть не могу природы. Она напоминает мне о смерти. Для меня природа – это только мусор, хаос и вонь, как от скунса, бр-р!

– Природа, – произнес дед торжественно, как всегда, и решительно откашлялся, – она, как мать, ласк-кает и нак-казывает той же рукой.

Напряжение невидимой пленкой обволокло весь дом, и я знал, что мама заплакала. Я плакал вместе с ней ее слезами и все же был рад ее неудаче мне было страшно подумать, что отец может стать фермером. Это и меня приковало бы к земле.

У кровати стоял ночной горшок, и я смиренно преклонил перед ним колени. Это видели только желтые медальки с обоев. Моя красная рубашка, как свежесодранная кожа, скомканная, валялась на полу у стены. Встав с постели, я почувствовал себя совсем больным. Ноги дрожали, голова болела, в горле словно застряло стекло. Но у меня уже текло из носу, и я с грехом пополам прокашлялся. Я снова лег и стал предвкушать знакомое течение болезни: кашель смягчится, заложенный нос очистится, температура начнет падать – верных три дня в постели. Когда я начинал выздоравливать, будущее казалось мне особенно близким, я с волнением думал о том, как стану художником, предавался самым радужным мечтам. Лежа в кровати, я повелевал огромными призраками красок, и мир как будто существовал только для того, чтобы мои мечты могли сбыться.

Отец услышал, как я вставал, и поднялся ко мне. Он был в своем кургузом пальто и идиотской вязаной шапчонке. Он уже собрался, и в тот день я его не задерживал, Лицо у него было веселое.

– Ну как, сынок? Елки-палки, и досталось же тебе за эти три дня, а все я виноват.

– Ты тут ни при чем. Я рад, что все обошлось.

– А? Это ты про рентген? Да, видно, я в рубашке родился. Надо уповать на бога, он не оставит.

– Ты уверен, что сегодня будут занятия?

– Да, по радио объявили, что все уже готовы. Зверюги готовы учиться.

– Послушай, папа.

– Да?

– Если ты хочешь уйти из школы, или взять отпуск на год, или еще что, ты из-за меня не отказывайся.

– Не беспокойся об этом. Не беспокойся о своем старике, у тебя и без того забот хватает. Я всю жизнь поступал только как стопроцентный эгоист.

Я отвернулся и стал смотреть в окно. Вскоре за окном появился отец прямая фигура, темневшая на фоне снега. И хотя идти было трудно, он не горбился; все такой же прямой, прошел он через наш двор, мимо почтового ящика и дальше, вверх по холму, пока не скрылся за деревьями сада. Деревья с солнечной стороны отсвечивали белым. Сдвоенные телефонные провода наискось пересекали ясное синее небо. Голая каменная стена была словно тронута коричневой краской; следы отца прочертили снег – белое на белом. Я понимал, что вижу – глухой уголок Пенсильвании в 1947 году, – и в то же время не понимал, меня слегка лихорадило, и я бездумно покоился в прямоугольнике многоцветного сияния. Я страстно хотел запечатлеть это на полотне, все как есть, в непостижимом величии; и мне пришло в голову, что к природе надо подходить безоружным, отбросив перспективу, наложиться на нее, как широкое прозрачное полотно, в надежде, что если полностью ей подчиниться, получится отпечаток прекрасной и необходимой правды.

А потом – словно я, пропустив через себя это изначальное волнение, на совесть поработал – я почувствовал усталость и задремал, и когда мама принесла мне апельсиновый сок и пшеничные хлопья, я ел в полусне.

9

Один шел он через белую ширь. Копыта его цокали, а одно скрежетало (кость о кость) по нагретому солнцем известняку плато. Какой же он, этот свод – бронзовый или железный? Говорят, наковальня падала бы с неба на землю девять дней и ночей; и с земли она тоже падала бы девять дней и ночей, а на десятый день достигла бы Тартара. В первое время, когда Уран каждую ночь сочелся с Геей, это расстояние, наверно, было меньше. А теперь

оно, пожалуй, увеличилось, пожалуй, – эта мысль еще больше разбередила его боль – наковальня вечно падала бы с неба, не достигая земли. В самом деле, разве мать Гея, которая некогда явила из своих сырых недр Сторуких, властителя металлов Одноглазого, бурный и бездонный Океан, Кея и Крия, Гипериона, Иапета, Тейю и Рею, Фемиду и Мнемозину, Фебу в золотом венце и прекрасную Тефшо, мать Филиры; Гея, которая, когда ее оросили капли крови от увечья ее супруга, родила мстительных Эриний и более кротких Мелиад, нимф стройного ясеня, воспитавших Зевса; Гея, которая породила Пегаса из капель крови Горгоны и, сочетавшись с Тартаром, произвела на свет своего младшего сына, ужасного Тифона, чья нижняя часть туловища – это две змеи, которые переплелись в схватке, а руки, простертые от восхода до заката, швыряли целые горы, орошенные его же кровью, и вырезали жилы у самого Зевса, принявшего обличье медведя, – разве мать Гея, которая так легко исторгла из своего темного чрева всех этих чудищ, не пребывала теперь в странном покое? Белой, белой была она, цвет самой смерти, сумма спектра, всюду, куда ни обращал кентавр свой взор. И он подумал, не из-за того ли, что оскопили Небо, столь чудовищно бесплодной стала Гея, хотя она громко взывала о спасительном соединении?

У дороги, по которой он шел, растительность была унылой и однообразной. Луговая трава, росчерк Деметры, сумах, ядовитый для кожи, кизил, кора которого слабит, тута, болотный дуб и дикая вишня, какой всего больше в живых изгородях. Голые ветки. В это время года они были лишены своей красоты и рисовались на снежном покрове четкими письменами. Он пытался прочесть их, но не мог. И неоткуда было ждать помощи. Он просил совета у каждого из двенадцати, и никто не указал ему выхода. Неужели ему вечно бродить под пустым взглядом богов? Боль терзала его тело, воя, как запертая свора собак. Выпустите их. Боже, выпусти их на волю. И словно услышав эту молитву, в его мозг, как гнилое, омерзительное дыхание Гекаты, в ярости хлынула толпа безобразных и неистовых чудищ – отбросы творения, отрыжка безгубого зева Хаоса, свирепого прародителя всего сущего. Б-р-р! Его мудрость беспомощно отступала перед этим натиском ужаса, и он молил теперь только о блаженстве неведения, забытья. В своей прозорливости он давно уже взял себе за правило просить богов только о том, чего они не могут не дать. И врата сузились: боги милостиво позволили ему кое-что забыть.

Его беспокоило то, что он оставил позади. Его дитя в лихорадке. Сердце его исполнилось жалости к длинноволосой Окирое, единственному его отпрыску. Бедняжке нужно постричься. Ей многое нужно. Бедность. Он мог передать своему ребенку лишь то, что сам получил в наследство, – кучу долгов и Библию. Бедность – вот истинно последнее дитя Геи. Оскопленное Небо метнулось прочь, обезумев от боли, и оставило своего сына среди жгучей белой пустыни, чьи руки простертые от восхода до заката.

Но даже в зимнем своем окоченении голые ветви таят маленькие, неприметные почки. Спаситель был рожден в лютую стужу. Листья опадают, но остается смолистый корень, легкий след, который, как посылку, откроют в будущем. И поэтому в черных ветвях у него над головой мерцали красноватые искры. Тусклый взгляд кентавра, как лакмус, отмечал все это; медленно текла его мысль. Просветы, мелькавшие в живой изгороди, были похожи на двери, и он вспомнил, как шел с отцом по каким-то приходским делам в Пассейике и улица на каждом шагу таила опасность; была суббота, и рабочие с серных копей пьянствовали. За двойными дверьми салуна плескался ядовитый смех, в котором словно сосредоточилась вся жестокость и все кощунство на свете, и он недоумевал, как такой шум может существовать в мире, созданном богом его отца. В те времена он уже привык скрывать свои чувства, но, видимо, его беспокойство все же было заметно, потому что он помнил, как отец в своем белом воротнике повернулся, прислушался к смеху из салуна и сказал сыну с улыбкой:

– Всякая радость от бога.

Он, конечно, шутил, но мальчик воспринял его слова всерьез. Всякая радость от бога. Где бы ни радовалась живая душа – в грязи, в смятении, в бедности, – всюду являлся бог и

предъявлял свои права; в бары, бордели, школы и заплеванные переулки, какими бы темными, мерзкими и далекими они ни были, – в Китае, в Африке или в Бразилии, всюду, где люди хоть на миг испытывали радость, прокрадывался бог и приумножал свои вечные владения. А все остальное, все, что не было радостью, исчезло, низвергнутое, ненужное, несуществующее. Он вспомнил, как его жена радовалась ферме, Папаша Крамер – газете, а сын – будущему, и он сам был рад, благодарен за то, что сможет еще некоторое время поддерживать в них эту радость. Рентгеновский снимок чист. Белая ширь дней расстилалась впереди. Время отдало ему во власть небесный простор, по которому он плыл, как истинный внук Океана; он понял, что, отдав свою жизнь другим, он стал совершенно свободен. Гора Ида и гора Дикта с двух сторон, из голубой дали, мчались к нему, как набегающие валы, и в его стройном теле вновь сочетались между собой Небо и Земля. Только доброта бессмертна. И она пребудет вовек.

Он дошел до поворота дороги. В сотне шагов впереди он увидел «бьюик», словно черную пасть, которая должна его поглотить. Бывший катафалк. Черное пятно на фоне сугробов – еще неизвестно, удастся ли его вытащить. Слева над покатым лбом поля торчала силосная башня Эмиша в островерхой шляпе из рифленого железа; заброшенная ветряная мельница стояла неподвижно; воронье Кружило над погребенным жнивьем.

Бездушный пейзаж.

Незримый простор, который на миг переполнил кентавра, исчез, пронзив его болью; он посмотрел на автомобиль, и сердце его сжалось. Боль прошла по животу, там, где человеческое соединялось с конским. В местах перехода чудища особенно уязвимы.

Чернота.

Да, они не жалели шеллака на эти довоенные «бьюики». Когда Хирон подошел ближе, зияющая впадина на месте разбитой решетки удивленно ощерилась. И он понял, что это устье тоннеля, через который он должен проползти; ученики, вверенные его попечению, предстали перед его воспаленным внутренним взором как вертящиеся ножи мясорубки, отливающие всеми цветами радуги. Слишком долго ему везло. В последние дни он прощался со всем, привел в порядок журналы, готовясь в новый путь. Но этого не будет. Атропа щелкнула ножницами, подумала, улыбнулась и позволила прясть нить его жизни дальше.

Хирон подавил отрывку и попытался сосредоточиться. Впереди, как крутая гора, высилась безнадежная усталость. От мысли, что снова придется изворачиваться перед Зиммерманом, миссис Герцог и всей этой огромной, деспотичной олинджерской бандой, ему становилось тошно; как могло семя его отца, таившее в себе беспредельные возможности, дать отпрыск, загнанный на клочок бессильной, неблагодарной, враждебной земли, вынужденный жить среди непроницаемых лиц, в четырех замкнутых стенах двести четвертого класса?

Подойдя к машине ближе, так что в крыле появилось его вытянутое и искаженное отражение, он понял. Это колесница, которую прислал за ним Зиммерман. Уроки. Он должен совладать с собой и подготовиться к урокам.

Почему мы чтим Зевса? Потому что другого бога нет.

Назовите пять рек в царстве мертвых. Стикс, Ахеронт, Флегетон, Коцит и Лета.

Кто были дочери Нерея? Автоноя, Агава, Актея, Амфитрита, Галатея, Галена, Галимеда, Галия, Гиппоноя, Гиппотоя, Главка, Главконома, Динамена, Дорида, Дото, Кимо, Кимодока, Кимотоя, Лаомедия, Лиагора, Лисианасса, Мелита, Мениппа, Немерта, Несея, Несо, Панопея, Паситея, Плото, Полиноя, Понтопория, Проноя, Проти, Протомедия, Псамата, Сао, Спιο, Фемисто, Феруса, Фетида, Фоя, Эвагора, Эварна, Эвдора, Эвкранта, Эвлимена, Эвника, Эвпомпа, Эона, Эрата.

Кто такой герой? Герой – это царь, принесенный в жертву Гере.

Хирон подошел к краю плато; его копыто скребнуло известняк. Круглый белый камешек со стуком скатился в пропасть. Кентавр возвел глаза к голубому своду и понял, что ему и в самом деле предстоит сделать великий шаг. Да, поистине великий шаг, к которому он не подготовился за всю свою полную скитаний жизнь. Нелегкий шаг, нелегкий путь, потребуется целая вечность, чтобы пройти его до конца, как вечно падает наковальня. Его истерзанные внутренности расслабли; раненая нога нестерпимо болела; голова стала невесомой. Белизна известняка пронзала глаза. На краю обрыва легкий ветерок овеял его лицо. Его воля, безупречный алмаз, под давлением абсолютного страха исторгла из себя последнее слово. Сейчас.

«Страдая от неисцелимой раны в лодыжке, он удаляется в пещеру и там хочет умереть, но не может, потому что он бессмертен. Тогда он предлагает Зевсу вместо Прометея себя, и, хотя его ожидало бессмертие, оканчивает так свою жизнь» &lt;Аполлодор, II, 85 (греч.)&gt;.

Хирон принял смерть.

## ЭПИЛОГ

Зевс любил своего старого друга и вознес его на Небо, где он сияет среди звезд, обращенный в созвездие Стрельца. Здесь, в Зодиаке, то восходя, то исчезая за горизонтом, он участвует в свершении наших судеб, хотя в последнее время мало кто из живых смертных благоговейно обращает глаза к Небу и уж совсем немногие учатся у звезд.